

ОТ МРАКА
к
СВЕТУ

Детиз
1959

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ОТ МРАКА *к* СВЕТУ

*Антирелигиозная книга
для чтения*



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

Москва-1959

ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборнике «От мрака к свету» помещены рассказы и отрывки из романов и повестей русских и зарубежных писателей о религии; эти произведения говорят о той реакционной роли, которую играла религия на протяжении столетий.

Вера в богов возникла еще в те отдаленные от нас, первобытные времена, когда люди ощущали себя совершенно беспомощными перед силами природы. Эти силы представлялись им в виде сверхъестественных существ, то грозных, приносящих ураганы, наводнения и всякие другие бедствия, то добрых и благодетельных для человека.

Когда общество разделилось на классы и установилась власть эксплуататоров над народными массами, появились новые причины для возникновения религиозных верований. Как бессилие дикаря перед лицом непонятной и страшной ему природы порождало веру в богов, так и бессилие угнетенных народных масс в борьбе с их угнетателями порождает веру в бога и в лучшую, загробную жизнь. Тысячелетиями длются страдания народов — будь то рабы, угнетенные рабовладельцами, крепостные под властью помещиков, рабочие под властью капиталистов. Многократные восстания трудящихся масс бывали разбиты и порождали в них чувство бессилия, страха и отчаяния. Таковы истоки религии в классовом обществе. Об этом писал В. И. Ленин в статье «Социализм и религия»: «Религия есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою

и одиночеством. Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п.».

Естественно, что господствующие классы на протяжении веков использовали религию для укрепления своего господства и усмирения народных масс. Религия освящала власть эксплуататоров, объявляя ее вечной и нерушимой. Она оправдывала социальное неравенство, говоря, что «так было и так будет». Она учила терпению и смирению, устрашала муками ада, да и вполне реальными муками пыток, костров и виселиц. Она утешала измученных нищетой и гнетом людей, обещая им блаженство загробного мира. Угрозами и обещаниями она пыталась отвлечь народные массы от революционной борьбы, усыпить и одурманить их, заглушить в них дух бунта и мятежа.

Вот почему знаменитое изречение К. Маркса: «Религия — опиум народа» — точно определяет роль религии в классовом обществе.

Такой была на протяжении многих веков любая религия — христианская, иудейская, магометанская или буддийская, хотя они и отличаются друг от друга отдельными представлениями и обрядами.

Всегда, во всех странах любая религия выражала бессилие человека, его рабство перед лицом природы, а позднее — общества, основанного на эксплуатации. Вот почему всякая религия несовместима с коммунистическим идеалом человека — человека, освобожденного от угнетения, ставшего свободным и сознательным строителем нового общества.

Публикуемые в этом сборнике произведения и показывают, как на протяжении веков различные религии были использованы господствующими классами, чтобы, устрашая жестокостью или утешая надеждами на загробный мир, заглушать в народе дух мятежа и бунта.

Ряд рассказов и отрывков говорит, что во времена напряженных классовых боев, в грозные годы гражданских войн, религия неизменно была на стороне реакции.

Так было в XVI веке, когда испанская монархия пыталась подавить нидерландскую буржуазную революцию («Легенда об Уленшпигеле» Костера). Так было во

Франции в годы буржуазной революции XVIII века, когда католическое духовенство поддерживало королевскую власть («Марсельцы» Ф. Гра). Так было в Италии, где церковь помогала реакции бороться против национально-освободительного движения «Молодой Италии» («Овод» Войнич). Так было и в Испании, где католические попы помогали фашистам душить молодую Испанскую республику («Слуга господень» Ж. Гривы).

Из рассказов сборника видно, что высшие сановники церкви в разных странах использовали религию как средство собственного обогащения. Церкви и монастыри владели обширными землями. За деньги продавали отпущение грехов. За взятки раздавались церковные должности. Трудовые гроши бедняков, стекаясь в подвалы церкви, собирались в миллионы. Церковь организовывала «чудеса», и некоторые из них, подобно знаменитому «святому» источнику лурдской богородицы во Франции, становились целыми предприятиями, приносящими огромные доходы.

Во многих из приведенных отрывков ярко обрисовано и лицемерие, столь характерное для религиозных учений. В то время как бедняков церковь уверяла в том, что «блаженны нищие... ибо их есть царство небесное», верхи церкви утопали в роскоши и пользовались всеми благами жизни здесь, на земле. Слово «иезуитизм» (от монашеского католического ордена иезуитов) стало обозначать предельный цинизм под маской ханжества и лицемерия. Слащаво проповедуя всепрощение и любовь к врагам, церковь использовала для борьбы со своими врагами кинжалы и виселицы, яд и пытки.

История католической церкви — яркий пример реакционной роли религии. Это «история крови и позора», как назвал ее в своих гневных памфлетах Ярослав Галан.

В прошлом католицизма — пытки инквизиции, сожжение ученых, изощренное одурманивание и ограбление масс. С особенной силой реакционная роль католицизма проявляется и в наши дни, когда Ватикан осуществляет союз с наиболее воинственными империалистическими кругами.

Когда-то, в своей борьбе против феодализма, буржуазия выступала против религии. Сейчас, в своей предсмертной борьбе против рабочего класса и народных

масс, буржуазия использует все формы религиозного фанатизма, суеверий и мракобесия.

А. М. Горький в своих блестящих памфлетах показал, для чего нужна религия королям нефти и угля, почему христианские проповеди всепрощения и смирения наряду с полицией и войсками занимают почетное место в арсенале средств, которыми подавляют революционное движение.

Даже в наиболее передовых technically странах капитала можно видеть, как для одурманивания масс возрождаются самые темные и нелепые суеверия средневековья. Появляются гадалки и прорицатели, спириты, вызывающие духов из «загробного мира», предсказатели конца света. Жульнические «чудеса» организуются там с помощью новейшей техники — радио и телевидения.

Религия используется империалистами и для оправдания колониальных захватов. Тысячи белых миссионеров рассылаются во все углы земли, чтобы улавливать в сети христианской веры души черного или желтого населения и подавлять в них малейшие проявления бунта.

* * *

На протяжении многих веков передовые общественные классы, боровшиеся против старых порядков, выступали и против религии, которая поддерживала отживающий строй. Это очень ярко выразилось в средние века, когда церковь, бывшая мощным оплотом феодального общества, преследовала всякую свободную мысль, всякое проявление свободолюбия.

Поэтому крестьянство и городская беднота, восставшие против феодально-крепостного строя, выступали и против господствующей церкви. В разной форме это выражалось в крестьянских восстаниях XIV века в Англии и Франции, во время крестьянской войны в Германии, во время движения гуситов в Чехии. Недовольство народных масс в разных странах, в том числе и в России, выражалось в появлении различных «ересей», направленных против господствовавшей церкви.

Эпоха Возрождения очень ярко показывает, как развитие передовой мысли, развитие науки неизбежно приходило в противоречие с религией и властью церкви. Развитие буржуазных отношений сопровождалось рас-

цветом естественных и точных наук, крупными открытиями. Эта эпоха создала таких выдающихся ученых, как Леонардо да Винчи, Коперник, Джордано Бруно, Галилей. Великие географические открытия, развитие механики, астрономии, промышленности — все это подрывало устойчивость религии, власть церкви. Ни костры инквизиции, на которых сжигали крупнейших ученых, ни пытки, ни отлучение от церкви — ничто не могло остановить победоносный ход свободной научной мысли, опрокидывавшей религиозные предрассудки.

С неизмеримо большей силой столкнулось развитие материалистической мысли с религией во Франции XVIII века, накануне французской буржуазной революции, когда штурм твердынь феодализма неизбежно сопровождался и борьбой с покровительствовавшей ему церковью. Против нее обращал свои разящие насмешки Вольтер. А философ-материалист Гольбах писал, что боги были созданы невежеством и страхом. И в России политическая борьба прогрессивных сил страны против крепостного строя и царизма была связана с борьбой передовых мыслителей России против религии.

Еще Радищев, выдающийся борец против крепостничества, писал, что суеверия подрезают крылья человеческого разуму, чтобы он «не обратил полет свой к величию и свободе». Против религиозного мракобесия выступали великие русские просветители, революционные демократы Белинский, Добролюбов, Чернышевский. «В словах «бог» и «религия», — писал Белинский Герцену, — вижу тьму, мрак, цепи и кнут». А Добролюбов в юношеских стихах подчеркивал, что религия поддерживает все жестокости царизма:

Религия прощать врагов вас учит —
Молчать, когда нас царь гнетет и мучит.

Материалистические идеи великих русских ученых Сеченова, Менделеева, Тимирязева, Павлова, Мичурина приходили в непримиримое противоречие с религией.

Поэтому и в России на протяжении веков церковь пыталась бороться против передовой научной мысли. Она сжигала на кострах замечательных русских крестьян-самоучек, пытавшихся соорудить крылья и летать. Первопечатника Ивана Федорова обвинили в колдовстве и вынудили бежать в Литву. Великого физиолога-мате-

риалиста Сеченова церковь предлагала сослать в Соловецкий монастырь. В начале XX века книга русского ученого Мечникова была запрещена за критику поповщины.

Так развитие научной материалистической мысли в разных странах приходило в острое противоречие с любой религией.

Но только учение революционного рабочего класса — марксизм-ленинизм мог довести до конца разоблачение религии, раскрыв ее социальные корни и показав ее истинную роль в классовом обществе.

* * *

В нашей Советской стране проводится политика веротерпимости: верующим разных религий предоставлена полная возможность соблюдать свои обряды. Это, однако, не значит, что мы можем быть равнодушны к тому, что у нас еще встречаются люди, одурманенные религией.

Ведь переход к коммунизму предполагает огромный культурный рост многомиллионных масс советского народа. Этот рост задерживается различными пережитками старой идеологии, в том числе и религиозными.

В нашем обществе исчезли условия, порождающие веру в бога, исчезло главное из них — социальный гнет. Весь наш народ сознательно и планомерно строит коммунистическое общество. В сознание советских людей прочно вошла идея власти человека над природой. Наши ученые создают новые химические вещества, выводят новые плоды и злаки, овладели силами атомной энергии. Никогда раньше открывавшиеся перед научным знанием горизонты не были так широки. Никогда раньше образованность не доходила так, как сейчас у нас, до самых глубин народа.

Казалось бы, что во времена космических ракет и спутников трудно поверить, что на облаках обитают бог и его ангелы. Между тем и вера в бога и множество суеверий еще сохраняются, потому что, живя тысячелетиями в сознании людей, они очень цепки и не отмирают сразу.

Однако следует понять, что они находятся в противоречии не только с передовой наукой, но и со всеми на-

шими представлениями о жизни советского человека, его морали и внутреннем облике.

Социалистическая революция, освобождая людей от всякого угнетения, вытравляет из их сознания остатки рабской психологии, выпрямляет их, делает их подлинными хозяевами своей судьбы.

А религия принижает человека, внушает людям мысль об их ничтожестве перед богом, о невозможности познания мира.

Советские люди должны не бояться любых трудностей и уметь преодолевать их. А религия расслабляет, обессиливает человека, приучает его к покорности и смирению, приучает его ждать милостей свыше.

В нашем обществе человек оценивается прежде всего по его труду. И свободный труд становится у нас все более творческим, он приносит человеку радость, почет и уважение окружающих.

А религия считает, что труд — это наказание, к которому род людской присужден за грехи Адама и Евы. Как же совместить это с нашим уважением к труду?

Религия освящает множество старых, отживших обычаев, несовместимых с новой, социалистической жизнью. Таково, например, представление о женщине как о рабе своего мужа и связанные с этим унижающие женщину нелепые обычаи, заставляющие ее носить чадру или паранджу, и другие, подчас более жестокие.

Советские люди жизнерадостны, они любят жизнь во всей ее полноте, сложности, борьбе и радости.

Религия же, обещая человеку утешения «загробного мира», по сути дела отвращает человека от настоящей, земной жизни.

Коммунистическая партия, советская власть уверенно ведут советских людей к коммунизму. К лицу ли советскому человеку, строителю коммунизма, склоняться перед божеством, вымаливая себе загробное блаженство!

Иные же люди, даже и не веря в бога, бывают в церкви и выполняют всякие религиозные обряды «по привычке», «на всякий случай». Люди крестят новорожденных, венчаются в церкви, хотя они давно уже забыли смысл этих обрядов, восходящих порой к глубокой древности, к первобытным временам. Так и иные школьники, с увлечением произносящие на уроках гордые слова Мичурина о власти над природой, иногда,

поддавшись уговорам невежественных людей, идут в церковь и выполняют религиозные обряды.

Без сомнения, советские люди, советские школьники, бывая в церкви, выполняя религиозные обряды, не отдают себе отчета в том, насколько это находится в противоречии со всем строем нашей жизни, со всей передовой наукой.

«Бога нельзя обходить молчанием», — справедливо говорил В. Маяковский. Только доказывая несовместимость религии с современным научным знанием и реакционную роль религии на протяжении веков, только терпеливо разъясняя противоположность религиозного представления о мире и человеке нашему социалистическому представлению о них, можно рассеять эти остатки религиозных верований и суеверий.

Хорошо говорил об этом В. Маяковский:

Товарищ,
 подымись!
 Чего пред богом сник?
В свободном
 нынешнем
 ученом веке
не от попов и знахарей —
 из школ,
 из книг
узнай о мире
 и о человеке!



Густав Флобер

В романе французского писателя Г. Флобера «Саламбо», вышедшем в 1862 году, описан древний Карфаген III века до нашей эры. В центре повествования — мятеж наемных войск, состоявших из варваров, против Карфагенской республики.

Неисчислимы богатства древнего Карфагена были накоплены ценой ограбления и порабощения соседних народов. Ужасающая жестокость, царившая в «республике золота», выразилась и в религиозных обрядах Карфагена, в частности в культе Молоха, в человеческих жертвоприношениях. Богатая знать и жрецы запугивали народ, чтобы держать его в повиновении.

Печатаем отрывок из романа.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ МОЛОХУ

Карфагеняне, думая о причинах своих несчастий, вспомнили, что не послали в Финикию ежегодные дары Мелькарту Тирийскому¹. Их охватил ужас. Боги,

¹ Мелькарт Тирийский — один из главных богов древней Финикии. Молох и Ваал — в данном случае другие названия того же божества.

возмущенные против Республики, будут длить свою месть.

На богов смотрели как на жестоких господ, которых можно умиротворить мольбами или же подкупить подарками. Все были беспомощны перед Молохом-всепожирателем. Жизнь и самое тело людей принадлежали ему; поэтому для спасения жизни карфагеняне обычно жертвовали частицей тела, чтобы укротить его гнев; детям обжигали зажженными прядями шерсти лоб или затылок. Этот способ умиротворения Ваала приносил жрецам много денег, и они всегда убеждали прибегать к нему, как к более легкому и мягкому.

На этот раз, однако, дело шло о самой Республике. Всякая выгода должна была искупаться какой-нибудь потерей, и все расчеты совершались сообразно нуждам более слабого и требовательности более сильного. Не могло быть поэтому слишком большой боли, которой нельзя было бы претерпеть ради Молоха, так как его услаждали самые страшные мучения, а карфагеняне теперь всецело зависели от его воли. Необходимо было его удовлетворить. Примеры показывали, что этим способом можно было отвратить напасти. Они верили также, что сожжение жертв очистит Карфаген. Жестокость толпы была заранее распалена. К тому же выбор должен был пасть исключительно на знатные семьи.

Члены совета собрались на совещание, которое было очень продолжительным. Ганнон тоже явился на него. Сидеть он уже не мог и остался лежать на носилках у двери, полузакрытой бахромой длинных занавесок. И, когда жрец Молоха спросил всех, согласны ли они принести в жертву своих детей, голос Ганнона раздался в тени занавесок, как рычание духа в глубине пещеры. Он выразил сожаление, что у него самого нет детей, чтобы отдать их на заклятие, и пристально посмотрел при этих словах на Гамилькара, сидевшего против него в другом конце зала. Суффет¹ был так смущен его взглядом, что опустил глаза. Все одобрили Ганнона, кивая каждый по очереди головой в знак согласия. Согласно ритуалу, суффет должен был ответить верховному жрецу:

¹ Суффет — представитель высшей власти в Карфагене, Ганнон и Гамилькар были суффетами и полководцами.

— Да будет так.

Тогда старейшины постановили совершить жертвоприношение, причем облекли свое решение в обычную иносказательную форму; есть вещи, которые легче исполнить, нежели выразить словами.

Решение совета стало известно в Карфагене. Раздались стенания. Всюду слышались крики женщин; мужья утешали их или осыпали упреками.

Три часа спустя распространилась еще более поразительная весть: суфкет открыл источники у подножия утеса. Все побежали туда. В ямах, прорытых в песке, виднелась вода. Несколько человек, лежа на животе, уже пили ее.

Гамилькар сам не знал, действовал ли он по совету богов или по смутному воспоминанию о тайне, сообщенной ему когда-то отцом; но, покинув совет, он спустился на берег и вместе со своими рабами стал рыть песок.

Он начал раздавать одежду, обувь и вино, отдал все оставшиеся у него запасы хлеба и даже впустил толпу в свой дворец, открыл ей кухни, кладовые и все комнаты, за исключением комнаты Саламбо¹. Он возвестил, что скоро придут шесть тысяч галльских наемников и что македонский царь шлет им солдат.

Но уже на второй день источники стали высыхать, а к вечеру третьего дня совершенно иссякли. Тогда все снова заговорили о решении старейшин, и жрецы Молоха приступили к своему делу.

В дома являлись люди в черных одеждах. Многие заранее уходили под предлогом какого-нибудь дела или говоря, что идут купить лакомства; слуги Молоха приходили и забирали детей. Другие тупо сами же их отдавали. Детей уводили в храм Танит, где жрецы должны были хранить и забавлять их до наступления торжественного дня.

Эти люди появились внезапно у Гамилькара и, застав его в садах, обратились к нему:

— Барка, ты знаешь, зачем мы пришли? За твоим сыном.

Они прибавили, что мальчика видели в сопровождении старика лунной ночью минувшего месяца в Маппалах.

¹ С а л а м б о — дочь Гамилькара.

Гамилькар едва не задохнулся от ужаса, но, быстро сообразив, что всякое отрицание напрасно, выразил согласие и ввел пришедших в дом для торговли. Прибывшие рабы стали, по знаку своего господина, стеречь выходы.

Гамилькар вошел обезумевший в комнату Саламбо. Он одной рукой схватил Ганнибала, другой сорвал шнурок с лежавшей под рукой одежды, связал мальчику ноги и руки, а концом шнурка заткнул ему рот, чтобы он не мог говорить; затем он спрятал его под ложем из бычьих шкур, опустив падавшее до земли покрывало.

После того он начал ходить взад и вперед, поднимал руки, кружился, кусал губы, устремив недвижно глаза в пространство, задыхаясь, как умирающий.

Наконец он ударил три раза в ладони. Явился Гиденем.

— Послушай, — сказал он, — найди среди рабов мальчика восьми — девяти лет, с черными волосами и высоким лбом.

Вскоре Гиденем вернулся и привел с собой мальчика. Он был жалкий, худой и в то же время одутловатый; кожа его казалась серой, как и грязные лохмотья, которыми он был опоясан. Он втягивал голову в плечи и тер себе рукой глаза, залепленные мухами.

Как можно принять его за Ганнибала! Но времени, чтобы найти другого, не было. Гамилькар посмотрел на Гиденема, ему хотелось задушить его.

— Уходи! — крикнул он.

Начальник над рабами убежал.

Значит, несчастье, которого он давно боялся, действительно наступило. Напрягая все силы, он стал придумывать какое-нибудь средство, чтобы избежать его.

За дверью раздался голос Абдалонима. Суффета звали. Служители Молоха выражали нетерпение.

Гамилькар с трудом удержал крик, точно его обожгли раскаленным железом; он опять забежал по комнате как безумный. Потом опустился у перил и, опираясь локтями о колени, сжал кулаками лоб.

В порфировом бассейне оставалось еще немного чистой воды для омовений Саламбо. Несмотря на отвращение и гордость, суфкет окунул в воду мальчика и, как работороговец, принялся мыть его и натирать скребками и глиной. Затем он взял из ящика у стены два

четыреугольных куска пурпура, надел ему один на грудь, другой на спину и соединил их у ключиц двумя алмазными пряжками. Он смочил ему голову благовониями, надел на шею янтарное ожерелье и обул в сандалии с жемчужными каблуками, в сандалии своей дочери! Но он дрожал от стыда и раздражения. Саламбо, торопливо помогавшая ему, была так же бледна, как и он. Мальчик улыбался, ослепленный великолепием новых одежд, и даже, осмелев, стал хлопать в ладоши и скакать, когда Гамилькар повел его с собою.

Он крепко держал мальчика за руку, точно боясь потерять его; мальчику было больно, и он заплакал, продолжая бежать рядом с Гамилькаром.

У эргастула, под пальмой, раздался жалобный, молящий голос. Голос этот шептал:

— О господин, господин!..

Гамилькар обернулся и увидел рядом с собой человека отвратительной наружности, одного из тех несчастных, которые жили в доме без всякого дела.

— Что тебе надо? — спросил суфкет.

Раб, весь дрожа, пробормотал:

— Я его отец!

Гамилькар продолжал идти: раб следовал за ним, сгибая колени и вытягивая вперед голову. Лицо его было искажено несказанной мукой. Его душили рыдания, которые он сдерживал; ему хотелось одновременно и спросить Гамилькара и закричать ему: «Пощади!»

Наконец он отважился слегка коснуться его локтя пальцем:

— Неужели ты его...

У него не было силы закончить, и Гамилькар остановился, пораженный его скорбью.

Он никогда не думал — до того широка была пропасть, разделявшая их, — что между ними могло быть что-нибудь общее. Это показалось ему оскорблением и покушением на его исключительные права. Он ответил взглядом, более тяжелым и холодным, чем топор палача. Раб упал без чувств на песок к его ногам. Гамилькар перешагнул через него.

Трое людей в черных одеждах ждали его в большом зале, стоя у каменного диска. Он тотчас же стал рвать на себе одежды и кататься по полу, испуская пронзительные крики:

— Ах, бедный Ганнибал! О мой сын, мое утешение, моя надежда, моя жизнь! Убейте и меня! Уведите и меня! Горе! Горе!

Он царапал себе лицо ногтями, рвал волосы и выл, как плакальщицы на погребениях.

— Уведите его, я слишком страдаю! Уйдите! Убейте и меня!

Служители Молоха удивлялись тому, что у великого Гамилькара такое слабое сердце. Они были почти расстроганы.

Раздался топот босых ног и прерывистый хрип, подобный дыханию бегущего дикого зверя; на пороге третьей галереи, между косяками из слоновой кости, показался бледный человек, с отчаянием простиравший руки; он крикнул:

— Мое дитя!

Гамилькар одним прыжком бросился на раба и, закрывая ему руками рот, стал кричать еще громче:

— Этот старик воспитывал его! Он называет его своим сыном. Он с ума сойдет! Довольно! Довольно!

Вытолкнув за плечи трех жрецов и их жертву, он вышел вместе с ними и сильным ударом ноги захлопнул за собою дверь.

Гамилькар прислушивался в течение нескольких минут, все еще боясь, что они вернутся. Затем он подумал, не следовало ли ему отделаться от раба, чтобы быть уверенным в его молчании; но опасность еще не вполне миновала, и эта смерть, если она раздражит богов, могла обернуться против его же сына.

Тогда, изменив свое намерение, он послал ему через Таанак лучшее, что имелось на кухнях: четверть козла, бобы и консервы из гранат.

Раб, который давно не ел, бросился на пищу, и слезы его капали на блюда.

Гамилькар, вернувшись наконец к Саламбо, развязал шнурки Ганнибала и высвободил его. Мальчик в раздражении укусил ему руку до крови. Гамилькар ласково оттолкнул сына.

Чтобы усмирить мальчика, Саламбо стала пугать его Ламией, киренской людоедкой.

— А где она? — спросил он.

Ему сказали, что придут разбойники и посадят его в темницу. Он ответил:

— Пускай придут, я их убью!

Гамилькар открыл ему страшную правду. Но он рассердился на отца, утверждая, что, будучи властелином Карфагена, мог бы уничтожить весь народ.

Наконец, истощенный напряжением и гневом, Ганнибал заснул мятежным сном. Он бредил во сне, прислонившись спиной к пурпуровой подушке. Голова его откинулась назад, а маленькая рука протянулась в повелительном жесте.

Когда наступила глубокая ночь, Гамилькар осторожно поднял сына и спустился в темноте по лестнице, украшенной галерами. Пройдя мимо складов, он взял корзину винограда и кувшин чистой воды. Мальчик проснулся перед статуей Алета, в пещере, где хранились драгоценные камни; при виде окружающего его сияния камней он тоже улыбался на руках у отца, как тот, другой мальчик.

Гамилькар был уверен, что никто не отнимет у него сына. В эту пещеру нельзя было проникнуть, так как она соединялась с берегом подземным ходом, известным ему одному. Озираясь вокруг, он облегченно вздохнул. Потом он посадил мальчика на табурет около золотых щитов.

Его теперь никто не видел, не было надобности сдерживать себя, и он дал волю своим чувствам. Подобно матери, которой вернули ее первенца, он бросился к сыну, прижимая его к груди, смеялся и плакал в одно и то же время, называл его нежными именами, покрывал поцелуями. Маленький Ганнибал, испуганный его порывистой нежностью, затих.

Гамилькар вернулся неслышными шагами, нащупывая вокруг себя стены. Он пришел в большой зал, куда лунный свет проникал через расселину купола; посреди комнаты, вытянувшись на мраморных плитах, спал раб, насыщенный пищей.

Гамилькар взглянул на него, и в нем как будто зашевелилась жалость. Кончиком котурна он пододвинул ему ковер под голову. Затем он поднял глаза и взглянул на Танит, узкий серп которой сверкал на небе; он почувствовал себя сильнее Ваалов и преисполнился презрением к ним.

Приготовления к жертвоприношению уже начались. В храме Молоха отбили кусок **стены**, чтобы извлечь

медного идола, не касаясь пепла жертвенника. Затем, как только взошло солнце, служители храма двинули идола на Камонскую площадь.

Идол передвигался, пятась назад, скользя на валах; плечи его были выше стен; едва завидя его издали, карфагеняне быстро убежали, ибо нельзя безнаказанно созерцать Ваала иначе, чем в проявлении его гнева.

По улицам распространился запах благовоний. Двери всех храмов сразу раскрылись; в них появились скинии¹ богов на колесницах или на носилках, которые несли жрецы. Большие султаны из перьев развевались по углам, лучи исходили из остроконечных кровель, заканчивавшихся хрустальными, серебряными или медными шарами.

...Перед каждым из шатров стоял человек, державший в равновесии на голове широкий сосуд; в нем курился ладан. Носились облака дыма, и сквозь них можно было различить ткани, подвески и вышивки священных шатров. Они двигались медленно вследствие своей огромной тяжести. Оси колесниц иногда зацеплялись за что-нибудь на улицах; благочестивые люди пользовались тогда случаем коснуться Ваалов своими одеждами и охраняли их потом, как святыню.

Медный идол продолжал шествовать к Камонской площади. Богатые, неся скипетры с изумрудными набалдашниками, двинулись из глубины Мегары, старейшины, с венцами на голове, собрались в Киниздо, а управляющие казной, матросы и многочисленная толпа похоронных служителей, все со знаками своих должностей или эмблемами своего ремесла, направлялись к скиниям, которые спускались с Акрополя, окруженные коллегиями жрецов.

В честь Молоха они надели самые пышные свои драгоценности. Алмазы сверкали на их черных одеждах; но слишком широкие кольца падали с их похудевших рук, и ничего не могло быть более мрачного, чем эта безмолвная толпа, у которой серьги ударялись о бледные щеки, а золотые тиары сжимали лбы, судорожно сморщившиеся от глубокого отчаяния.

¹ Скинии — священные шатры.

Наконец Ваал прибыл на самую середину площади. Его жрецы сделали ограду из решеток, чтобы отстранить толпу, и расположились вокруг него.

Жрецы Камона¹ в одеждах из рыжеватой шерсти выстроились перед своим храмом, под колоннами портика; жрецы Эшмуна², в льняных одеждах, с ожерельями из голов кукуфы и в остроконечных тиарах, расположились на ступенях Акрополя; жрецы Мелькарта, в фиолетовых туниках, заняли западную сторону; жрецы абаддиров, затянутые в повязки из фригийских тканей, стали на востоке, а с южной стороны поместили, вместе с кудесниками, покрытыми татуировкой, крикунов в заплатанных одеждах, служителей Патэков и Иидонов, которые предсказывали будущее, взяв в рот кость мертвеца. Жрецы Цереры в голубых одеждах остановились из предосторожности на улице Сатеп и тихим голосом напевали фесмофорий на мегарском наречии³.

Время от времени шли ряды совершенно голых людей; широко расставив руки, они держались за плечи друг друга. Они извлекали из глубины груди глухие, хриплые звуки; их глаза, устремленные на колосса, сверкали в пыли, и они равномерно раскачивались все вместе, точно сотрясаясь от одного движения. Они были в таком неистовстве, что для восстановления порядка рабы, служители храмов, пуская в ход палки, заставили их лечь на землю ничком, лицом на медные решетки.

...Тем временем между ногами колосса зажгли костер из алоэ, кедра и лавров. Длинные крылья колосса погружались в огонь; мази, которыми его натерли, текли, точно капли пота, по его медному телу. Вокруг круглой плиты, в которую он упирался ногами, стоял недвижимый ряд детей, закутанных в черные покрывала; несоответственно длинные руки его спускались ладонями к ним, точно собираясь схватить этот венец и унести его на небо. Богатые, старейшины, женщины — вся толпа теснилась за жрецами и на террасах домов. Большие

¹ Камон — здесь то же, что и Ваал.

² Эшмун — одно из главных божеств Финикии.

³ Здесь перечислены различные божества того времени: Патэки — финикийские божества, карлики; Церера — богиня земледелия у римлян; Иидоны — предсказатели; Фесмофорий — гимн в честь Цереры.

раскрашенные звезды перестали кружиться; скинии стояли на земле; дым кадила поднимался отвесно, точно гигантские деревья, простирающие среди синевы свои голубоватые ветви.

Несколько человек лишилось чувств; другие точно окаменели в экстазе. Беспредельная тревога тяжело ложилась на грудь. Последние возгласы затихли один за другим, и карфагенский народ тяжело дышал, охваченный жадой ужаса.

Наконец верховный жрец Молоха провел левой рукой по лицам детей под покрывалами, вырывая у каждого прядь волос на лбу и бросая ее в огонь. Жрецы в красных плащах запели священный гимн:

— Слава тебе, Солнце! Царь двух поясов земли, творец, сам себя породивший, отец и мать, отец и сын, бог и богиня, богиня и бог!..

Голоса их потерялись в грохоте музыкальных инструментов, которые зазвучали все сразу, чтобы заглушить крики жертв. Восемьструнные шеминиты, кинноры о десяти, небалы о двенадцати струнах скрипели, шипели, гремели. Огромные мехи, утыканые трубами, производили острое шелканье; непрерывно ударяемые тамбурины издавали быстрые глухие удары; и среди грома труб сальсалимы трещали, как крылья саранчи.

Рабы, служители храмов, открыли длинными крючками семь отделений, расположенных одно над другим по всему телу Ваала. В самое верхнее положили муку, во второе — двух голубей, в третье — обезьяну, в четвертое — барана, в пятое — овцу. А так как для шестого не оказалось быка, то туда положили дубленую шкуру, взятую из храма. Седьмое отделение оставалось открытым.

Прежде чем что-нибудь предпринять, нужно было испробовать, как действуют руки идола. Тонкие цепочки, начинавшиеся у пальцев, шли к плечам и спускались сзади; когда их тянули книзу, раскрытые руки Молоха поднимались до высоты локтей и, сходясь, прижимались к животу. Их несколько раз привели в движение короткими, прерывистыми толчками. Инструменты смолкли. Пламя бушевало.

Жрецы Молоха ходили по широкой плите, разглядывая толпу.

Нужна была жертва отдельного человека, совершенно добровольная, так как считалось, что она увлечет

за собой других. Никто пока не являлся. Семь проходов от барьеров к колоссу оставались пустыми. Чтобы заразить толпу примером, жрецы вынули из-за поясов острые шила и стали наносить себе раны на лице. В ограду впустили обреченных, которые лежали, распростершись на земле, в стороне. Им бросили связку страшных железных орудий, и каждый из них избрал себе пытку. Они вонзали себе вертела в грудь, рассекали щеки, надевали на голову терновые венцы; потом схватились за руки и, окружая детей, образовали второй большой круг — он то сжимался, то расширялся. Они приближались к перилам, затем отступали, снова приближались и проделывали это вновь и вновь, маня к себе толпу головокружительным хороводом среди крови и криков.

Мало-помалу люди вступали в проходы и доходили до конца; они бросали в огонь жемчуга, золотые сосуды, чаши, факелы, все свои богатства; дары становились всё более щедрыми и многочисленными. Наконец шатающийся человек с бледным, безобразно искаженным от ужаса лицом толкнул вперед ребенка; в руках колосса очутилась маленькая черная ноша; она исчезла в темном отверстии. Жрецы наклонились над краем большой плиты, и вновь раздалось пение, славящее радость смерти и воскресение в вечности.

Жертвы поднимались медленно, и так как дым восходил высокими клубами, то казалось, будто они исчезали в облаке. Ни один не шевелится, все были связаны по рукам и по ногам; под темными покрывалами они ничего не видели, и их нельзя было узнать.

Гамилькар, в красном плаще, как и все жрецы Молоха, стоял около Ваала, у большого пальца его правой ноги. Когда привели четырнадцатого мальчика, все заметили, что Гамилькар отпрянул в ужасе. Но вскоре, приняв прежнюю позу, он скрестил руки и опустил глаза. С другой стороны статуи верховный жрец стоял так же неподвижно, как и он. Опустив голову, отягченную ассирийской митрой, жрец смотрел на сверкавшую у него на груди золотую бляху; она была покрыта вещами камнями, и на ней горели радугой отблески пламени. Он бледнел, обезумев от ужаса. Гамилькар склонил голову, и оба они были так близки от костра, что края их плащей, приподнимаясь, касались огня.

Медные руки двигались все быстрее и быстрее, безостановочным движением. Каждый раз, когда на них клали ребенка, жрецы Молоха простирали на жертву руки, чтобы взвалить на нее преступления народа, и громко кричали: «Это не люди, это быки!» Толпа кругом редела: «Быки! Быки!» Благочестивые люди кричали: «Ешь, властитель!» А жрецы Прозерпины, подчиняясь от ужаса требованиям Карфагена, бормотали элевзинскую молитву:

— Пролей дождь! Роди!

Жертвы, едва очутившись у края отверстия, исчезали, как капля воды на раскаленном металле, и белый дым поднимался среди багрового пламени.

Но голод божества не утолялся; оно требовало еще и еще. Чтобы дать ему больше, ему нагружали руки, стянув жертвы сверху толстой цепью, которая их держала. Верные служители Ваала хотели вначале считать число жертв, чтобы узнать, соответствует ли оно числу дней солнечного года; но так как жертвы всё прибавлялись, то их уже нельзя было сосчитать среди головокружительного движения страшных рук. Длилось это бесконечно долго, до самого вечера. Потом внутренние стенки отверстий зарделись более темным блеском. Тогда стали различать горевшее мясо. Некоторым даже казалось, что они видят волосы, отдельные члены, даже все тело жертв.

Наступал вечер; облака спустились над головой Ваала. Костер, переставший пылать, представлял собою пирамиду углей, дошедших до колен идола; весь красный, точно великан, залитый кровью, с откинутой назад головой, он как бы шатался, отяжелев от опьянения.

По мере того как жрецы торопились, неистовство толпы возрастало; число жертв уменьшалось; одни кричали, чтобы их пощадили, другие — что нужно еще больше жертв. Казалось, что стены, покрытые людьми, должны рушиться от криков ужаса и мистического сладострастия. К идолу пришли верующие, таща цеплявшихся за них детей; они их били, чтобы оттолкнуть и передать красным людям. Музыканты останавливались по временам от изнеможения, и тогда слышны были крики матерей и шипение жира, падавшего на угли. Опившиеся беленой ползали на четвереньках, кружились вокруг колосса и рычали, как тигры; Иидоны пророче-

ствовали; обреченные с рассеченными губами пели гимны. Ограду снесли, потому что все хотели принять участие в жертвоприношении; отцы, дети которых умерли задолго до того, бросали в огонь их изображения, игрушки, их сохранившиеся останки. Те, у кого были ножи, бросались на других, и началась резня. При помощи бронзовых веялок рабы, служители храма, собрали с края плиты упавший пепел и развеяли его по воздуху, для того чтобы жертвоприношение разнеслось над всем городом и достигло звездных пространств.

Шум и яркий свет привлекли варваров к подножию стен; хватаясь, чтобы лучше видеть, за обломки стенобитной машины, они глядели, цепenea от ужаса.



„ЧУДЕСА“ СВЯТЫХ ОТЦОВ

Писатели эпохи Возрождения в своем высоком представлении о возможностях человека, о многостороннем и полном развитии всех его способностей, в своем утверждении радости и счастья человека на земле приходили в неизбежный конфликт с темными суевериями средневековья, с христианским учением.

Это ярко проявилось у писателей итальянского Возрождения, у таких рассказчиков, как Джованни Боккаччо (1313—1375), автор сборника новелл «Декамерон», как Гвардато Мазуччо (XV век) или итальянский писатель-гуманист Поджо Браччолини (1380—1459), автор коротких сатирических новелл-анекдотов «Фацетии».

В своих рассказах они в меткой и остроумной форме разоблачают ханжество священников и монахов, их корыстолюбие и жадность, грубо сделанные ими «чудеса» и показывают, как служители церкви используют темноту и суеверие прихожан.

Произведения Боккаччо, Мазуччо, Поджо Браччолини и других писателей эпохи Возрождения рассеивают туман, которым духовенство отравляло сознание человека, бьют по суевериям, вообще по всякому мракобесию. Их творчество сильно своей верой в торжество человека в этом, земном мире.

Брат Чиполла обещает некоторым крестьянам показать им перо ангела, но, найдя вместо него угли, говорит, что это те, на которых изжарили святого Лаврентия

Чертальдо, как вы, быть может, слышали, — местечко в долине Эльзы, лежащее в нашей области, и хотя оно невелико, в нем прежде жили родовитые и зажиточные люди. Туда-то, как в место злачное, имел обыкновение являться раз в год для сбора милостыни, которую подают им глупцы, один из монахов ордена святого Антония, по имени брат Чиполла (Луковица), которого там охотно принимали, быть может не менее из-за имени, чем по иным соображениям набожности, ибо тамошняя почва производит луковицы, славящиеся по всей Тоскане.

Был этот брат Чиполла небольшого роста, с рыжими волосами и веселым лицом, одним из самых ловких в свете проходимцев; к тому же, не имея никаких познаний, такой отличный, находчивый оратор, что кто не знал бы его, не только счел бы за большого риторика, но сказал бы, что это сам Туллий¹, а может быть, и Квинтилиан²; и почти всем в той местности он приходился кумом, другом либо приятелем. И вот однажды он отправился туда, по своему обыкновению, в августе и утром в воскресенье, когда все добрые люди и женщины окружных деревень пришли к обедне в приходскую церковь, выступил, когда ему показалось, что пора, и сказал:

— Господа и дамы, как вам известно, у вас в обычае ежегодно посылать бедным великогомощного мессера³ святого Антония от вашей пшеницы и вашего жита кто мало, а кто и много, смотря по своему состоянию и благочестию, дабы блаженный святой Антоний был на страже волов, и ослов, и свиней, и овец ваших; кроме того, у вас существует обыкновение, особенно у тех, кто

¹ Туллий — Марк Туллий Цицерон, знаменитый оратор древнего Рима.

² Квинтилиан — римский оратор I века нашей эры.

³ Мессер — господин.

приписан к нашему братству, платить тот небольшой должок, что платится раз в году. Для сбора всего этого я и послан моим набольшим, то есть господином аббатом; потому, с благословения божия, после девятого часа, когда вы услышите трезвон, приходите сюда, к церкви, где я, по обычаю, скажу вам проповедь, а вы приложитесь ко кресту; а кроме того, зная, что все вы особенно почитаете великого мощного мессера святого Антония, в виде особой милости я покажу вам святейшие и прекрасные мощи, которые я сам привез из святых мест за морем; это — одно из перьев ангела Гавриила.

Сказав это, он ушел и продолжал служить обедню.

Когда брат Чиполла говорил это, были в церкви, в числе многих других, и двое молодых людей, очень лукавых: один по имени Джованни дель Брагоньера, другой Биаджио Пиццини. Немного посмеявшись промеж себя над мощами брата Чиполлы, хотя оба были его друзьями и с ним водились, они решились сыграть с ним по поводу этого пера некую шутку. Проведав, что брат Чиполла в то утро обедает в замке у одного своего приятеля, лишь только они узнали, что он за столом, вышли на улицу и отправились в гостиницу, где остановился брат Чиполла, с таким намерением, что Биаджио должен вступить в беседу с слугой брата Чиполлы, а Джованни поищет в вещах брата то перо, каково бы оно ни было, и стащит его у него, дабы посмотреть, что он потом расскажет о том народу.

У брата Чиполлы был слуга, которого одни звали Гуччио Балена (Кит), другие — Гуччио Имбратта (Замараха), а кто звал его и Гуччио Порко (Свинья); и был он такой юродивый, что Липпо Топо, наверное, никогда не делал ничего подобного; брат Чиполла часто, бывало, шутил над ним в своем кружке и говорил: «У моего слуги девять таких качеств, что, если бы любое из них было у Соломона или Аристотеля либо у Сенеки, этого было бы достаточно, чтобы испортить всякую их добродетель, всю их мудрость и всю их святость. Представьте теперь, что это должен быть за человек, у которого нет никакой добродетели, ни мудрости, ни святости, а тех качеств девять?» И, когда порой его спрашивали, какие эти девять качеств, он, сложив их в рифмы, отвечал: «Я скажу вам это: он ленив, грязен и лжив;

нерадив, непослушлив и бранчлив; незаботлив, безнравствен и непамятлив; кроме того, за ним водятся при этих и некоторые другие грешки, о которых лучше умолчать».

...Ему-то, оставив его в гостинице, брат Чиполла наказал хорошенько смотреть, чтобы никто не касался его вещей, особенно его мешков, ибо в них были святыни.

...Итак, оба юноши нашли Гуччио Порка занятым в кухне, очень довольные этим, ибо их дело было сделано наполовину, они без чьего-либо препятствия вошли в комнату брата Чиполлы, которую нашли открытою, и первое, что они принялись обыскивать, был мешок, где находилось перо; раскрыв его, они нашли в большом узле, обернутом шелковой тканью, небольшой ларчик, отворив который обрели перо из хвоста попугая, и предположили, что это и есть то самое, которое он обещал показать жителям Черतालдо. Он в самом деле мог в то время легко уверить их в этом, ибо роскошные диковинки Египта лишь в малой мере перешли тогда в Тоскану, как потом перешли в величайшем изобилии к общему разложению Италии. И, если вообще они мало были известны, в той местности жители почти их не знали; мало того, пока еще в силе была грубая простота дедов, они не только не видели попугаев, но никогда и вовсе не слышали упоминания о них.

Довольные находкою пера, молодые люди взяли его и, чтобы не оставить ларец пустым, увидев в одном углу комнаты уголья, наполнили ими ларец; заперев его и все так устроив, как нашли, не замеченные никем, они весело ушли с пером и стали поджидать, что скажет брат Чиполла, найдя вместо пера уголья.

Мужчины и простодушные женщины, бывшие в церкви, услышав, что после девятого часа они увидят перо ангела Гавриила, по окончании обедни вернулись домой; один сосед сказал о том другому, кума куме; и, когда все отобедали, столько мужчин и женщин набралось в местечко, что едва в нем поместились, все с нетерпением ожидая увидеть то перо. Брат Чиполла, хорошо пообедав и затем поспав немного, встал вскоре после девятого часа и, узнав, что пришло множество крестьян, чтобы поглядеть на перо, велел сказать Гуччио Имбрата, чтобы он явился наверх с колокольцами и принес

его мешки. Тот, с трудом оторвавшись от кухни, пошел вверх с требуемыми вещами; когда он явился туда, задыхаясь, ибо от большого количества выпитой воды у него разбухло тело, он стал, по приказанию брата Чиполлы, у церковной двери и начал сильно звонить в колокольцы. Когда весь народ собрался, брат Чиполла, не заметивший, чтобы что-либо из его вещей было тронут, начал проповедь и многое сказал подходящее к его цели; когда пришло время ему показать перо ангела, он наперед с большою торжественностью произнес молитву, велел зажечь два факела и, сняв сначала капюшон, осторожно развернул шелковую ткань и вынул из нее ларчик. Сказав наперед несколько слов в похвалу и прославление ангела Гавриила и своей святыни, он открыл ларец.

Когда он увидел, что ларец полон угольев, он не возымел подозрения, что то проделал с ним Гуччио Балена, ибо знал, что ему того не измыслить, и не проклял его, что плохо смотрел за тем, чтобы кто иной того не сделал, а втихомолку выбрал самого себя, что поручил хранение своих вещей ему, которого знал за нерадивого, непослушного, незаботливого и непамятливого. Тем не менее, не изменившись в лице, подняв горé глаза и руки, сказал так, что его слышали:

— Господи, да похвалено будет во веки твое могущество!

Затем, затворив ларец и обратившись к народу, сказал:

— Господа и дамы, надо вам сказать, что, когда я был еще очень юным, мой начальник послал меня в страны, где восходит солнце, и мне особым приказом было поручено искать, пока не обрету привилегий Поросяти, которые, хотя штемпелевать их и ничего не стоило, гораздо пригоднее другим, чем нам. Потому, пустившись в путь, отправившись из Венеции и пройдя до Борго деи Гречи и через Бальдакку, я прибыл в Парионе, откуда не без большой жажды достиг, по некотором времени, Сардинии. Но к чему рассказывать вам о всех странах, мною посещенных? Перебравшись через пролив Святого Георгия, я приехал в Обманную и Продувную, страны очень населенные, с великими народами; оттуда прибыл я в землю Облыжную, где нашел многих из нашей братии и из других орденов, которые все, бога ради, бе-

гали от невзгоды, мало заботясь о чужих затруднениях, лишь бы видели, что им последует польза, и не платили в тех странах иной монетой, как нечеканной. Затем перешел я в землю Аbruцц, где мужчины и женщины ходят по горам в деревянных башмаках, а свиней одевают в их собственные кишки; немного далее я нашел людей, носивших хлеб в палках, а вино в мешках; оттуда проник до Червивых гор, где все воды текут вниз.

В короткое время я так забрался внутрь, что дошел до пастернакской Индии, где, клянусь вам одеждой, которую ношу, видел пернатых летающими по воздуху; дело неслыханное, если кто того не видел. Но в этом не даст мне солгать Мазо дель Саджио, знатный купец, которого я там встретил, когда он колот орехи, а скорлупу продавал по мелочам.

Так как я не мог найти, чего искал, потому что далее путь идет водою, я, вернувшись назад, прибыл в те святые земли, где летним годом черствый хлеб ходит по четыре денежки, а свежий даром. Здесь я нашел почтенного отца Не-кори-меня-пожалуй, достойнейшего патриарха Иерусалима, который в уважение к одежде высокомошного мессера святого Антония, которую я всегда носил, пожелал, чтобы я узрел все святые мощи, какие у него были, и было их так много, что, если бы я захотел все их перечислить вам, я не дошел бы до конца и через несколько миль. Тем не менее, дабы не оставить вас без утешения, скажу вам о некоторых.

Мне показан был святой перст, такой свежий и целый, как только можно себе представить; локон Серафима, явившегося святому Франциску; ноготь Херувима; несколько лучей звезды, явившейся волхвам на Востоке; пузырек с потом ангела, когда он бился с дьяволом; челюсть смерти святого Лазаря и другие. А так как я не постоял за тем, чтобы подарить ему склоны Монте Морелло в итальянском переводе и несколько глав Капреция, которые он давно разыскивал, он сделал меня причастным своим святым мощам и подарил мне один из зубцов, а в скляночке несколько от звона колоколов Соломонова храма, и перо ангела, о котором я уже говорил вам, и один из деревянных башмаков святого Герарда да Вилламаны, который я недавно пожертвовал во Флоренции Герарду ди Бонзи, питающему к нему величайшее благоговение. Дал он мне и от угольез,

на которых изжарен был блаженнейший мученик святой Лаврентий.

Все эти предметы я благоговейно принес сюда с собою, и они все при мне. Правда, мой начальник никогда не позволял мне показывать их, пока не удостоверено, они ли это или нет; но теперь, когда некоторые чудеса, ими совершенные, и письма, полученные от патриарха, это удостоверили, — он дал мне дозволение показывать их; но я, боясь доверить их другому, всегда ношу их с собою. Правда, я ношу перо ангела Гавриила в ларце, дабы оно не испортилось, а уголья, на которых изжарен был святой Лаврентий, в другом, но они так похожи друг на друга, что часто я один принимаю за другой, что и приключилось со мною теперь, ибо я полагал, что принес с собою ларчик, где было перо, а я принес тот, где угли. И я думаю, то было не по ошибке; напротив, я почти уверен, что на то была воля божия и что сам господь вложил в мои руки ларец с угольями, ибо вспоминаю теперь, что праздник святого Лаврентия будет через два дня. Поэтому господу изволившу, чтобы я, показав вам угли, на которых был изжарен святой, возжег в ваших душах благочестие, которое вы должны питать к нему. Он и велел мне взять не перо, как я того хотел, а благословенные угли, погашенные влагой того святейшего тела. Поэтому, благословенные сыны мои, снимите шапки и набожно подойдите посмотреть на них. Но наперед знайте, что, кого коснутся эти уголья в знамение креста, тот может весь этот год прожить в уверенности, что огонь не коснется его тела, чтобы он того не почувствовал.

Сказав это, с пением похвалы святому Лаврентию брат Чиполла открыл ларец и показал угли. После того как глупая толпа некоторое время рассматривала их с удивлением, все среди великой давки стали подходить к брату Чиполле, принося лучшее подаяние, чем обыкновенно, и каждый просил коснуться его теми углями. Поэтому брат Чиполла, взяв угли в руки, стал делать на белых камзолах и куртках и на покрывалах женщин такие большие кресты, какие только могли поместиться, утверждая, что, если угли умалялись от начертания крестов, они снова увеличивались в ларце, как то он не раз испытал.

Таким образом, не без величайшей себе выгоды, он

окрестил всех жителей Чертальдо, быстрой выдумкой наглумившись над теми, кто, похитив у него перо, вздумал поглумиться над ним. Они были на его проповеди и, когда слышали, как он неожиданно вывернулся и как это сделал издалека и в каких выражениях, так смеялись, что боялись свернуть себе скулы. Потом, когда народ разошелся, они, отправившись к нему, с величайшим в свете весельем открыли ему, что они натворили, а затем отдали ему и его перо, которое на следующий год сослужило ему службу не менее, чем в тот день сослужили угли.



Мазуччо

*

Брат Джироламо из Сполето, показывая соррентинцам кость одного мертвеца, уверяет их, что это рука святого Луки; товарищ его возражает на это; Джироламо просит бога явить чудо; товарищ падает и прикидывается умирающим, а Джироламо своей молитвой возвращает его к жизни; с помощью этого двойного чуда он собирает немало денег, покупает должность прелата и бездельничает вместе с товарищем

В ту пору, когда король Иаков французский, принявший впервые звание графа Марки, вступил в брак с последней из рода Дурацци, в Неаполь прибыл монах-минорит, которого звали братом Джироламо Сполетским. Этот монах, прямо святой с виду, постоянно проповедовал не только в Неаполе, но и во всех ближайших городах, всюду прославляясь и возбуждая к себе почтение. И вот случилось, что во время его пребывания в Аверсе ему указали в одном из монастырей братьев-

проповедников, как на предмет, достойный удивления, на тело одного видного рыцаря, умершего много лет тому назад. Тело это, в силу ли благоприятных условий, в которых оно хранилось, или, быть может, вследствие особой прочности своего жизненного состава, или, наконец, по какой-либо другой причине, было настолько цельным и плотным, что не только все кости его находились на своих местах, но и кожа оставалась неповрежденной, так что от прикосновения к голове шевелились отдаленные части тела. Наш монах, все как следует осмотревший, замыслил раздобыть какой-нибудь из членов этого тела, для того чтобы, выдав его за мощи, извлечь из этого сотни, а не то и тысячи дукатов¹. Деньги эти дали бы ему возможность не только жить бездельничая, но, пожалуй, даже, как это водится, достичь степени прелата². Ведь если присмотреться как следует — какое множество важных прелатов достигли своего положения за счет жалких и глупых мирян! Один добился таким образом должности инквизитора ересей, другой — сборщика пожертвований на крестовый поход; умолчу уже о тех, что, имея папские буллы, настоящие или подложные, дают отпущение грехов и при помощи денег отводят кому угодно место в раю. Таким образом, всеми правдами и неправдами набивают они себе брюхо флоринами³, хотя это строго воспрещено их святейшим уставом.

Но вернемся к нашему брату Джироламо, который, задумав это дело и подкупив местного ризничего, получил с благословения приора⁴ Санта-Кроче правую руку покойника, на которой сохранились даже волосы, а ногти были такие блестящие и крепкие, словно принадлежали живому человеку. И, не желая более медлить, наш монах, завернув мощи в несколько покровов из шелковой тафты и спрятав их в ларец, куда были положены различные благовония, приготовился к отъезду. Возвратившись в Неаполь, он отыскал здесь своего верного товарища, не менее ловкого шутика, чем он

¹ Дукат — старинная золотая монета.

² Прелат — общее название высших чинов католической церкви.

³ Флорин — флорентийская золотая монета.

⁴ Приор — один из руководителей католического монастыря.

сам, которого звали братом Мариано Саонским. Чтобы использовать свое оружие, они решили вместе отправиться в Калабрию — область, населенную грубым и темным людом. На этом решении они и остановились.

Брат Мариано, переодевшись из предосторожности доминиканцем, пошел в порт, чтобы поискать способов переправиться в Калабрию; а брат Джироламо с тремя другими товарищами, нагруженные дорожными мешками, направились к морскому побережью другим путем. Там случайно набрали они на судно из Амантеи, как раз готовившееся к отплытию; они сели в него, не показывая, однако, виду, что знакомы между собой, и держась друг от друга в стороне, как это делают плуты на ярмарке или когда сходятся в пути на постоялом дворе. Так устроились они и, когда весла были спущены на воду и паруса надулись ветром, пустились в путь. Но в то время как они находились неподалеку от Капри, подул такой буйный и страшный ветер, что невозможно было бороться с ним никакими мореходными средствами, и, едва избежав гибели, они должны были против своей воли пристать в одном маленьком заливе неподалеку от Сорренто. Не без труда причалив здесь к берегу, они сошли с корабля и отправились в город, порешив обождать в нем, пока уляжется непогода.

В числе других и наш брат Джироламо со своими товарищами направились в убежище доминиканцев; там же поместился вместе со своими спутниками-мирянами и брат Мариано, тоже ставший доминиканцем. Узнав, что море не так-то скоро успокоится, достойный брат, не желая терять время, решил сразу же произвести первый опыт со своей ложной святыней. Он вспомнил, что, как приходилось ему слышать в своих краях, Сорренто принадлежал к числу не только самых славных, но и древнейших городов королевства; а из этого он заключил, что в его гражданах должно жить древнее невежество, которое позволит ему так же легко, как и в Калабрии, осуществить свое намерение.

Памятуя о том, что следующий день был воскресным, и предупредив тайком брата Мариано, он попросил настоятеля сообщить архиепископу о том, что он собирается, с его благословения, произнести проповедь в главном храме города. Он просит также архиепископа созвать из города и его окрестностей столько народу,

сколько он найдет нужным, и внушить этим людям необходимое благоговение, чтобы можно было во славу Божию показать им самую почтенную из всех виденных доселе святынь. Архиепископ, принадлежавший к древнейшим соррентинцам, торжественно объявил не только по городу, но и по ближайшим деревням отлучение всем тем, кто не придет набожно выслушать проповедь одного из слуг господних и посмотреть на святыню, которую он покажет соррентинскому народу.

Весть об этом распространилась по всей стране, и наутро собралось столько народу, что церковь едва могла вместить половину людей. Когда наступило время проповеди, брат Джироламо, сопровождаемый, со всеми обычными церемониями, множеством монахов, взошел на кафедру и долго разглагольствовал о делах благочестия и святой милостыни; когда же, по его мнению, настало время, он обнажил голову и начал следующую речь:

— Преподобнейший монсиньор¹, и вы, благородные господа и дамы, отцы и матери мои во Христе Иисусе, я не сомневаюсь, что вам известно о моем проповедничестве в Неаполе, где, по милости божьей, не по моим заслугам и достоинствам, я постоянно пользовался особым вниманием прихожан. Наслышавшись о вашем славном городе, о просвещенности и набожности его граждан, а также о красотах этой местности, я много раз собирался приехать сюда для благовествований божественного слова, равно как и с целью насладиться вместе с вами этим благорастворенным воздухом, который поистине кажется мне подходящим для моего здоровья. Однако, в силу послушания, которым я обязан отцу нашему главному викарию, потребовавшему, чтобы я немедленно отправился в некоторые города Калабрии для посещения монастырей, просивших о моем приезде, мне пришлось направить свой путь туда, куда было приказано. Но как вы, вероятно, знаете, судно наше, борясь с противными и бурными ветрами, попало в этот залив, и против воли моряков, тщетно напрягавших свои силы, мы прибыли сюда, едва избежав гибели. Я усматриваю, однако, истинную причину нашего прибытия сюда не в

¹ Монсиньор — титул государей и знати, употребляемый также при обращении к представителям высшего католического духовенства.

противном ветре, а в божественной воле творца, заготовшего отчасти исполнить мои желания. И вот, чтобы вы стали сопричастны этой милости божией, я хочу показать вам, для утверждения вашего благочестия, чудесную святыню, а именно: всю правую руку превосходного и славного писца Христова, господина нашего святого евангелиста Луки. Святыня эта была принесена в дар константинопольским патриархом отцу нашему викарию, и он посылает ее со мной, в Калабрию, по указанной причине, так как в этой стране никогда не было никаких мошей. Итак, да благословит тебя бог, стадо мое, и пусть каждый желающий видеть это сокровище благоговейно снимет шапку, так как скорее чуду господнему, чем моим делам, обязаны вы возможностью узреть его; но прежде еще сообщу вам, что имею при себе буллу господина нашего папы, который дарует снисхождение и отпущение грехов каждому, кто принесет посильное даяние, дабы на собранные деньги можно было изготовить для этих мошей серебряную, украшенную драгоценными камнями раку¹, подобающую столь высокой святыне.

Сказав это, он вытащил из рукава, по обычаю своему, поддельную буллу, которую никто даже не стал читать, так как все поверили ему безусловно. Итак, все поспешили подать свою лепту, даже те, средства которых были крайне скудными. Брат Джироламо, с толком рассказав сочиненную им побасенку, велел своим товарищам принести ларец со святой рукой и зажечь множество факелов; затем, благоговейно держа его в руках, он стал на колени и с полными слез глазами умиленно облобызал край вместилища, содержащего святыню. После этого монах-проповедник обернулся к товарищам, и, чтобы вернее ввести народ в обман, они запели на церковный лад благочестивый акафист святому Луке. Видя, что весь народ пришел в священный восторг, монах открыл ларец, из которого распространился чудный аромат; потом, развернув пелены из шелковой тафты, он вынул моши и, освободив от покрова кисть руки и часть предплечья, сказал следующее:

— Это та самая счастливая и святая рука вернейшего писца Христова, та самая блаженная рука, что написала столько возвышенного о жизни святой девы

¹ Р а к а — гробница с мощами.

Марии и, кроме того, много раз изображала ее подлинный лик.

Он собирался продолжать свое славословие святому Луке, как вдруг брат Мариано Саонский, в своем новом доминиканском облачении, находившийся в другом конце церкви, без стеснения проложил себе дорогу и обратился к брату Джироламо в таких выражениях:

— О гнусный злодей, бездельник, желающий обмануть бога и людей! Как это ты не устыдился произнести такую безмерную ложь, утверждая, что это рука святого Луки? Разве не известно мне доподлинно, что его святейшие мощи целиком обретаются в Падуе? Эти гнилые кости ты вытащил из какого-нибудь гроба для того, чтобы обмануть ближних; удивляюсь я монсиньору и всем почтенным отцам-церковникам, которые должны были бы побить тебя камнями, как ты этого заслуживаешь!

Архиепископ и весь народ, немало удивленные таким необычайным выступлением и встревоженные словами монаха, хотели заставить его замолчать, но тот не унимался, продолжал кричать и, казалось, с большою горячностью старался убедить народ в том, что не следует верить его противнику. Когда дело дошло до этого, брат Джироламо решил, что настало время совершить задуманное им ложное чудо. Он выказал сперва некоторое смущение, затем, сделав рукою знак, чтобы народ, не перестававший роптать, замолчал, и убедившись, что все со вниманием ждут его слова, обернулся к главному алтарю, где находилось распятие, стал перед ним на колени и начал так:

— Господи Иисусе Христе, спаситель рода человеческого, бог и человек, ты, вылепивший меня по образу твоему, приведший меня сюда и искупивший меня своим славным телом и своею непорочной плотью и горчайшими страстями, заклинаю тебя чудесными крестными ранами, дарованными тобой нашему, серафимам равному, Франциску, — соблаговоли явить несомненное чудо перед лицом благоговейного народа и достойного этого монаха, который, как враг и соперник нашего ордена, пришел оспаривать мою правду, и если я солгал, то да ниспослешь ты на меня свой гнев и да умру я тотчас; если же я говорю правду и это — подлинная рука господина нашего святого Луки, твоего достойнейшего писца, господь мой, то не ради отмщения, но для

обнаружения истины произнеси приговор над ним, чтобы, если он пожелает покаяться, он не мог бы даже подать о том знак ни языком, ни рукой.

Еще не окончил брат Джироламо своего заклинания, как брат Мариано, как было у них условлено, начал внезапно корчиться, дрыгая руками и ногами, выть и бессвязно бормотать. Глаза его закатились, рот искривился, все члены, казалось, свело, и он упал навзничь. При виде этого явного чуда все находившиеся в церкви взмолились богу о пощаде и завопили так сильно, что загрели гром — вряд ли кто-нибудь его бы услышал.

Брат Джироламо, видя, что народ им уже обольщен, чтобы сильнее довершить обман, начал выкрикивать:

— Да прославится бог! Успокойся, стадо мое!

Когда его слова успокоили народ, то, приказав поднять брата Мариано, казавшегося мертвым, и положить его перед алтарем, он начал следующую речь:

— Благородные синьоры и дамы, и вы, горожане и поселяне, прошу вас, во имя святых страстей господних, стать на колени и благоговейно прочесть во славу святого Луки молитву господню. Пусть бог, ради заслуг своего святого, не только вернет этого несчастного к жизни, но и возвратит ему дар слова и утраченную способность владеть членами; и да избавится он от гибели вечной!

Едва брат Джироламо успел обратиться к народу, как все уже начали молиться; а он сошел с кафедры, взял нож, отрезал маленький кусочек ногтя с чудотворной руки, положил его в чашу со святой водой, затем открыл рот брату Мариано и влил ему в горло этот драгоценнейший напиток, говоря:

— Повелеваю тебе именем духа святого: встань немедленно и будь по-прежнему здоровым.

Брат Мариано, с трудом все время сдерживавший смех, выпил поданное ему пойло и, выслушав приказание, тотчас же поднялся, открыл глаза и как ошалелый завопил:

— Иисусе! Иисусе!

При виде этого второго, столь же явного чуда встревоженная и ошеломленная толпа стала тоже призывать Христа; и кто бежал звонить в колокола, кто лобызал и прикасался к одеждам проповедника. И так были все преисполнены благочестия, что казалось им — уже на-

ступил день страшного суда. Брат Джироламо, желая завершить дело, приведшее его сюда, с большим трудом взобрался на кафедру и приказал поставить мощи перед алтарем. Вокруг них он расставил всех своих товарищей: кого с зажженным факелом, кого для очистки места, чтобы каждый из приходящих мог без помехи молиться и приносить в свое удовольствие жертвования святой руке. Нечего говорить, что деньги щедро жертвовались всеми присутствующими, образовавшими такую толпу, какой никогда прежде не случалось видеть; и были даже такие женщины, которые в порыве неистового благочестия срывали с себя жемчуг, серебро и другие драгоценности и подносили их святому евангелисту. Весь этот день простояли мощи открытыми; когда же брату показалось, что пора уже вернуться с добычей домой, он осторожно кивнул товарищам, и те, проворно завернув все в один узел вместе с ларцем, в котором находилась рука, отправились гурьбой в монастырь. Монаху, сопричетному к святым, оказаны были великие почести: весь народ, с архиепископом во главе, проводил его домой, после чего совершившееся чудо было надлежащим образом засвидетельствовано.

На другой день, видя, что погода благоприятна для плавания и что выручка недурна, брат Джироламо вместе с братом Мариано и другими товарищами сели на привезшее их судно. Совершив плавание при попутном ветре, они через несколько дней прибыли в Калабрию. Прибегая так к различным новым надувательствам, плотно понабили они деньгами свои карманы и, исходив вдоль и поперек всю Италию и сделавшись благодаря чудотворной руке богачами, возвратились в Сполето, где почувствовали себя в полной безопасности. После этого брат Джироламо с помощью одного синьора кардинала купил себе епископство, что, согласно их новым взглядам, не было симонией¹, а только вознаграждением за труды. И здесь, бездельничая вместе с братом Мариано, проводили они весело время до конца своей жизни.

¹ Симония — покупка и продажа церковных должностей.



Поджо Браччолини

*

О священнике, который похоронил собачку

Был в Тоскане деревенский священник, очень богатый. Когда у него умерла любимая собачка, он похоронил ее на кладбище. Об этом услышал епископ и, покушаясь на деньги священника, вызвал его к себе, чтобы наказать его, как если бы он совершил большое преступление.

Священник, который хорошо знал характер своего епископа, отправился к нему, захватив с собою пятьдесят золотых дукатов. Епископ сурово упрекал его за то, что он похоронил собаку, и приказал вести его в тюрьму. Но хитрый священник сказал епископу:

— Отец, если бы вы знали, какая умная была моя собачка, вы бы не удивились, что она заслужила погребение среди людей. Ибо она обладала умом более чем человеческим, как при жизни, так и в момент смерти.

— Что это значит? — спросил епископ.

— Под конец жизни, — сказал священник, — она составила завешание и, зная вашу нужду, отказала вам, согласно этому завещанию, пятьдесят золотых дукатов. Я их привез с собою.

Тогда епископ, одоблив и завешание и погребение, принял деньги и отпустил священника.



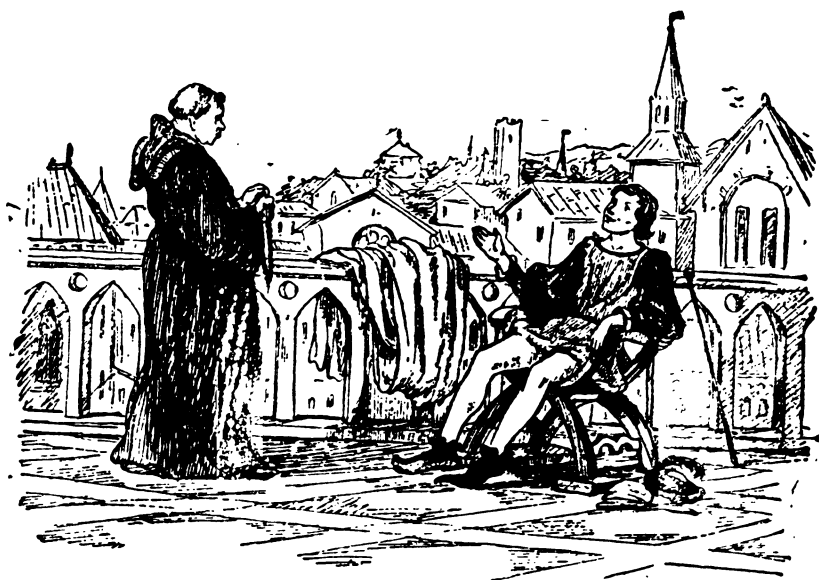
Поджо Браччоллини

★

**О священнике, который во время проповеди ошибся
в числах**

А вот случай с другим священником. Он объяснял народу евангелие и, рассказывая, как наш спаситель накормил пятью хлебами пять тысяч человек, оговорился и сказал не «пять тысяч», а «пятьсот». Его причетник тихо заметил ему, что он ошибся в числе и что евангелие говорит о пяти тысячах.

— Молчи, дурак! — зашипел на него священник. — Хорошо будет, если они поверят и тому числу, которое я сказал.



Поджо Браччолини

*

Что угоднее богу — слово или дело?

Один остроумный человек, мой знакомый, спросил у монаха, что угоднее богу — слово или дело. Монах ответил, что дело.

— Значит, — заметил тот, — больше заслуги перед богом у того, кто делает четки, чем у того, кто их перебирает, творя молитву.



Анатоль Франс

«Вознесение Тафи» — глава из рассказа «Веселый Буффальмакко» знаменитого французского писателя А. Франса (1844—1924). Рассказ написан в стиле рассказчиков эпохи Возрождения, А. Франс неизменно выступал противником всякой религии и всяческих суеверий, разоблачая в своих крупнейших произведениях («Современная история», «Остров Пингвинов» и др.) реакционную роль католической церкви, тесно связанной с политической реакцией во Франции

ВОЗНЕСЕНИЕ ТАФИ

Флорентинец Андреа Тафи, на которого пал выбор украсить мозаикой купол церкви Сан-Джованни, в совершенстве проводил эту большую работу. Все фигуры выполнялись им в греческой манере, с которой Тафи ознакомился во время своего пребывания в Венеции, наблюдая работу по украшению стен собора Святого Марка.

Он даже привез оттуда во Флоренцию некоего грека Аполлониуса, знавшего много весьма ценных секретных приемов по части мозаичной живописи. Этот Аполлониус был человеком умелым и большим искусником. Ему были известны размеры, которые следует придавать различным частям человеческого тела, а также и материалы, которыми следует пользоваться для получения наилучшего раствора цемента.

Опасаясь, как бы этот грек не передал своих знаний и умения кому-нибудь из других городских живописцев, Андреа Тафи не покидал его ни днем, ни ночью. Он каждое утро отводил его в церковь Сан-Джованни и каждый вечер приводил его обратно в свой собственный дом возле церкви Сан-Микеле, где устраивал его на ночь, укладывая спать вместе со своими учениками Бруно и Буффальмакко в комнате, отделенной только легкой перегородкой от комнаты, которую он сам занимал. И так как перегородка не доходила по крайней мере на полфута до потолочных балок, то в каждой из комнат было слышно все, что говорилось в соседней.

Тафи был человеком набожным и хорошего поведения. Он отнюдь не походил на тех живописцев, которые по выходе из церкви, в которой они только что изображали занятого сотворением мира господ бога или Иисуса на руках у своей счастливой матери, тут же отправляются в дома разврата играть в кости, горланить песни и пить вино.

...Андреа Тафи был целомудрен, вел трезвый образ жизни и отличался сдержанностью в речах.

Он аккуратно читал свои молитвы и, улегшись в постель, никогда не засыпал, предварительно не обратившись к святой деве со следующими словами:

— Дева пречистая, мать господ бога нашего, по заслугам твоим вознесенная живою на небо, простри ко мне свои милостивые длани, дабы поднять меня до святого рая, где ты сама восседаешь в золоченом кресле.

И свою молитву Тафи отнюдь не бормотал сквозь оставшиеся у него зубы, но произносил ее твердым и громким голосом, правильно полагая, что тон, как говорится, делает музыку и что надо погромче кричать, если хочешь, чтобы тебя услышали. И молитва мастера Андреа Тафи в самом деле доходила каждый вечер до

слуха грека Аполлониуса и двух молодых флорентинцев, спавших в соседней комнате. По милости судьбы Аполлониус был человеком шутливого нрава, совершенно похожим в этом отношении на Бруно и на Буффальмакко. И всем троем ужасно хотелось проделать что-нибудь с мастером, выдававшим себя человеком справедливым и богобоязненным, но крайне скупым и грубым в обращении. Поэтому-то, прослушав однажды ночью обычную молитву, обращенную старцем к святой деве Марии, все три товарища залились смехом под своими одеялами, предаваясь всяческому насмешкам. И едва раздался храп старика, как они принялись шепотом вопрошать друг друга, какую бы шутку над ним разыграть.

Зная о великом страхе, который старик питал к дьяволу, Аполлониус предложил одеться во все красное, нацепить рога и маски и, отправившись в комнату старика, вытащить его за ноги из постели. Но добряк Буффальмакко предложил следующее:

— Постараемся завтра раздобыть хорошую веревку и блок, и я обещаю вам доставить в ближайшую ночь весьма приятное развлечение.

Аполлониус и Бруно любопытствовали узнать, на что нужны эти блок и веревка, но Буффальмакко не захотел этого рассказывать. Однако они все же пообещали непременно достать ему то, что он просил. Ибо они знали, что никто на свете не обладает таким веселым характером и более плодовитым на всякие забавные выдумки умом, за что и получил он свое прозвище Буффальмакко. И в самом деле, он знал множество хороших шуток, о которых впоследствии сложилось немало рассказов. Не имея более причины бодрствовать, все три друга погрузились в сон, озаряемые глядящей в узкое окошко луной, направлявшей острие своих рожек в сторону старого Тафи.

Их сон был прерван только на рассвете, когда мастер грубо застучал кулаком в перегородку и, как всегда кашляя и отплевываясь, крикнул:

— Вставай, мастер Аполлониус! Вставайте и вы, подмастерья! Светает. Феб¹ загасил небесные свечи! Скорее же! Времени мало, а работы много.

¹ Феб — прозвище Аполлона, древнегреческого бога солнца и небесных светил.

И тут же стал грозить обоим ученикам, что разбудит их ведром холодной воды.

...Говоря это, он натягивал свои штаны и старую хламиду, после чего вышел из своей комнаты, застав на площадке лестницы уже совершенно одетых трех товарищей с рабочими инструментами в руках.

В это утро в прекрасном храме Сан-Джованни, на возведенных до самого карниза лесах, сразу же закипела работа. Мастер уже с неделю всячески старался придать достаточно наглядности крещению Христа, соблюдая при этом все правила, предписываемые искусством. Теперь он приступил к размещению рыб в водах Иордана. Аполлониус готовил цементный раствор с примесью горной смолы и рубленой соломы, произнося при этом ему одному известные слова, Бруно и Буффальмакко подбирали необходимые камни, а Тафи располагал их, сверяясь с моделью, начерченной на грифельной доске, которую он держал перед собой.

Воспользовавшись моментом, когда мастер особенно углубился в эту работу, трое товарищей проворно спустились с лестницы и вышли из церкви. Бруно отправился за город, чтобы в доме у Каландрино достать блок, служивший там для подъема хлеба на чердак. Аполлониус тем временем сбегал в Риполи, к пожилой супруге некоего судьи, которой он обещал приворотное зелье, и так как он уверил эту женщину, что пенька совершенно ему необходима для составления зелья, она отвязала хорошую колодезную веревку и отдала ему.

После этого оба друга отправились в дом Тафи, где застали Буффальмакко, который тотчас же взялся за прикрепление блока к капитальной потолочной балке, проходившей над перегородкой, отделявшей комнату мастера от комнаты его подмастерьев. Затем, пропустив через блок колодезную веревку матроны, он оставил один из ее концов в своей комнате и, перейдя в комнату Тафи, привязал другой конец к четырем углам его кровати. Он заботливо упрятал веревку в полог кровати, так чтобы нельзя было ничего заметить. Когда все это было совершено, трое друзей возвратились обратно в церковь Сан-Джованни.

Мастер, в горячке работы едва обративший внимание на их отсутствие, весьма радостно сказал им:

— Взгляните, как эти рыбы сверкают самыми различными красками и особенно золотом, пурпуром и лазурью, что и подобает породе чудовищ, населяющих океан и большие реки, и блеск которых только потому так чудесен, что они, как разъясняет нам мифология, первыми поступили под власть богини Венеры.

Так разглагольствовал мастер речью, приятной и выказывавшей немалую ученость, ибо он был человеком знающим и умным, хотя мрачного и крутого нрава, в особенности когда мысли его устремлялись к наживе.

Он сказал еще следующее:

— Разве не прекрасно и не достойно хвалы положение живописца, благодаря которому на этом свете достигаешь богатства, а на том свете — блаженства? Ибо нет никакого сомнения, что господь наш Иисус Христос с благодарностью примет в своем пресвятом раю работников, написавших, подобно мне, его истинное изображение.

Тафи радовался, что подходит к концу той большой мозаичной работы, некоторые части которой сохранились и по настоящее время. И, когда ночь, спустившаяся в церковь, сгладила в ней все очертания и краски, он с сожалением расстался с многоводным Иорданом и вернулся к себе домой. Он поужинал на кухне двумя томатами и кусочком сыра, поднялся к себе в комнату, разделся, не зажигая свечи, и лег в постель.

Вытянувшись на постели, он тотчас же обратился к пресвятой деве со своей обычной молитвой:

— Пресвятая дева, мать господа бога нашего, по заслугам твоим вознесенная живою на небо, простри ко мне свои милостивые длани, дабы поднять меня до святого рая.

Именно этого мгновения ожидали в соседней комнате три товарища.

Они ухватились за пеньковый конец, свешивавшийся с блока по перегородке, и едва успел старичок закончить свою молитву, как они, по знаку Буффальмакко, с такой силой потянули за веревку, что привязанная к ней кровать начала подниматься кверху. Чувствуя подъем, но не понимая его причины, мастер Андреа вообразил, что пресвятая дева, выполняя его желание, возносит его на небо. Он сильно перепугался и принялся кричать с дрожью в голосе:

— Пойдите, пойдите, сударыня! Я вовсе не просил, чтобы это совершилось сейчас же!

И так как кровать, влекомая скользившей по блоку веревкой, продолжала подниматься, старик принялся жалобно умолять деву Марию:

— Голубушка моя, да не тяните же вы так! Эй, эй, пустите, пустите, говорю вам!

Но пречистая, по-видимому, не слышала его, отчего он весьма рассердился и закричал:

— Вы, должно быть, оглохли, или голова у вас, что ли, деревянная! Пустите же, *Sorgsa Madonna!*

Видя, что пол не на шутку удаляется от него, он проникся еще большим страхом и обратил свои мольбы к Иисусу, умоляя его образумить свою святую мать. Пора же ей наконец отказаться, говорил он, от этого злосчастного вознесения. Не может же он, будучи грешником и сыном грешника, вознестись на небо ранее, чем приведет в полный порядок и многоводный Иордан, и его волны, и рыб, и все остальное из истории нашего господа бога.

Между тем полог кровати уже почти касался потолочных балок. И Тафи кричал:

— Иисусе, если ты сейчас же не остановишь свою святую мать, то крыша этого дома, обошедшегося мне так дорого, будет наверняка пробита. Ибо яснее ясного, что я пролечу сквозь нее. Стойте! Стойте! Я уже слышу, как трещит черепица...

Буффальмакко почувствовал, что голос мастера вот-вот окончательно оборвется. Он приказал своим товарищам выпустить из рук веревку, что и было ими исполнено и от чего пролетевшая сверху донизу кровать с великим треском ударилась об пол, с переломанными ножками и разъехавшимися досками: от силы удара колонки ее обрушились, и весь балдахин с пологом и занавесками повалился на мастера Андреа, вывшего под ним не хуже самого черта, боясь задохнуться.

Ошеломленный резким толчком, он никак не мог уяснить себе, упал ли он в свою комнату или ввергнут в преисподнюю.

Тогда трое подмастерьев подбежали к нему, как будто только что разбуженные шумом. Увидя развалины кровати среди густо поднимавшейся пыли, они разыграли великое изумление и, вместо того чтобы тут же

оказать помощь мастеру, принялись его расспрашивать, не дьявол ли виновник всего этого разрушения. Но он только вздыхал:

— Сил моих нет, вытащите меня отсюда, умираю!

Они наконец извлекли его из-под обломков, под которыми он уже совсем был готов отдать богу душу, и усадили его на пол, прислонив спиной к стене.

Он долго вздыхал, кашлял и оглядывался, после чего сказал:

— Дети мои, без помощи господ нашего Иисуса Христа, спихнувшего меня на землю с тою исключительной силой, результат которой у вас перед глазами, я и сейчас пребывал бы в небесных высотах, известных под названием кристалльных и первозданных. Его святая мать была глуха ко всем доводам. В падении своем я потерял три зуба, правда не совсем целых, но еще служивших мне. Кроме того, я чувствую невыносимую боль в правом боку и в руке, предназначенной для держания кисти.

— Мастер, — сказал Аполлониус, — у вас, надо думать, несколько внутренних весьма серьезных ранений. Я имел случай наблюдать в Константинополе во время тамошних восстаний, что внутренние раны гораздо опаснее наружных. Но будьте спокойны, я заговорю их магическими словами.

— Ни в коем случае! — ответил старик. — Это было бы большим грехом. Но подойдите ко мне все трое и окажите мне, пожалуйста, услугу, растерев мое тело в тех местах, где я чувствую особенно сильную боль.

Они исполнили его просьбу и покинули его не ранее, чем стерли ему кожу на спине и боках.

Добрые ребята тотчас же отправились разносить всю эту историю по городу. Вследствие этого уже на завтра не было во Флоренции ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, которые, встретившись с мастером Андреа Тафи, не разразились бы смехом прямо ему в лицо. Как-то раз утром, когда Буффальмакко проходил по Корсо, его подозвал к себе, приостановив свою лошадь, мессер Гвидо, сын сеньора Кавальканти, направлявшийся в болота охотиться на журавлей, и, бросив ему свой кошелек, сказал:

— Вот тебе, любезный Буффальмакко, на выпивку за здоровье Эпикура и его последователей.

Следует пояснить, что мессер Гвидо принадлежал к секте эпикурейцев и старательно подбирал всякие доказательства, опровергающие существование бога. Он любил говорить, что человеческая смерть во всем подобна смерти животных.

— Буффальмакко, — продолжал молодой сеньор, — я дал тебе этот кошелек в виде платы за прекрасный, богатый и полезный опыт, который ты произвел путем отправки на небо старого Тафи, раскричавшегося громче прирезанного поросенка, едва он заметил, что его брэнная оболочка прямехонько отправляется в эмпиреи. Из этого я заключаю, что он не был вполне уверен в обещанных ему небесных радостях, в самом деле внушающих мало доверия. Болтовня о бессмертии смертных распространена между нами, как те сказки, что няньки рассказывают детям. Простой народ полагает, что верит в эти рассказы, но вера его в них — не настоящая вера. Удары действительности быстро рассеивают вымыслы поэтов. Не вызывает сомнения только здешняя печальная жизнь...



Ромен Роллан

Отрывок о брэвском кюре¹ взят из известного произведения французского писателя Р. Роллана (1866—1944) «Кола Брюньон» (1914).

Герой повести — человек из народа, резчик по дереву и художник времен позднего французского Возрождения. Кола Брюньон — воплощение жизненных сил, жизнерадостности, веселья и творческих способностей, живущих в народе. Он не верит ни в бога, ни в черта, побеждает своим смехом даже самую чуму и смеется над всякими суевериями. Р. Роллан создал образ народного героя, характерного для эпохи Возрождения. Естественно, что Кола Брюньон с насмешкой относится к своему другу священнику Шамаю и к молебнам, которыми суеверные крестьяне хотят изгнать с полей и огородов жуков, гусениц и других врагов их посевов.

¹ Кюре (франц.) — священник.

БРЭВСКИЙ КЮРЕ

Как только дороги очистились от непрошенных гостей, я решил сходить, не откладывая, проведать моего Шамая в его деревне. Не то чтобы я очень за него беспокоился. Этот молодец за себя постоять умеет! Но, как-никак, на душе спокойнее, когда увидишь воочию далекого друга... И потом, необходимо было размять ноги.

Вот я и собрался, никому ничего не говоря, и шел себе, посвистывая, берегом реки, выющейся вдоль лесистых холмов. На свежие листочки падали кружочки благословенного дождичка, весенних слез, который то перестанет, то опять забарабанит. Влюбленная белка мяукала в ветвях. Гуси тараторили на лугах. Дрозды заливались вовсю, а синичка-невеличка разговаривала: «ти-ти-тю...»

Дорогой я решил остановиться, чтобы прихватить с собой в Дорнеси другого моего приятеля — нотариуса, мэтра Пайара: подобно Грациям¹, мы бываем в полном составе только втроем. Я его застал в конторе заносащим в книги погоду сего дня, сны, ему приснившиеся, и взгляды свои на политику...

При виде меня милейший Пайар просиял; и весь дом, сверху донизу, огласился нашим смехом. Мне всякий раз радуется очи этот человек, пузатенький, с рябым лицом, толстощекий, красноносый, с морщинками вокруг живых и хитрых глаз, с видом хмурым, вечно брюзжащий на погоду, на людскую породу, но, в сущности, великий весельчак и зубоскал и еще больший затейник, чем я сам. Для него истинное удовольствие отпустить вам со строгим видом чудовищную загогулину. И любо на него смотреть, когда он величественно восседает за столом с бутылкой, вызывая к Кому и Мому и затягивая песенку. Радуюсь мне, он держал меня за руку своими толстыми и неуклюжими руками, но шустрыми, как и он сам, дьявольски ловко умеющими управляться со всякого рода инструментами, пилить, тесать, переплетать, столярничать. Он все в доме смастерил сам; и все это некрасиво, но все — его работа; и, красиво или нет, это его портрет.

¹ Грации — три богини красоты в древней Греции.

Чтобы не утратить привычки, он пожаловался на то на се, а я из противоречия похвалил и се и то. Он — доктор Всехул, а я — Всехвал; таковы наши роли...

Мы долго спорили о чуде, о кроваво-пламенном мече, который в прошлую среду ночью явился людям воочию. И каждый из нас толковал знамение на свой лад; разумеется, каждый настаивал с пеной у рта, что на его стороне правота. Но в конце концов обнаружилось с обеих сторон, что ничего не видели ни я, ни он. Ибо как раз в этот вечер мой астролог за своим инструментом вздремнул часок. Когда видишь, что не ты один в дураках, примиряешься со своей участью. Мы примирились с ней весело.

И мы двинулись в путь, твердо решив скрыть этот случай от нашего кюре. Мы шли полями, рассматривая молодые побеги, розовые веточки кустов, птиц, вивших себе гнезда, и ястреба над равниной, кружившего в небе колесом. Мы вспоминали, смеясь, какую славную шутку мы как-то сыграли с Шамаем. Несколько месяцев кряду мы с Пайаром из кожи лезли вон, обучая дрозда в клетке гугенотскому песнопению. Затем пустили его в сад к господину кюре. Пообжившись там, он сделался наставником прочих дроздов в деревне. И Шамай, которому их хорал не давал покою, когда он читал свой молитвенник, крестился, чурался, думал, что дьявол к нему в сад забрался, заклинал его и в ярости своей, притаясь за ставнем, подстреливал Нечистого. Впрочем, он не так уж от этого страдал. Потому что, убив дьявола, он его съедал.

Беседуя, мы наконец пришли.

Брэв, казалось, спал. Дома вдоль улицы зевали, разинув двери под солнышком пригожим, в глаза прохожим. Единственным человеческим лицом был, над канавой, зад мальчишки, который прохлаждался, спустив штанишки. Но по мере того как мы с Пайаром, взявшись под руку и разговаривая, подходили все ближе к середине местечка, шагая по дороге, усеянной соломой и коровьим пометом, до нас все громче доносилось словно гудение рассерженных пчел. И, когда мы вышли на церковную площадь, она оказалась запруженной людьми, которые размахивали руками, шумели и голосили. Посередине, у калитки своего сада, Шамай, красный от

злости, орал, грозя прихожанам кулаками. Мы старались понять, в чем дело, но слышали только гул голосов:

— Гусеницы, жуки, полевые мыши... Господи, услыши...

А Шамай кричал:

— Нет! Нет! Я не пойду!

А толпа:

— Разрази тебя гром! Поп ты наш или нет? Отвечай: да или нет? Если ты наш поп — а ты поп, — то ты нам и служишь.

А Шамай:

— Бродяги! Я служу богу, а не вам...

Галдеж стоял изрядный. Шамай, чтобы покончить с ним, захлопнул калитку перед их носом у своего сада; сквозь прутья еще раз мелькнули его руки, из которых одна, по привычке, елеинно окропляла народ дождем благословения, а другая воздымала над землей гром проклятия. Напоследок в окне дома показались его круглый живот и четырехугольное лицо. Не в силах перекричать орущих, он яростно состроил им в ответ длинный нос. Затем ставни захлопнулись, и дом принял непроницаемый вид. Крикуны утомились; площадь опустела; и мы, обогнув поредевших зевак, могли наконец постучать в дверь Шамаю.

Стучали мы долго. Упрямый скот не желал отворять.

— Эй! Господин кюре!

Сколько мы ни зывали (измененным голосом, чтобы позабавиться):

— Мэтр Шамай, вы дома?

— К черту! Нет меня дома.

И так как мы упорствовали:

— Проваливайте вон! Если вы не уберетесь с моего порога, я вас, собачью ораву, окрещу на славу.

Он чуть не вылил на нас свой горшок. Мы крикнули:

— Шамай, ты бы хоть вином!

При этих словах, словно чудом, гроза утихла. Алая, как солнце, свесилась обрадованная физиономия Шамаю:

— Святые угодники! Брюньон, Пайар, это вы? А я-то чуть не наделал делов! Ах вы, шутники проклятые! Чего же вы не сказали?

И он, как лавина, скатывается по лестнице.

— Входите! Входите! Будьте благословенны! Дайте-ка я вас расцелую!.. Милые мои, до чего же я рад видеть человеческое лицо после всех этих обезьян! Видели вы, что они тут выплясывали? Пусть себе пляшут сколько им угодно, а я с места не двинусь. Идемте наверх, выпьем. Вам небось жарко. Требовать, чтобы я пошел со святыми дарами! Скоро дождь: мы бы с господом богом вымокли до ниточки. Или мы у них на жалование? Или я поденщик? Обращаться со служителем божьим, как с батраком! Дармоеды! Я поставлен блюсти их души, а не их поля.

— Послушай, — спросили мы, — о чем это ты? На кого это ты так взъелся?

— Идем, идем наверх, — сказал он, — там нам будет удобнее. Но прежде всего необходимо выпить. Я не могу, я задыхаюсь!.. Как вы находите это вино? Ей-ей, оно не из самых плохих. Верите ли, друзья мои, что этим скотам угодно, чтобы я каждый день, начиная с пасхи и до самого вознесения, служил молебствия... Почему бы не от крещения до Нового года?.. И это ради жуков!

— Жуков? — сказали мы. — Вот ты так действительно будто муху убил. Ты заговариваешься, Шамай.

— Я не заговариваюсь! — воскликнул он возмущенно. — Нет, знаете, это уж слишком! Я должен терпеть все их безумства, и я же и безумен!

— Тогда объяснись, как человек здравомыслящий.

— Вам легко говорить! — отвечал он, яростно отирая лицо. — Я должен оставаться спокоен, когда нас тормозат, меня и господа бога, господа бога и меня, весь божий день, чтобы мы потакали их ерундовым выдумкам!.. Буде вам известно (ух, я задохнусь, положительно!), что эти язычники, которые в грош не ставят вечное спасение и не омывают ни душ своих, ни ног, требуют от своего кюре, чтобы он добывал им и дождь и ведро. Я должен приказывать Солнцу, Луне: «Чутьочку тепла, водички; хватит, достаточно; чутьочку солнышка, да чтоб было мягкое, подернутое, легкий ветерок, главное — без морозов, еще поливочку, господи, для моего винограда; стой, хватит мочиться! А теперь изволь подогреть!..» Послушать этих лодырей, так господу богу остается уподобиться под бичом молитвы рабочему ослу,

который ходит по кругу и накачивает воду. Вдобавок (это лучше всего!) они и промеж себя не согласны: одному нужен дождь, другому — солнце. И вот они скликают святых на подмогу. Их там тридцать семь, поливающих. Во главе выступает с копьём в руке Медард — святитель, великий мочитель. На той стороне их только двое: святой Раймунд и святой Деодат, чтобы разгонять тучи. Но спешат на выручку святой Власий-ветрогон, Христофор-градоборец, Валериан-грозоглот, Аврелиан-громорез, святой Клар-солнцедар. В небе раздор. Все эти важные особы идут на кулачки. Святые Сусанна, Елена и Схоластика рвут друг друга в клочки. Не знает и сам господь бог, какой бы святой тут помог. А если бог не знает, то откуда знать кюре? Бедный кюре!.. В конце концов, я в стороне от битвы. Я здесь на то, чтобы передавать молитвы. А кто Авель, кто Каин, решает хозяин. Поэтому я ничего бы не стал говорить (хотя, между нами, это идолопоклонство мне претит... Иисусе милостивый, или ты напрасно умирал?), если бы эти бродяги меня-то хоть не вмешивали в небесные передряги. Но они прямо с ума сошли, они желают пользоваться мною и святым крестом, как талисманом, против всего, что им грозит изъязном. То это крысы, которые у них пожирают хлеб в амбарах. Крестный ход, заклинания, молитвы святому Никасию. Морозный декабрьский день, снегу по пояс: я схватил прострел... То это гусеницы. Молитвы святой Гертруде, крестный ход. На дворе март: град, талый снег, мерзлый дождь; я охрип, кашляю по сей день... Сегодня — жуки. Опять крестный ход! Я должен обходить их сады (свинцовый солнцепек, тучи пузатые и сизые, будет гроза, в самый раз схватить воспаление легких) и должен распевать «Ibi ceciderunt делающие беззаконие, atque изринуты sunt и не возмогут stare...»¹ Ведь изринут-то буду я!.. «Ibi cecidit»² Шамай Батист, по прозвищу «Сладостный» кюре... Нет, нет, нет, покорнейше благодарю! Мне спешить некуда. Самая веселая шутка и та приедается. Мое ли дело, скажите пожалуйста, морить им гусениц? Если жуки им мешают, пусть они обезжучиваются сами, бездельники этикие! Береженного бог бережет. Было бы

¹ Псалом 36: «Тамо падоша вси делающии беззаконие, изринувени быша и не возмогут стати». (Примеч. переводчика.)

² «Тамо паде».

очень просто сложить руки и говорить кюре: «Исполни то, исполни это!» Я исполняю волю божью и мою: я пью. Я пью. Пейте и вы... А они, если им угодно, пусть осаждают мой дом! Мои друзья, мне все равно, пусть будет твердо решено, что они раньше ко мне повернутся тылом, чем я своим тылом в этом кресле. Давайте пить вино!

...Когда мы сдвинули стаканы в честь веселого французского разума, который смеется над всякой крайностью («Мудрец садится посередине»... почему нередко садится наземь), громкое хлопанье дверей, тяжелые шаги по лестнице, призывание Иисуса и всех святых и бурные подавленные вздохи возвестили нам пришествие Элоизы Кюре — так звали домоправительницу, — «Кюрихи» тож. Пыхтя и утирая широкое лицо краем передника, она возгласила:

— Ох! Ох! Помогите, господин кюре!

— В чем дело, дуреха? — сердито спросил тот.

— Идут! Идут! Это они!

— Кто это? Эти гусеницы, которые расхаживают по полям крестным ходом? Я тебе сказал, не говори мне об этих язычниках, моих прихожанах!

— Они вам грозят!

— Мне наплевать. Чем бы это? Жалобой в духовный суд? Пожалуйста! Я готов.

— Ах, господин, если бы только жалобой!

— А чем же тогда? Говори!

— Они там собрались у долговязого Пика и творят, что называется, каббалистические знаки и заклинания и поют: «Собирайтесь, мыши и жуки, со всех полей собирайтесь и объедать подвал и сад к Шамаю отправляйтесь!»

При этих словах Шамай вскочил:

— О проклятые! В мой сад — их жуки! И в мой подвал... Они меня режут! И надо же придумать! О господа, Симеон-угодник, помогите вашему кюре!

Напрасно старались мы его успокоить, напрасно смеялись.

— Смейтесь, смейтесь! — кричал он на нас. — Будь вы на моем месте, господа мудрые, вы бы поменьше смеялись. Еще бы! Я бы и сам смеялся, сиди я в вашей шкуре: это не штука! А посмотрел бы я на вас, как бы вы отнеслись к такому известию, готовя корм, питье и

кров для этих жильцов!.. Жуки! Гадость какая... И мыши!.. Я не желаю! Да ведь здесь хоть голову себе разmozжи!

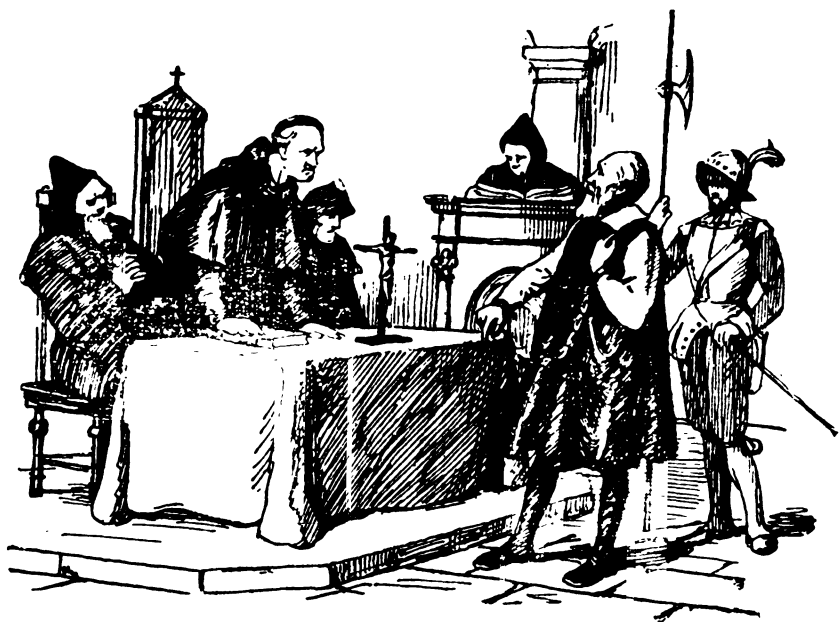
— Полно, чего ты? — сказал я ему. — Ведь ты же кюре? Чего ты боишься? Разговори их заговор! Ведь ты же в двадцать раз больше знаешь, чем твои прихожане! Ведь ты посильнее их будешь!

— Какое там! Ничего я не знаю. Долговязый Пик — малый дошлый. Ах, друзья мои, друзья мои! Ну и новость! Вот разбойники!.. А я-то был так спокоен, так уверен! Ах, ни на что на свете нельзя полагаться! Один бог велик. Что я могу поделывать? Я попался! Я в их руках... Элоиза, милая, ступай, беги, скажи им, чтоб перестали! Я иду, я иду, ничего не напишешь! Ах, мерзавцы! Ну уж, когда придет мой черед, у их смертного ложа... А пока (да будет воля...) приходится мне плясать по их дудке!.. Что ж, остается выпить чашу. Я ее выпью. И не такие пивал!..

Он встал. Мы спросили:

— Ты это куда же, в конце концов?

— В крестовый поход, — буркнул он, — на жуков,



Г. В. Добржинский

Эпоха Возрождения была эпохой крупных географических и естественно-научных открытий. Раздвигалось представление человечества о мире, о Земле, о Вселенной. Большие открытия были сделаны в астрономии. Великий польский ученый Николай Коперник доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, что Земля есть лишь одно из небесных тел. Открытие Коперника было в непримиримом противоречии с догматами церкви. Сочинение Коперника было запрещено, и все разделявшие его учение подвергались преследованиям. Итальянский философ Джордано Бруно, создавший учение о бесконечности Вселенной, подчиненной законам природы, а не воле бога, был сожжен на костре в 1600 году. Вслед за ним великий итальянский ученый Галилео Галилей (1564—1642) дал новую картину Вселенной, основанную на научном наблюдении. Старый ученый был схвачен инквизицией. Под страхом пыток его заставили отречься от своего учения.

Церковь пыталась казнями, кострами, чудовищными пытками повернуть вспять развитие человеческой мысли. Но люди постепенно овладевали тайнами природы. Человечество сбрасывало с себя путы религии и шло к научному, материалистическому познанию мира. Авторитет церкви падал, несмотря на все жестокости инквизиции.

В таких героях науки, как Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, воплотилось торжество человеческого разума и над силами природы и над черными силами церкви.

В романе советского писателя Г. В. Добржинского «Слуга дьявола», откуда взят отрывок, описана трагическая жизнь Галилея и пытки инквизиции.

УЧЕНЫЙ ДИСПУТ

21 июня 1633 года ранним утром в здание тосканского посольства вошли несколько замаскированных. Двое из них были в черных сутанах, четверо в синих мундирах папской гвардии и один в кожаной одежде палача. Стуча сапогами и громко переговариваясь, они поднялись по мраморной лестнице.

— Где здесь находится узник Галилей? — спросил один из них встретившегося слугу.

Тот лишь в ужасе тарашил глаза и судорожно глотал воздух. Подданные папской Италии слишком хорошо знали этих ранних непрошенных гостей.

Сеньора Анжелика выглянула полуодетая из спальни, стремительно захлопнула дверь и принялась тормошить сладко посапывавшего мужа.

— Франческо, да проснись же! Они пришли за нашим сеньором Галилео. Они ведут его убивать! — заламывала она руки.

Никколини вскочил и начал торопливо натягивать мундир.

— Не может быть... — растерянно бормотал он. — Его святейшество только вчера соизволил сказать...

А Галилея уже уводили вниз. На его немощные руки были наложены цепи, а на голову брошен черный капюшон, такой глубокий, что закрывал лицо до самого подбородка.

Галилея усадили в глухую карету с желтым крестом на дверцах. Свистнул бич, колеса загромыхали по камням. Остановка. Длинный путь по какому-то зданию.

Галилей подчинялся всему. Он знал, как святая инквизиция обставляет свое судилище, и был спокоен. Эта мрачная прелюдия наконец-то приведет его к желанному допросу.

Кто-то сдернул капюшон. Резкий красный свет почти ослепил Галилея. Галилей побледнел: «Что это? Уже?»

Но это были лишь языки трех огромных восковых свечей возле стола, покрытого огненно-красным сукном. За столом, в креслах с золотыми крестами наверху, сидели три духовных лица в черных мантиях.

Четвертый стоял направо, за высокой черной кафедрой. Это был главный фискал инквизиции, на обязанности которого лежало обвинять подозреваемого. Галилей встречал его и прежде и сразу узнал это лицо, мясистое и крупное, с нависшими бровями и полуопущенными тяжелыми веками. Фискал даже не взглянул на Галилея и равнодушно смотрел в толстую книгу, лежавшую перед ним на кафедре.

Галилей знал, что в святом судилище не полагается ни свидетелей, ни защитников. Обвиняемый бесправен. Его участь часто решается в закрытом заседании, даже без вызова в суд. В лучшем случае, он сам должен отстаивать свою невиновность. А если он тупоумен, слаб на язык или по невежеству плохо разбирается в бесчисленных канонах и уложениях, тем хуже для него. Сам перст божий указывает судьям виновность такого человека.

Галилей выпрямился и перевел дух. Ведь он-то не из тех, кто не сумеет постоять за себя. Недаром же он славился как блестящий, остроумный оратор и на ученых диспутах почти всегда выходил победителем. Только бы дали ему говорить.

Галилей стал пристальнее вглядываться в лица инквизиторов, скрытые полусумраком комнаты и густой тенью низко спущенных капюшонов. Те, что сидели по бокам, были ему незнакомы, но инквизитор в середине... Галилей облегченно вздохнул: «Да, конечно, это монсиньор Джинетти, великий магистр иезуитов». Сколько раз он так любезно и подробно беседовал с ним в Ватикане о разных системах мироздания... Галилей вспомнил, как Джинетти охотно соглашался с его доводами в пользу Коперника и подсмеивался над промахами птолемейцев. Лучшего судьи нельзя было и требовать.

— Во имя отца и сына и святого духа... — торжественно начал Джинетти.

— Амен! — отозвались инквизиторы по бокам.

— Ты стоишь перед судилищем бога всевышнего в лице его святой инквизиции, — провозгласил Джинетти, обращаясь к Галилею. — Ведомо ли это тебе?

— Да, — ответил Галилей.

— Преклони же колена! — грозно проговорил Джинетти, поднимая крест, сверкавший золотом на пурпуре стола.

Галилей опустился на колени. От слабости он уперся руками в пол, и цепи его глухо звякнули о каменные плиты.

— Веруешь ли ты в триединого бога, пречистую деву и всех святых по догмам и канонам святой римской католической церкви?

— Верую, — ответил Галилей.

— Признаешь ли святейшего папу преемником апостола Петра и наместником господя нашего Иисуса на земле?

— Признаю.

Это были обычные вводные фразы в суде инквизиции.

— Служишь ли ты истинной вере Христовой?

Это тоже был обычный вопрос. Но Галилей не знал, как на него ответить.

Если бы он сказал «да», то признал бы этим механику и астрономию делом Христовым. Это могло бы навлечь на него нападки судей. А если бы ответил отрицательно, то тем самым признался бы в делах против веры и служении дьяволу, то есть в самой страшной ереси.

По губам Джинетти скользнула усмешка. Несколько мгновений он с наслаждением смотрел на смутившегося Галилея. Затем кивнул головой.

— Встань. Поднимите его, — приказал он двум стражникам, стоявшим по бокам Галилея, заметив, как тому трудно подняться с закованными руками. — Как твое имя? — спросил Джинетти.

Галилей поднял на него недоумевающие глаза:

— Монсиньор Джинетти... Ты же знаешь, что меня...

— Как твое имя? — резко повторил инквизитор.

— Отвечай, если спрашивают, — ткнул один из стражников в бок Галилея.

Он уже не первый день служил святому делу инквизиции и хорошо изучил обращение с подсудимыми.

Галилей даже не взглянул на него. Сердце его сжалось...

«Будь покорен во всем», — пронесли в его мозгу слова Никколини.

— Меня зовут Галилео Галилей де Галилео, — упавшим голосом проговорил Галилей.

— Твое звание?

— Сеньор. Первый философ и математик при дворе тосканского герцога.

— Ты был им, — мрачно отозвался Джинетти, — ныне же ты еретик Галилео, позорное имя которого развеется по ветру вместе с пеплом уготованного тебе костра.

Галилей не испугался. Это еще не приговор, допрос только начинался. По описаниям уже прежних судов инквизиции Галилей знал, что запугивание — один из излюбленных приемов судей. Таким образом они надеялись скорее вырвать признание обвиняемого или уловить на его лице признаки страха, а следовательно, и вины.

— Сколько тебе лет?

— Шестьдесят восемь.

— И в таком преклонном возрасте, — укоризненно покачав головой, козлиным голосом заговорил инквизитор слева, — когда зев могилы уже раскрыт перед тобою, ты занимался не размышлениями о суете всего мирского, не покаянием, а мерзостной ересью и гнусным служением сатане!

Галилей взглянул на его остренькое лицо с жалостливо моргающими красными веками и реденькой рыжей бородкой. «Каждому свое, — с иронией подумал он. — Один угрожает, а другой воздействует на совесть. Что же будет делать третий?»

Инквизитор справа выглядел очень дряхлым. Он сидел, сложив худые руки на животе, с дремотно опущенными веками, тонкими и синеватыми, как у птицы. Это сходство довершали большой крючковатый нос и жесткие седые волосы, торчавшие словно перья в разные стороны из-под капюшона. Он сонно жевал провалившимся ртом и ни разу не взглянул на обвиняемого.

— Я не занимался ересью, — начал было Галилей, желая воспользоваться удобной минутой. — В своих трудах я...

Джинетти не дал ему продолжать:

— Чем ты занимался в минувшем и занимаешься теперь, сейчас доложит нам монсиньор фискал.

Джинетти поправился в кресле и приготовился слушать.

Фискал медленно перелистал свою тяжелую книгу и тусклым голосом начал:

— «Ныне предстоящий перед судом господа Галилео Галилей, родившийся в Пизе в 1564 году, сын Винченцо де Галилео, обвиняется в том, что с юношеского возраста по сей день занимался греховным изучением небесных светил, пути коих ведомы одному господу богу. Он же, Галилео, распространял устно и письменно греховное и ложное учение еретика Коперника о несуществующем вращении Земли...»

— Так ли это? — спросил Джинетти, обращаясь к Галилею.

— До запрещения, обнародованного святой церковью, — осторожно ответил Галилей, — я колебался между гипотезой Коперника и учением Птолемея. После же...

— Продолжай! — кивнул Джинетти фискалу.

— «...о чем ревностными христианами, — равнодушно, как автомат, начал снова фискал, — не раз доводилось до сведения святой инквизиции. В 1616 году ныне предстоящий перед судом Галилео, по указу его святейшества от 11 февраля того же года, в присутствии монсиньора Беллармино, генерал-инквизитора Флоренции, выдал под страхом смерти и под клятвой целованием креста господня письменное отречение во всех своих прежних заблуждениях и ереси, с обязательством впредь не распространять учения еретика Коперника ни в письменной, ни в устной форме. Ныне же...»

— Так ли это? — снова перебил Джинетти.

— Нет, — твердо ответил Галилей. — Я не давал подобного отречения, я отрекся лишь от ложного утверждения Коперника о неподвижности Солнца, что и доказал впоследствии моими наблюдениями.

— Значит, — отчеканивая каждое слово, заговорил великий инквизитор, — ты утверждаешь, что оглашенное тебе сейчас отречение, подлинник которого хранится в архиве его святейшества, нашего государя, — подложно, а твоя подпись на нем поддельна? Так? —

И мрачные глаза Джинетти с ожиданием устремились в лицо Галилея.

Инквизитор слева задержал бородку, в свою очередь пронизывая Галилея ехидным взглядом своих красных глаз. Инквизитор справа медленно приподнял тонкие веки, нехотя взглянул на Галилея и опять погрузился в дремоту.

Галилей молчал. Одно утвердительное слово, кивок — и целая гора новых обвинений навалится и задушит его.

В зале судилища наступила напряженная тишина. Только фискал сопел носом, держа палец на нужной строке.

— Читай! — приказал ему Джинетти, откидываясь в кресле.

Фискал сейчас же зашевелил губами:

— «...Ныне же Галилей, вопреки своему отречению, издал книгу под заглавием «Разговор о двух системах мира», в коей всемерно поддерживает и распространяет запрещенное учение Коперника о мнимом движении Земли и порочит священное писание и истинное учение Птолемея...»

— Я не поддерживал и не порочил, — вмешался Галилей, — я лишь справедливо излагал обе гипотезы, стараясь показать...

Тоненький ядовитый смешок прервал объяснения Галилея. Это смеялся инквизитор слева, похлопывая маленькой короткопалой рукой по лежащему перед ним «Разговору». Великий магистр тоже улыбался и укоризненно покачивал головой. Только инквизитор справа был по-прежнему равнодушен, и его обтянутое кожей лицо очень походило на мумию.

Галилей смутился. Он ожидал всего, но не этого. Ему могли угрожать, подвергнуть пытке и даже аутодафе, проклинать и позорить его книгу и его самого, но смеяться, смеяться, еще не выслушав ни одного из его доводов...

— «Разговор о двух системах мира» разделен мною на четыре дня, — с дрожью в голосе начал ученый. — Если мои положения в этой книге кажутся недостаточно убедительными и толкуются ложно, я прошу разрешения добавить еще один или два дня, чтобы показать и окончательно убедить...

Инквизитор слева язвительно прищурил слезящиеся глаза.

— Прекрасный способ! — потирая руки, проговорил он. — Весьма удобный способ! Выпустить обманом еретическую книгу, напечатать хулу на истинную веру и самого господя, влить пламень ереси в мятущиеся умы, а затем, будучи изобличенным и представ перед карающим судом, сделать к оной книге добавления и, так сказать, выйти сухим из воды. Так, пожалуй, Джордано Бруно, Иоганн Гус и другие богоотступники пожелали бы, дабы избежать аутодафе, кое-что объяснить и прибавить.

Инквизитор залился дребезжащим смешком. Внезапно смолк и опять засверлил глазами Галилея:

— А согласен ли ты сейчас же, в нашем присутствии, подписать вторично полный текст того отречения, которое ты дерзко называешь ложным?

Галилей побледнел. Свобода или костер — вот что означал этот вопрос.

Несколько минут он молчал, стараясь унять невольную дрожь в коленях.

Выпрямился, поднял голову и устремил глаза на судей:

— Нет. Я никогда не давал и теперь не могу дать подобного отречения. Я слишком стар, чтобы называть ложью всю мою предыдущую жизнь. Делайте со мной что хотите.

Джиннети переглянулся с инквизитором слева, пожал плечами и что-то быстро записал в лежащем перед ним протоколе. Затем поднялся с кресла и хмуро проговорил:

— Ты не совсем чистосердечно сознаешься в своей вине. Священный трибунал считает необходимым прибегнуть к ригорозум экзамен.

Синеватые веки инквизитора справа быстро приподнялись. Неожиданно живой, яркий и острый взгляд пронизал Галилея.

Старый ученый зашатался.

— Я в ваших руках. Делайте со мной что хотите, — еле слышно повторил он.

— Уведите его! — приказал Джиннети.

Стражники накиннули на Галилея капюшон и поволокли из зала.

— Мудрость да снизойдет на твою седую голову... — раздался за спиной Галилея слащавый голос инквизитора слева.

«Вот и все! — думал Галилей, ощупывая ногами скользкие ступени, круто идущие вниз. — Вот и все! Грубо и просто, как удар топора по темени быка. А я-то, безумец, предполагал, что кому-то еще нужны мои ученые доводы, ссылки и математические вычисления... Вот и кончился мой последний «ученый диспут»!..»

Если бы кто-нибудь приподнял капюшон, он бы с недоумением заметил, что губы Галилея иронически усмеваются. Галилей-философ еще был жив и мужественно подсмеивался над собой перед пыткой.

* * *

Галилея швырнули на скамью и сорвали капюшон. Он осмотрелся.

Большая комната с низким сводчатым потолком скупно озарялась пламенем свечей и рдяным отсветом жаровни, стоявшей недалеко от Галилея. Воздух был полон запаха сырости, гари и еще чего-то... В сумраке виднелись огромные, похожие на маховые колеса, приводные цепи, толстые плахи, обвисшие на ремнях, вертикальные пилы, гигантские клещи. Колебание теней еще увеличивало количество и жуткое впечатление от этих разорванных частей какой-то сложной и страшной машины.

«Зал пыток! — с ужасом подумал Галилей. — Вот где смертоносная гидра инквизиции алчно пожирает свои жертвы!»

— Еретик Галилео, — раздался из угла тихий, незнакомый ему голос, — приготовься, во славу божью, к ригорозум экзамен, дабы дать во время его чистосердечные и добросовестные показания.

Галилей посмотрел туда, откуда раздавался этот голос. Возле аналоя с крестом и евангелием стоял высокий человек в черной мантии, скупко озаренный пламенем трехсвечника. Галилей узнал в нем инквизитора-мумию, упорно молчавшего во время допроса. Но теперь он выглядел иначе. Обтянутое кожей лицо ожило, запавшие глаза горели, волосы топорщились, как перья

разъяренной птицы, а сухие пальцы быстро перебирали четки. На синих губах лежала такая улыбка, как будто святой отец предвкушал какое-то очень лакомое блюдо.

— пытки, коим во славу Христа святая церковь подвергает грешников, весьма различны. Каждому, по слову писания, воздается по делам его. Иным выкалывают глаза, иным надевают раскаленные железные башмаки, вырывают ногти, наиболее же закоренелых в грехах распиливают деревянной пилой, дабы они в мучениях признали свою вину и узрели славу и могущество воли господней.

Инквизитор говорил монотонным голосом плохого лектора, тонкой мертвенно-желтой рукой он все время указывал на соответствующие орудия пытки, а иногда и любовно поглаживал их. И тогда улыбка предвкушения сильнее раздвигала его провалившийся рот. Во всем этом был особый, может быть рассчитанный ужас.

Галилей с отвращением отвернулся от этого хилого палача.

В глаза Галилею бросилась огромная надпись из красных каменьев на серой, заплесневелой стене:

«Восстань, господи, будь судьей в нашем деле и излови для нас лисиц»¹.

В голове пронеслись строки из дантовского «Ада». Надпись на воротах:

Здесь нами входят в скорбный град мучений.

Здесь нами входят к пытке вековой.

Оставь надежду всяк сюда идущий.

Это укрепило мужество Галилея, и он снова взглянул на инквизитора. А тот говорил деловито и равнодушно:

— Сейчас ты увидишь нечто, неизбежно приводящее к раскаянию самых упорных еретиков, подобных тебе. — Инквизитор возвысил скрипучий голос: — Во имя отца и сына и святого духа.

В стене, напротив Галилея, запахнулась железная дверь, и что-то завывало и заскрежетало внутри. Инквизитор взял из шандала толстую свечу, подошел к стене

¹ Действительная, сохранившаяся до нашего времени надпись в одном из залов пыток инквизиции.

и озарил открывшуюся нишу. В ней была чугунная статуя святой девы в два человеческих роста величиной. Голова в тускло позолоченном венце была смиренно опущена, ладони молитвенно сложены. Статуя подпрыгивала и раскачивалась из стороны в сторону.

— Амен! — крикнул инквизитор.

Богородица лязгнула и остановилась. Инквизитор нажал какой-то рычаг на груди пречистой — распахнулась дверца. Инквизитор поместил свечу в чугунное брюхо богородицы. Галилей увидел тонкие длинные гвозди, торчащие со всех сторон. Некоторые блестели, словно только что отточенные; другие были бурые, и на них болтались кусочки чего-то черного.

Галилей почувствовал, как судорожный комок опять подкатывает к горлу, но уже не мог оторвать расширенных ужасом глаз от этого чудовища...

Чувство глубокого омерзения душило его.

— Теперь ты увидишь эту кару на другом нечестивце, а затем во славу божью и на самом себе.

Инквизитор хлопнул в ладоши. Вошли два человека в кожаных одеждах, волоча за собою толстую старуху в желтом санбенито¹ и высоком колпаке с намалеванными дьяволами. Седые растрепанные космы выбивались из-под этого колпака, студенистые глаза были дико вытаращены, отвисшие губы шевелились, как будто старуха торопливо и жадно прожевывала что-то.

Галилей с нарастающим отвращением и ужасом заметил, как узкий бледный язык святого отца лакомо лизнул запавшие губы.

— Джулия Ранетти, — уже торопливо говорил инквизитор, — из Генуи. В ее логовище найден договор. С подлинной печатью Вельзевула². По ночам дьявол обращает ее в свинью³.

При последних словах инквизитора старуха внезапно рванулась с такой силой, что отшвырнула от себя обоих

¹ Санбенито — одеяние в виде мешка. Осужденные за ересь шли в нем на публичное сожжение.

² Вельзевул — дьявол.

³ Историки этой эпохи говорят, что от ужаса перед судилищами инквизиции жители целых селений сходили с ума и воображали себя оборотнями, упырями и проч. Этому психозу особенно были подвержены женщины.

палачей. Инквизитор отпрянул назад и схватился за рукоять кинжала, висевшего рядом с крестом на его поясе. Старуха упала на четвереньки и, уткнув голову в пол, начала хрюкать.

— Во имя пречистой девы начнем! — жадно наклоняясь вперед, крикнул инквизитор.

Старуха продолжала тыкаться в пол, как будто желая взрыть носом каменные плиты.

«Да ведь это безумная!» — хотел было сказать Галилей, но ужас и сознание бессилия сковали ему язык.

Палачи подхватили старуху под мышки и поволокли к богородице. Джулия не сопротивлялась. Как только ее поставили на ноги, она сейчас же зажевала свою бессмысленную жвачку.

Дверца захлопнулась. Палач повернул рукоятку — раздался тихий звон пружинных засовов.

— Во имя отца и сына и святого духа...

Богородица подпрыгнула и закачалась. Дикий человеческий вой слился с лязгом и скрежетом машины. Венец святой девы стал пламенно-золотым.

Потянуло едким чадом горелой ткани и мяса. Вой и лязг усилились.

Богородица подскакивала, качалась, как пьяная, отплясывала дикий танец святой инквизиции.

Зловещее шарканье вплелось в хаос этих звуков. Цепенея от ужаса, Галилей оглянулся. Дряхлый инквизитор подскакивал и покачивался в одном ритме с пречистой девой. Его мертвенное лицо было искажено гримасой сладострастия, глаза выкатились из орбит, а на провалившихся губах клубилась пенистая слюна.

Галилей вскочил и без чувств рухнул на пол.

— Амен! Амен! — взвизгнул чей-то неистовый голос.

В зал ворвался инквизитор с козлиной бородкой. Он подскочил к своему собрату и бешено дернул его за рукав мантии:

— Монсиньор де Кремона, опомнись во имя Христа! Черный недуг снова отягощает тебя!

Дряхлый инквизитор перестал подскакивать и опустил руки. Глаза его погасли, а землистое лицо приняло прежнее мертвое выражение.

— Прости, фра Макколани, — вяло пролепетал он. — Дьяволы, наполняющие этих еретиков, вступают в борьбу и со мною...

Макколани нагнулся над Галилеем и приложил ухо к его груди.

— Его святейшество не желает смерти этого заблудшего старика, — властным тоном проговорил он. — Галилей так слаб, что его более нельзя подвергать ригорозум экзамен. Отнесите его в покои монсиньора фискала и уложите в постель, — приказал он суетившимся около остывающей богородицы палачам. — Эту пададь вы успеете убрать и после.



Шарль де Костер

В замечательной книге бельгийского писателя Ш. де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1868), откуда взяты эти отрывки, описаны события нидерландской буржуазной революции XVI века и национально-освободительной войны Нидерландов против испанской монархии Филиппа II. Большое место в романе занимает разоблачение кровавой роли католической церкви, с ее инквизицией, которая пыталась сломить сопротивление народа Нидерландов бесчисленными казнями, сожжениями на кострах, чудовищными пытками. Имущество казненных делили церковь и король. Описывая героическую смерть угольщика Клааса и героическую борьбу его сына Тиле, Ш. де Костер показал мужество и стойкость народа Нидерландов, сопротивлявшегося испанской королевской и церковной реакции.

Книга Ш. де Костера, воспевающая любовь к родной земле и любовь к свободе, мужество и стойкость, говорит о радости жизни, о ее полноте и прелесть. В этом она воинствующе противопоставлена религии, церкви, всевозможным суевериям и мракобесию, столь сильным во времена, описанные в книге, и не исчезнувшим в XIX веке, когда жил Ш. де Костер.

ПРОДАЖА ИНДУЛЬГЕНЦИЙ¹

Два монаха прибыли в Дамме продавать индульгенции. Поверх их монашеских одеяний были надеты кружевные рубахи.

В хорошую погоду они торговали на паперти собора, в дождевую — в притворе, где была прибита табличка с расценкой грехов. Они продавали отпущение грехов за шесть лиаров, за патар, за пол парижского ливра, за семь, за двенадцать флоринов, за дукат на сто, двести, триста, четыреста лет, а равно, смотря по цене, также полное загробное блаженство или половину его и разрешение самых страшных преступлений, включая вождение к пресвятой деве. Но это стоило целых семнадцать флоринов.

Уплатившим сполна покупателям они вручали кусочки пергамента, на которых указано было число оплаченных лет. Внизу можно было прочесть следующую надпись:

Коль не хочешь, чтоб тысячу лет
В чистилище тебя припекали,
А потом в аду, на вечном огне,
Печь, варить и поджаривать стали, —
Купи индульгенцию!

Грехов отпущенье,
Милость божью и прощенье,
По сходной цене продаем.
Помни о спасенье своем!

И покупатели стекались за десять миль отовсюду.

Один из монахов часто читал народу проповеди. У него была цветущая рожа, тройной подбородок и порядочное брюшко, нимало не смущавшее его.

— Нечестивец! — говорил он, вперяя взор в кого-либо из своих слушателей. — Нечестивец! Взгляни — вот ты в адском огне! Жестокое жжет тебя пламя. Тебя кипятят в котле кипящего масла, в котором жарят пироги Астарты. Ты — колбаса на сковороде Люцифера², ты огузок в кастрюле Гильгерота, великого дьявола; и на мелкие кусочки для того ты изрублен. Взгляни на этого великого грешника, не подумавшего об отпущении гре-

¹ Индульгенции — грамоты об отпущении грехов, выдававшиеся папой и продававшиеся за деньги.

² Люцифер — одно из имен сатаны.

хов, взгляни на эту кастрюлю рубленого мяса; это он, это он, это его безбожное тело, это его проклятое тело так разделано. А приправа к нему? Приправа — сера, деготь и смола! А все несчастные грешники будут вечно пожираемы, но так, чтобы непрестанно вновь воскресать к новым мучениям. Вот где льются неподдельные слезы, вот где подлинно скрежещут зубы! Господи помилуй, господи помилуй! Да, вижу, вижу тебя в аду, бедный грешник, вижу твои мучения! Один лишь грош, уплаченный за тебя, — и уже легче твоей правой руке; еще полушка — обе твои руки освободились из пламени. А остальное тело? Флорин всего — и низверглось на тебя благодатной росой отпущение грехов. О сладостная прохлада! И так — десять дней, сто дней, тысяча лет, смотря по взносу: ты уже не рубленое мясо, не жаркое, не оладья, кипящая в масле. И если не для тебя это, грешник, то разве мало в сокращенных глубинах этого пламени других страждущих душ: твоих родных, твоей любимой жены, какой-нибудь милой красотишки, с которой ты так сладостно грешил?

При этих словах монах толкнул в бок своего товарища, стоявшего подле него с серебряным блюдом. Тот опустил глаза и благоговейно потряс блюдом, призывая к жертвованиям.

— И разве, — продолжал монах, — разве в этом страшном пламени нет у тебя сына, дочери, любимого ребенка? Они кричат, плачут, они зывают к тебе! Неужто ты глух к этим жалостным стенаниям? Нет, невозможно. Твое ледяное сердце тает — и это стоит тебе грош. И посмотри: при звуках этого гроша, падающего на эту жалкую медь (здесь монах вновь потряс своим блюдом), ты видишь вдруг просвет в пламени: одна бедная душа поднялась из жерла вулкана. И вот она на свободе, она на чистом воздухе! Где ее муки? Холодное море перед нею, она бросилась в него, она барахтается в нем, плавает на спине, переворачивается на волнах, ныряет. Слышишь — она издает радостные крики, видишь — она кувыркается в воде. Ангелы глядят на нее и ликуют. Они ждут ее, но она не может оторваться от своего наслаждения. Ей хотелось бы стать рыбой! Она не знает, что там, наверху, ее ждут прохладительные водоемы, полные душистой, сладостной, нежной влаги, в которой, точно холодные льдины,

плавают громадные горы из белого леденца. Вот подплыла акула, но душа не боится ее, она садится чудовищу на спину, и оно не чувствует этого. Она ныряет с ним в глубь морскую, она приветствует морских ангелов, которые едят waterzoeu¹ из коралловых чаш и свежих устриц на перламутровых тарелках. И как встречают ее здесь, каким уходом, приветом и вниманием она окружена! Ангелы сверху все зовут ее с небес. И вот наконец, возрожденная, блаженная, она воздымается в небеса, звеня жаворонком, взлетает туда, ввысь, где во всем великолепии восседает на престоле господь бог. Там находит она всех своих земных родных и друзей, кроме тех, которые не купили своевременно индульгенции, презрели отпущение грехов, даруемое святой нашей матерью — католической церковью, — и жарятся в недрах адовых. И так вечно, впредь во веки веков в огне непреходящих страданий. А прощенная душа — та в чертогах господних наслаждается благоуханной влагой и сладостью леденца.

Покупайте индульгенции, братья, есть на всякие цены: за крузат, за червонец, за английский соверен. Принимаем и мелкие деньги. Покупайте! Покупайте! Здесь священная торговля: здесь есть товары для всякого — для бедного и богатого. Но в долг, братья, к великому горю, мы давать не можем, ибо покупать прощение и не платить за него наличными — преступление в глазах создателя.

Монах, собиравший деньги, молча потрясал блюдом.

Флорины, крузаты, патары, дукатоны, денье и су сыпались в него градом.

Клаас, считая себя богачом, уплатил флорин, получив за него отпущение на десять тысяч лет. В подтверждение монахи выдали ему кусок пергамента.

Вскоре они увидели, что не купивших себе индульгенции осталось в Дамме всего несколько закоренелых скупцов. Тогда оба перебрались в Гейст.

¹ Рыбное блюдо,



Шарль де Костер

СМЕРТЬ КЛААСА

Инквизиторы и теологи вторично предстали перед императором Карлом и заявили ему: церковь гибнет, значение ее падает; а он, одержавший столько славных побед, обязан ими католической церкви.

Чтобы искоренить в Нидерландах Лютерову ересь, один испанский архиепископ потребовал, чтобы император отрубил шесть тысяч голов и сжег шесть тысяч тел. Но его величеству Карлу эта мера показалась ничтожной.

Куда ни приходил бедный Уленшпигель, везде он наткался на ужасные картины. Он видел головы, наде-тые на шесты. Он видел, как девушек живыми зашивали в мешки и бросали в реку, мужчин раздевали до-нага, распинали на колесе и избивали железными пал-ками; женщин бросали в ямы, слегка засыпали землей, и палачи плясали над ними, раздавливая их груди. За тех, кто отрекся от своих убеждений, духовник получал по двенадцати су. В Лувене Уленшпигель видел, как

палачи сожгли сразу тридцать лютеран. Костер был зажжен посредством пороха. В Лимбурге видел он целую семью, которая с пением взошла на костер, и только один старик закричал, когда пламя охватило его.

С болью и ужасом брел Уленшпигель по этой несчастной земле.

...День клонился к закату. Уленшпигель спешил: ему скорее хотелось быть дома. Ему мерещились Неле за шитьем; Сооткин, готовящая ужин; Клаас, связывающий вязанки хвороста; Титус, урчащий над костью.

Повстречался разносчик.

— Куда спешишь? — спросил его встречный.

— В Дамме, домой, — ответил Уленшпигель.

— В Дамме беспокойно, — заметил пешеход. — Там хватают реформатов.

Дойдя до трактира «Красный щит», Уленшпигель зашел подкрепиться кружкой пива.

— Не сын ли ты Клааса? — спросил трактирщик.

— Да.

— Спешి домой. С твоим отцом случилось несчастье.

Уленшпигель хотел расспросить трактирщика подробнее, но тот не пожелал отвечать, и Уленшпигель побежал домой. Он вбежал в город. Собаки бросились на него, лая и хватая за ноги. Женщины выбежали на шум и, узнав его, перебивая друг друга, забросали вопросами:

— Откуда ты? Знаешь ли, что случилось с отцом? Где твоя мать? Она тоже в тюрьме? Ох, хоть бы его не сожгли на костре!

Уленшпигель быстро побежал к дому. Его встретила Неле:

— Тиль, не ходи домой! Там от имени его величества стража устроила засаду.

Уленшпигель остановился и спросил:

— Неле, это правда? Отец мой Клаас в тюрьме?

— Да, правда. А Сооткин сидит у дверей тюрьмы и рыдает.

Уленшпигель бросился к тюрьме, около дверей которой сидела Сооткин. С горьким рыданием обняла она сына.

Около тюрьмы начал собираться народ. Вышли стражники и приказали Уленшпигелю и Сооткин

убраться отсюда подальше. Мать с сыном пошли к дому Неле, соседнему с их домом.

Опасаясь народных волнений, начальство вызвало из Брюгге отряд ландскнехтов. Жители Дамме очень любили Клааса, и во время суда и расправы над Клаасом могло произойти сильное волнение. Один из ландскнехтов охранял сейчас дом Клааса. Он уселся на крылечке и тянул потихоньку из фляжки водку. Высосав до дна, он швырнул фляжку в сторону, вытащил палаш и, развлекаясь, стал ковырять им мостовую.

Наутро в день казни соседи из сострадания заперли Уленшпигеля, Сооткин и Неле в доме Катлины.

Но они не предугадали, что издали будут слышны вопли страдальца и в окна будет видно пламя костра.

Катлина бродила по городу, качала головой и приговаривала:

— Просверлите дыру! Душа рвется наружу!

В девять часов утра Клааса вывели из тюрьмы со связанными назади руками. Согласно приговору, костер был устроен прямо против входа в ратушу. Палач с помощником еще укладывали дрова на костер.

Окруженный стражей, Клаас терпеливо ждал, пока они кончат свою работу.

Профос, верхом на коне, судебная охрана и десять вызванных из Брюгге ландскнехтов с трудом удерживали волнующуюся и негодующую толпу.

Народ кричал:

— Нельзя так зверски, несправедливо убивать на старости лет такого кроткого, доброго и честного труженика!

И, когда с колокольной собора богоматери раздался первый удар погребального звона, все упали на колени.

Катлина стояла в толпе, в первом ряду, и, совершенно обезумевшая, смотрела на Клааса и на костер.

— Огонь, огонь! Просверлите дыру! — кричала она, качая головой.

Слыша колокольный звон, Сооткин и Неле крестились, но Уленшпигель не стал молиться: он объявил, что он больше не будет поклоняться господа, подобно этим палачам. Он метался по дому, пытаясь взломать двери или выскочить из окна, но все было крепко заперто.

Вдруг Сооткин вскрикнула и закрыла лицо передником:

— Дым!

Несчастливые увидели в окно большое черное облако дыма, вздымавшееся к небу. Дым поднимался от костра, на котором стоял Клаас, привязанный к столбу. Палач во имя бога отца и бога духа святого поджег костер с трех сторон.

Клаас осмотрелся вокруг. Он не увидел в толпе ни Уленшпигеля, ни Сооткин, и, радуясь, что они не увидят его страданий, облегченно вздохнул.

Слышно было только, как трещит дерево, как ропщут мужчины и всхлипывают женщины, да еще раздавалось причитание Катлины:

— Потушите огонь, душа рвется на свободу!

Погребальный звон разносился по городу.

Вдруг Сооткин смертельно побледнела и без слов, дрожа как в лихорадке, показала на небо. Длинный, острый язык пламени вырвался из костра, подымаясь выше крыш низеньких домов.

В эту минуту Клаас страдал невыносимо. Огненный язык по прихоти ветерка то обвивался вокруг его ног, то лизал его лицо, то поджигал волосы на голове.

Уленшпигель старался оторвать мать от окна. Мать и сын слышали душераздирающий крик — это кричал бедный Клаас. Тело его горело только с одной стороны.

До Сооткин и Уленшпигеля донесся громкий крик толпы; это кричали граждане, женщины и дети:

— Клааса присудили к сожжению на быстром огне, а не на медленном! Палач, раздувай скорей огонь!

Несмотря на старания палача, огонь не разгорался.

— Задуши его! — кричала толпа, бросая в профоса камнями.

— Пламя, страшное пламя! — вскрикнула Сооткин. Длинные красные языки поднимались к небу.

— Он умирает! — стонала вдова. — Где король? Короля! Своими руками я вырву его сердце из груди!

Погребальный звон гудел по городу.

Сооткин еще раз услышала ужасный крик Клааса, но она не видела, как в страшных муках извивалось его тело, как искажалось его лицо, как билась его голова, ударяясь о столб.

Возмущенный народ кричал, свистал; женщины и дети бросали камни. Вдруг костер ярко вспыхнул, и из дыма и пламени раздался голос Клааса:

— Сооткин! Тиль! — И голова Клааса, точно налитая свинцом, тяжело упала на грудь.

В ответ на призыв из домика Катлины донесся жалобный пронзительный женский крик.

Все смолкло. Клаас умер. Угли костра, тлея, рассыпались у подножия столба. Привязанное к столбу за шею тело Клааса обуглилось и скорчилось...

Погребальный звон мрачной вестью разносился по городу.

Сооткин, невыносимо страдая, неподвижно стояла у стены. Без слез, в молчаливом отчаянии, прижимала она Уленшпигеля к груди своей.

Уленшпигель молчал. Холодея от ужаса, он чувствовал, как лихорадочно горит тело его матери.

Вернулись с казни соседи и рассказали, что муки Клааса кончились.

— Он отошел в лучший мир, — тихо прошептала Сооткин.

— Помолись, — сказала Неле, протягивая Уленшпигелю четки.

Но он отверг их, не желая брать в руки то, что освящено папой.

Спустилась ночь.

— Мать, приляг на постель, — ласково просил Уленшпигель, — я буду сидеть подле тебя.

— Ты молод, тебе нужен сон.

Неле постелила им обоим в кухне и ушла.

Они остались вдвоем. В печи тлели дрова.

Сооткин легла, прилег и Уленшпигель, но он слышал, как плачет мать, укрывшись одеялом.

На дворе в ночном мраке бушевал ветер — предвестник осени. Под его напором, точно морские волны, глухо шумели деревья, и порывы вихря бросали в окно кучи песка и пыли.

Сооткин и Уленшпигель не могли уснуть. Мать поднялась с постели и подошла к сыну.

Вдруг сильный порыв ветра распахнул дверь, вихрь влетел в комнату, и до них донеслось зловещее карканье ворон.

Сооткин и Уленшпигель вышли из домика и пошли к костру.

Ночь была мрачная. Облака, гонимые порывистым северным ветром, неслись по небу, как стадо быстро-

ногих оленей. И только на мгновение сквозь мрачные тучи проглядывала яркая звездочка.

Вокруг костра расхаживал стражник. Уленшпигель и Сооткин слышали четкие удары его сапог по затвердевшей земле и перекличку воронов, издали спешивших на пиршество.

Когда Уленшпигель и Сооткин подошли к костру, ворон опустился на плечо Клааса, и они услышали стук его клюва о кости трупа.

Уленшпигель кинулся на костер, отгоняя воронов, но стражник остановил его:

— Эй, колдун, ты хочешь иметь руку казненного? Ты разве забыл: руки сожженного не могут сделать тебя невидимкой — невидимкой делают только руки повешенного!

— Я не колдун, — ответил Уленшпигель, — я осиротевший сын этого прикованного к столбу мученика, а эта женщина — его вдова. Мы хотим поцеловать его истерзанное, измученное лицо и взять на память частицу дорогого праха. Не гоните нас. Вы не чужестранный наемник, а сын этой страны.

— Пусть будет по-твоему, — ответил стражник.

Сирота и вдова, ступая по обугленным поленьям, подошли к трупу и, горько рыдая, поцеловали Клааса. Пламя выжгло Клаасу сердце, и пепел его собрал сын и взял себе. Бледная заря рассвета показалась на небе, а мать и сын не могли отойти от костра, но стражник, боясь поплатиться за свою доброту, прогнал их.

Придя домой, Сооткин сшила из черного и красного шелка мешочек, всыпала в него пепел и, прикрепив две ленточки, надела Уленшпигелю на шею:

— Этот пепел — сердце твоего отца. Красный цвет — кровь его, черный — печаль наша. Клянись вечно носить его на груди, и он, как огонь, будет жечь тебя и призывать отомстить палачам твоего отца.

— Я буду мстить, — сказал Уленшпигель.



Проспер Мери́ме

«Варфоломеевская ночь» — отрывок из романа французского писателя П. Мери́ме (1803—1870) «Хроника времен Карла IX», изданного в 1829 году.

Роман описывает Францию XVI века, эпоху так называемых религиозных войн между католиками и гугенотами (французскими протестантами). В центре романа — события Варфоломеевской ночи 24 августа (праздник святого Варфоломея) 1572 года, когда дворяне-гугеноты, съехавшиеся в Париж на свадьбу вождя гугенотской партии Генриха Бурбона и сестры короля Маргариты, были перебиты по приказу короля и католической партии Гизов. В эту ночь в Париже погибло несколько тысяч гугенотов и множество их было убито в провинции. Варфоломеевская ночь (название это стало нарицательным для обозначения кровавой резни) — один из ярких эпизодов из той серии кровавых преступлений, которыми на протяжении веков полна история католицизма.

Однако борьба между католиками и гугенотами во Франции XVI века была лишь религиозной формой, за которой скрывалось весьма сложное переплетение классовых и социальных сил. В первой половине века в гугенотском движении участвовала французская буржуазия (главным образом юга), а отчасти и плебейские массы. В годы, описанные Мери́ме, дворянская оппозиция королевской вла-

сти из разных соображений использовала гугенотскую партию и ее организацию. Междоусобная религиозная война носила во Франции характер, чуждый народным массам. Вот почему во времена Варфоломеевской ночи народные массы, не принимая непосредственного участия в религиозных войнах, стали враждебно относиться к гугенотам, видя в них защитников дворянских интересов. Волна народных восстаний, прокатившаяся по Франции в конце XVI века, уже не носила религиозного характера: народ понял, кто его классовый враг, независимо от того, является ли он гугенотом или католиком.

Роман Мериме проникнут отвращением к кровавым преступлениям католицизма. Но он далек от идеализации дворян-гугенотов. И это — сильная сторона романа. Когда капитан Жорж де Мержи умирает, сраженный случайной пулей брата, он отказывается и от священника-протестанта и от монаха-католика, предпочитая перед смертью кубок крепкого вина. Мериме отдает ему свои симпатии.

И хотя атеист Мериме не показал роли народных масс в эпоху религиозных войн, но роман его проникнут резко критическим отношением ко всяким формам религиозного фанатизма.

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Вечером 24 августа отряд легкой кавалерии входил в Париж через Сент-Антуанские ворота. По сапогам и платью всадников, сплошь покрытым пылью, видно было, что они только что совершили длинный переход. Последние лучи умирающего дня освещали загорелые лица солдат; на этих лицах можно было прочесть смутное беспокойство, которое овладевает человеком при приближении какого-нибудь события, еще неведомого, но вызывающего зловещие предчувствия.

Отряд шагом направился к большому пустырю, простиравшемуся около прежнего Турнельского дворца. Там капитан приказал остановиться; затем послал дюжину людей под начальством корнета на разведку и сам расставил при входе в соседние улицы караулы, которым был дан приказ зажечь фитили, словно перед лицом неприятеля. Приняв эти необычные меры предосторожности, он вернулся и встал перед фронтом отряда.

— Сержант! — произнес он более жестко и повелительно, чем обычно.

Старый кавалерист, в шляпе с золотым галуном и с вышитой перевязью, почтительно приблизился к начальнику.

— Все ли всадники у нас снабжены фитилями?

— Так точно, капитан.

— Есть ли порох в пороховницах? Достаточно ли пуль?

— Так точно, капитан.

— Хорошо!

Он пустил шагом свою кобылу вдоль фронта своего маленького отряда. Сержант следовал за ним на расстоянии одной лошади. Он заметил, что капитан не в духе, и не смел приблизиться к нему. Наконец он набрался храбрости:

— Капитан, разрешите кавалеристам дать корм лошадям. Как вам известно, они с утра ничего не ели.

— Нет.

— Пригоршню овса. Это всего лишь одна минута.

— Чтоб ни одна лошадь не была разнуздана.

— Ведь сегодня ночью нам предстоит работа... как говорят, и это, может быть...

Офицер сделал нетерпеливое движение.

— Вернитесь на свой пост, — ответил он сухо и двинулся дальше.

Сержант вернулся в ряды солдат.

— Ну как, сержант, правда? В чем дело? Что сказал капитан?

Сразу десятка два вопросов были заданы ему старыми солдатами, которые благодаря своим заслугам и долгой совместной службе с сержантом могли позволить себе по отношению к нему такую фамильярность.

— Ну, будет дело! — сказал сержант тоном человека, который знает больше, чем говорит.

— Как? Что?

— Не разнуздывать ни на миг... потому что, как знать, с минуты на минуту мы можем понадобиться.

— Ага! Разве собираются драться? — спросил трубач. — А с кем будем драться, хотелось бы мне знать?

— С кем? — повторил вопрос сержант, чтобы дать себе время подумать. — Черт возьми, хорош вопрос! С кем же, по-твоему, драться, как не с врагами короля?

— Так-то так, но кто же эти враги короля? — продолжал упрямый трубач.

— Враги короля? Он не знает, кто враги короля! — И сержант с сожалением пожал плечами.

— Испанцы — враги короля, но они не могут поти-

хоньку сюда явиться: их бы заметили, — вставил один из кавалеристов.

— Пустяки! — начал другой. — Я знаю много врагов короля, которые вовсе не испанцы.

— Бертран прав, — сказал сержант. — Я знаю, кого он имеет в виду.

— Кого же?

— Гугенотов, — ответил Бертран. — Не надо быть колдуном, чтобы догадаться. Всем известно, что веру свою гугеноты взяли из Неметчины, а я хорошо знаю, что немцы — нам враги, потому что частенько стрелял в них из пистолета, особенно при Сен-Кантене, где они дрались как черти.

— Все это прекрасно, — сказал трубач, — но ведь с гугенотами был заключен мир, и, помнится, много шума было по этому случаю.

— Доказательством, что они нам не враги, — сказал молодой кавалерист, одетый лучше, чем другие, — служит то, что во время войны, которую мы собираемся вести во Фландрии, командовать легкой конницей будет граф Ларошфуко; а кому не известно, что он протестант! Дьявол меня побери, если он не кальвинист с головы до пят: шпоры у него *à la Конде*, шляпа у него *à la гугенот*.

— Заешь его чума! — воскликнул сержант. — Ты ничего не понимаешь, Мерлен. Тебя не было еще в полку, когда этот самый Ларошфуко командовал нами во время засады при Ла-Робре в Пуату. Мы все чуть не полегли там. Прековарный малый!

— Это он говорил, — прибавил Бертран, — что отряд рейтаров стоит большего, чем целый эскадрон легкой кавалерии. Я так же верно это знаю, как то, что эта лошадь — пегая. Мне передавал это паж королевы.

Среди слушателей послышались негодующие возгласы, но они сейчас же уступили место любопытству: всем хотелось узнать, против кого направлены военные приготовления и те чрезвычайные меры предосторожности, которые принимались у них на глазах.

— Правда ли, сержант, — спросил трубач, — что вчера пытались убить короля?

— Бьюсь об заклад, что тут замешаны эти... еретики.

— Хозяин гостиницы «Андреевский крест», где мы

вчера завтракали, рассказывал, будто они хотят переделать весь церковный устав.

— Тогда все дни будут скоромными, — весьма философски заметил Мерлен, — кусок вареной солонины вместо чашки бобов. Тут еще нечему огорчаться!

— Да, но, если гугеноты будут у власти, первым делом они расколошматят, как посуду, все отряды легкой кавалерии и на их место поставят своих собак, немецких рейтаров.

— Если так, то я охотно наломал бы им хвосты! Провалиться на этом месте, я остаюсь католиком! Послушайте, Бертран, вы служили у протестантов: правда ли, что адмирал платит конным солдатам только по восьми су?

— Ни гроша больше, старый скряга! Потому-то после первого же похода я и бросил его.

— Здорово сегодня не в духе капитан, — заметил трубач.

— Всегда такой славный малый, с солдатом охотно разговаривает, сегодня рта не раскрыл за всю дорогу.

— Новости его не веселят, — ответил сержант.

— Какие новости?

— Наверное, насчет того, что хотят предпринять гугеноты.

— Гражданская война скоро опять начнется, — сказал Бертран.

— Тем лучше для нас, — сказал Мерлен, всегда смотревший на вещи с хорошей стороны: — можно будет драться, жечь деревни...

— По всем видимостям, они хотят опять начать свое старое Амбуазское дело¹, — произнес сержант, — поэтому нас и вызвали. Мы живо наведем порядок.

В эту минуту вернулся корнет со своим отрядом; он приблизился к капитану и стал ему тихонько докладывать, меж тем как солдаты, которые с ним ездили, смешались со своими товарищами.

— Черт возьми, — сказал один из солдат, ходивших на разведку, — не понять, что делается сегодня в Париже! На улицах мы ни одной кошки не встретили, а вместе с тем Бастилия набита войсками: пики швейцарцев торчат там, все равно как ржаные колосья.

¹ Амбуазское дело — заговор в городе Амбуазе, направленный против вождей католической партии — герцогов Гизов,

— Не больше пяти сотен, — перебил другой.

— Верно то, — продолжал первый, — что гугеноты пытались убить короля и в драке великий герцог де Гиз собственноручно ранил адмирала.

— Так ему и надо, разбойнику! — воскликнул сержант.

— Я сам слышал, — продолжал кавалерист, — как швейцарцы на своем тарабарском языке толкуют, что во Франции слишком долго терпят еретиков.

— Правда, с некоторого времени они задрали нос, — сказал Мерлен.

— Можно подумать, что не мы, а они одержали победу при Жарнаке и Монконтуре, так они чванятся и хорохорятся!

— Они бы не прочь, — вставил трубач, — съесть окорок, а нам оставить кость.

— Пора, пора католикам задать им хорошую трепку!

— Взять хотя бы меня. «Сержант, — сказал бы мне король, — убей мне этих негодяев», — так пусть меня разжалуют, если я заставлю повторить себе это два раза.

— Бель-Роз, Расскажи-ка нам, что делал наш корнет? — спросил Мерлен.

— Он поговорил с каким-то швейцарцем вроде офицера, но я не мог расслышать, что они говорили. Должно быть, что-нибудь интересное, потому что корнет каждую минуту восклицал: «Ах, боже мой! Ах, боже мой!»

— Смотрите-ка, к нам скачут конные — верно, везут приказ.

— Их только двое.

Капитан и корнет отправились навстречу.

Двое всадников быстро приближались к отряду легкой кавалерии. Один из них, богато одетый, в шляпе, покрытой перьями, с зеленой перевязью, ехал на боевом коне. Спутником его был толстый, коротенький, коренастый человек, одетый в черное платье и с большим деревянным распятием в руках.

— Наверняка будет драка, — заметил сержант: — вон и священника послали, чтобы исповедовать раненых.

— Не очень-то приятно драться натошак, — проворчал Мерлен.

Всадники замедлили ход и, подъехав к капитану, без труда остановили своих лошадей.

— Целую руку господину де Мержи, — произнес человек с зеленой перевязью. — Узнает ли он своего покорного слугу Тома де Морвель?

Капитану еще не было известно новое преступление Морвеля, он знал его только как убийцу храброго де Муи. Он ответил крайне сухо:

— Я не знаю никакого господина де Морвель. Я предполагаю, что вы пожаловали сюда, чтоб объяснить нам в конце концов, зачем нас сюда вызвали.

— Дело идет, сударь, о спасении нашего доброго короля и нашей святой веры от опасности, грозящей им.

— Какая же это опасность? — спросил Жорж презрительно.

— Гугеноты, составили заговор против его величества. Но их преступный замысел был вовремя открыт, благодарение богу, и все верные христиане должны соединиться сегодня ночью, чтобы истребить их во время сна...

— Что я слышу? — воскликнул де Мержи, затрепетав от ужаса.

— Горожане вооружены, — продолжал Морвель, — в городе находится французская гвардия и три тысячи швейцарцев. У нас около шестидесяти тысяч человек; в одиннадцать часов будет дан сигнал, и дело начнется.

— Презренный разбойник! Что за гнусную клевету ты изрыгаешь? Король не предписывает убийств... самое большее, он за них платит.

Но при этих словах Жорж вспомнил о странном разговоре, который он имел с королем несколько дней тому назад.

— Не горячитесь, господин капитан; если бы все мои заботы не были отданы на службу короля, я бы ответил на ваши оскорбления. Слушайте: от имени его величества я требую, чтобы вы и ваш отряд последовали за мною. Нам поручены Сент-Антуанский и прилегающие к нему кварталы. Я привез вам подробный список лиц, которых мы должны истребить. Преподобный отец Мальбуш даст вашим солдатам наставление и снабдит их белыми крестами, какие будут у всех католиков, чтобы в темноте нельзя было спутать католика с еретиком.

— Чтобы я дал согласие на убийство спящих людей?..

— Католик вы или нет и признаете ли вы Карла IX своим королем? Известна ли вам подпись маршала де Ретц, которому вы обязаны повиноваться?

Тут он вынул из-за пояса бумагу и передал ее капитану.

Мержи подозвал одного из всадников и при свете соломенного факела, зажженного о фитиль аркебузы, прочел форменный приказ, предписывающий по повелению короля капитану де Мержи оказать вооруженную помощь французской гвардии и отдать себя в распоряжение господина де Морвель для дела, которое объяснит ему вышеуказанный Морвель. К приказу был приложен список имен с таким заголовком: Список еретиков, подлежащих умерщвлению в Сент-Антуанском квартале. При свете факела, горящего в руке солдата, всем кавалеристам было видно, какое глубокое впечатление произвел на их начальника этот приказ, о существовании которого он до тех пор ничего не знал.

— Никогда мои кавалеристы не согласятся сделаться убийцами, — произнес Жорж, бросая бумагу в лицо Морвелю.

— Разговор идет не об убийстве, — холодно заметил священник, — речь идет о еретиках и о справедливом возмездии.

— Ребята! — закричал Морвель, повысив голос и обращаясь к солдатам. — Гугеноты хотят убить короля и истребить католиков, но мы опередим их. Сегодня ночью, пока они спят, мы их всех перебьем; король отдает вам их дома на разграбление.

Крик дикой радости пронесся по всем рядам:

— Да здравствует король! Смерть гугенотам!

— Смирно! — закричал громовым голосом капитан. — Здесь я один имею право отдавать приказания. Дружья, то, что говорит этот подлец, не может быть правдой. И, даже если бы король и отдал такое приказание, никогда мои кавалеристы не согласятся убивать беззащитных людей.

Солдаты молчали.

— Да здравствует король! Смерть гугенотам! — разом закричали Морвель и его спутник.

И солдаты повторили за ними:

— Да здравствует король! Смерть гугенотам!

— Ну, как же, капитан, будете ли вы повиноваться? — произнес Морвель.

— Я больше не капитан! — воскликнул Жорж. И он сорвал с себя нагрудный знак и перевязь — знаки своего чина.

— Хватайте этого изменника! — закричал Морвель, обнажая шпагу. — Убейте этого бунтовщика, который не повинуется своему королю!

Но ни у одного солдата не поднялась рука на своего начальника... Жорж выбил шпагу из рук Морвеля, но вместо того чтобы пронзить его своей, он с такой силой ударил его рукояткой по лицу, что тот свалился с лошади.

— Прощайте, трусы! — сказал он своему отряду. — Я думал, что у меня солдаты, а оказывается, у меня были только убийцы! — Потом обернулся к жорнету: — Вот, Альфонс, если хотите, прекрасный случай сделаться капитаном! Станьте во главе этих бандитов.

С этими словами он пришпорил лошадь и галопом помчался по направлению к внутренней части города. Корнет двинулся было за ним, но вскоре замедлил ход, пустил лошадь шагом, наконец остановился, повернул обратно и возвратился к своему отряду, рассудив, без сомнения, что совет капитана, хотя и данный в минуту гнева, все же не перестает быть хорошим советом.

Морвель, еще не совсем оправившись от полученного удара, снова сел на лошадь, чертыхаясь, а монах, подняв распятие, наставлял солдат не шадить ни одного гугенота и потопить ересь в потоке крови.

Упреки капитана на минуту остановили солдат, но, увидя, что они освободились от его присутствия, и предвкушая знатный грабеж, они взмахнули саблями и поклялись исполнить все, что бы ни приказал им Морвель.

...Покинув свой отряд, капитан Жорж поспешил к себе домой, надеясь найти там брата, но тот уже вышел из дому, сказав прислуге, что уходит на всю ночь. Из этого Жорж без труда сделал заключение, что он находится у графини, и поторопился отыскать его там. Но избиение уже началось; беспорядок, толпы убийц, цепи, протянутые через улицы, останавливали его на каждом шагу. Ему пришлось идти мимо Лувра, где бойня разыг-

ралась с наибольшей яростью. В этом квартале жило большое количество протестантов, и теперь он был запружен горожанами из католиков и гвардейскими солдатами с огнем и мечом в руках. Там-то, по энергичному выражению одного из тогдашних писателей¹, «кровь лилась со всех сторон, ища стока к реке», и нельзя было перейти через улицу, не рискуя в любую минуту быть раздавленным трупам, выбрасываемыми из окон.

Из адской предусмотрительности большинство лодок, стоявших обычно вдоль Лувра, были отведены на другой берег, так что многим из беглецов, что метались по набережной Сены, надеясь сесть в лодку и избегнуть вражеских ударов, оставался выбор между водою и бердышами преследовавших их солдат. А в это время Карл IX, по словам того же писателя, вооружившись длинным мушкетом, подстреливал несчастных, как дичь, из окна своего дворца.

Капитан продолжал свой путь, шагая через трупы, весь забрызганный кровью, на каждом шагу рискуя тем, что какой-нибудь убийца по ошибке уложит и его. Он заметил, что у всех солдат и горожан были белые перевязи на руке и белые кресты на шляпах. Он легко мог бы надеть эти отличительные знаки, но ужас, внушаемый ему убийцами, распространялся даже и на эти условные знаки, по которым они узнавали друг друга.

На берегу реки, около Шатле, он услышал, что его кто-то окликает. Он повернул голову и увидел человека, до зубов вооруженного, но который, по-видимому, не пускал в ход своего оружия, хотя у него и был белый крест на шляпе. Он как ни в чем не бывало вертел в руке какой-то клочок бумаги. Это был Бевиль. Он равнодушно смотрел, как через мост Менье сбрасывали в Сену трупы и живых людей.

— Какого черта ты тут делаешь, Жорж? Чудо или благодать вдохнули в тебя такое похвальное рвение? Вид у тебя такой, словно ты охотишься на гугенотов.

— А сам ты что делаешь среди этих негодяев?

— Я? Черт возьми, я смотрю: ведь это — зрелище! А знаешь, какую я славную штуку устроил? Ты знаешь

¹ Д'Обинье, Всемирная история.

хорошо сгарика Мишеля Корнабона, ростовщика-гугенота, что так меня обобрал?

— Несчастный, ты его убил?

— Я? Фи! Я не вмешиваюсь в дела веры. Я его не только не убил, но спрятал у себя в подвале, а он дал мне расписку в получении всего долга полностью. Так что я совершил доброе дело и получил за него награду. Положим, для того чтобы он дал мне эту расписку, я два раза приставлял ему к голове пистолет, но, черт меня побери, я бы ни за что не выстрелил... Смотри-ка, женщина зацепилась юбками за балку моста... Упадет... нет, не упадет... Черт! Это любопытно, стоит посмотреть поближе!

Жорж ушел от него. Хватаясь за голову, он говорил себе: «И это — один из самых порядочных людей в Париже?!»

Он свернул на улицу Сен-Жосс; она была безлюдна и не освещена — очевидно, среди живущих там не было ни одного реформата. Зато здесь отчетливо слышен был шум, доносившийся с соседних улиц. Вдруг белые стены осветились красным огнем факелов. Он услышал пронзительные крики и увидел какую-то женщину, полуголую, с распущенными волосами и с ребенком на руках. Она мчалась со сверхъестественной быстротой. За нею бежало двое мужчин, подбадривая один другого гиканьем, как будто они охотились за диким зверем. Женщина уже хотела было броситься в какой-то открытый проход, как вдруг один из преследователей выстрелил в нее из аркебузы, которой был вооружен. Выстрел попал ей в спину, и она упала навзничь, но сейчас же поднялась, сделала шаг к Жоржу и снова упала на колени; затем, в последней усилки, подняла своего ребенка и протянула капитану, словно поручая дитя его великодушью. Не произнеся ни слова, она умерла.

— Еще одна еретическая сука издохла! — воскликнул человек, выстреливший из аркебузы. — Я не успокоюсь, пока не уложу их дюжину.

— Подлец! — воскликнул капитан и в упор выстрелил в него из пистолета.

Негодяй стукнулся головой об стену, ужасно выкатил глаза и, скользя всем телом на пятках, словно плохо приставленная доска, скатился и вытянулся на земле мертвый.

— Как? Убивать католиков? — воскликнул товарищ убитого, у которого в одной руке был факел, в другой — окровавленная шпага. — Кто вы такой? Господи боже, да вы же из королевской легкой кавалерии! Черт возьми, виче благородие, вы обознались!

Капитан вынул из-за пояса второй пистолет и взвел курок. Движение это и легкий звук взводимого курка были прекрасно поняты. Погромщик бросил свой факел и пустился бежать со всех ног. Жорж не удостоил его выстрела. Он наклонился, ощупал женщину, лежавшую на земле, и убедился, что она мертва. Пуля прошла на-вылет. Ребенок, обвив ее шею руками, кричал и плакал; он был покрыт кровью, но каким-то чудом не был ранен. Капитан с некоторым усилием оторвал его от матери, за которую тот изо всех сил уцепился, потом закутал в свой плащ. Эта встреча научила его осторожности: он поднял шляпу убитого, снял с нее белый крест и нацепил на свою. Так он добрался, не будучи никем задержан, до дома графини.

...С наступлением дня избиение не только не прекратилось, но, казалось, еще усилилось и упорядочилось. Не было ни одного католика, который из страха быть заподозренным в принадлежности к ереси не надел бы белого креста, не вооружился бы или не стал бы доносить на гугенотов, еще оставшихся в живых. Меж тем к королю, запершемуся у себя во дворце, никого не допускали, кроме главарей убийц. Простой народ, привлеченный надеждой на грабеж, присоединился к гражданской гвардии и солдатам, а проповедники в церквах призывали верующих к удвоенной жестокости.

— Раздавим за один раз, — говорили они, — все головы гидры и навсегда положим конец гражданским войнам.

И, чтобы доказать народу, жадному до крови и чудес, что небеса одобряют его неистовство и желают поощрить его явным знамением, они кричали:

— Идите на кладбище «Избиенных младенцев», взгляните на куст терновника, что зацвел второй раз! Политый еретической кровью, он вновь приобрел молодость и силу!

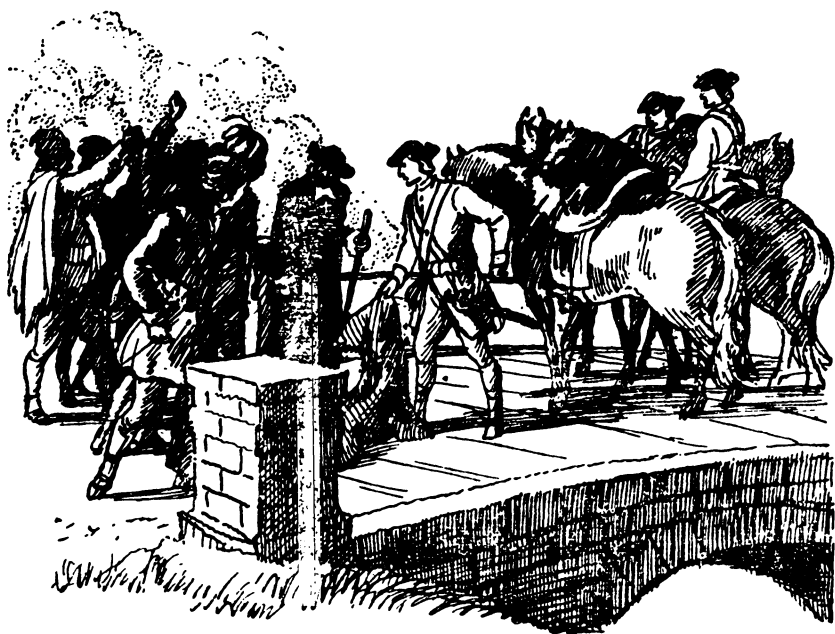
Бесчисленные вереницы вооруженных убийц с большой торжественностью отправлялись на поклонение святому терновнику и, возвращаясь с кладбища, с новым

рвением отыскивали и предавали смерти людей, столь явственно осужденных небесами. У всех на устах было изречение Екатерины Медичи; его повторяли, избивая детей и женщин: «С ними человечно — быть жестоким, жестоко — быть человечным».

Странная вещь: многие из этих протестантов воевали, участвовали в горячих боях, где они пытались, и часто с успехом, уравновесить численное преимущество врагов своею доблестью; а между тем во время этой бойни только двое из них оказали кое-какое сопротивление своим убийцам, и из этих двоих только один бывал прежде на войне. Быть может, привычка сражаться сплоченным строем, по правилам, лишила их той личной энергии, которая могла бы побудить любого протестанта защищаться у себя в доме, как в крепости. Случалось, что старые вояки, как обреченные жертвы, подставляли свое горло негодяям, которые накануне еще трепетали перед ними. Покорность судьбе они принимали за мужество и предпочитали ореол мученичества воинской славе.

Когда первая жажда крови была утолена, наиболее милосердные из убийц предложили своим жертвам купить себе жизнь ценою отречения. Весьма небольшое количество кальвинистов воспользовалось этим предложением и согласилось откупиться от смерти и даже от мучений ложью, может быть в данном случае и простибельной. Женщины, дети твердили свой символ веры среди мечей, занесенных над их головами, и умирали, не проронив ни слова жалобы.

Через два дня король сделал попытку остановить резню; но когда страсти толпы разнузданы, то остановить ее уж невозможно. Убийства не только не прекратились, но даже сам король, обвиненный в нечестивом сострадании, принужден был взять обратно свои слова о милосердии и еще больше усилить свою злобность, составлявшую, кстати сказать, одну из главных черт его характера.



Феликс Гра

В романе французского писателя Ф. Гра «Марсельцы», изданном в 1896—1897 годах, описаны времена французской революции XVIII века, поход марсельских народных батальонов, шедших на север Франции на помощь революционному Парижу.

Приводимый здесь эпизод показывает, как верхи католической церкви предавали революционную Францию и боролись против нее вместе с роялистами, стремясь совместно с иностранными интервентами задуть французскую революцию.

МАРСЕЛЬЦЫ

Три дня и три ночи мы шли без отдыха, утоляя голод хлебом, а жажду — водой из лесных ручьев и придорожных канав. Это была наша единственная пища, а спали мы на ходу...

Не останавливаясь, мы на заре прошли через Лион, миновали Вилльфранш и наконец дошли до моста Святого Жана на реке Ардьер.

Только здесь, на тенистых берегах реки, мы позво-

лили себе немного отдохнуть. Эти часы отдыха пришлись как раз на самое жаркое время дня.

Марсельцы немедленно рассеялись во все стороны. Одни отдыхали под тенистыми ветвями ив, другие плескались в прохладной воде, третьи утоляли голод ломтем хлеба с чесноком, штопали дыры на одежде, чинили башмаки. Я один остался на мосту возле телеги с пушками. Воклер сказал, что скоро через мост должна проехать почтовая карета из Авиньона. Увидеть Лазули и маленького Кларе! Ни за какие блага я не согласился бы покинуть свой пост. Чтобы скоротать время, я уселся на подножку телеги, развязал свой походный мешок, так заботливо сшитый доброй Лазули, и стал вынимать из него один предмет за другим...

Погруженный в свои ребяческие думы, я услышал вдруг шум, заставивший меня вскочить с места. Это был звон не то бубенчиков, не то колокольцев. Очевидно, почтовая карета приближалась. Я стал пристально вглядываться в даль. Дорога была совершенно пустынная, ни признака движения на ней, ни облачка пыли. И тем не менее я отчетливо слышал все приближающийся звон колокольчиков.

Внезапно из-за изгороди цветущего шиповника показалось небольшое стадо овец. За стадом шел старый пастух; несмотря на жару, он с головы до ног был укутан в черный плащ. Увидев меня, пастух опустил голову и надвинул поглубже на лоб свою широкополую шляпу. Он сделал было шаг назад, словно желая незаметно скрыться, но его маленькое стадо уже вышло на дорогу, и старик, оглядевшись вокруг и убедившись, что я один, видимо, успокоился. Он подошел ко мне и спросил, не знаю ли я, где тут паром, на котором можно перебраться через Рону.

— Я не здешний, добрый человек, — ответил я ему.

— Кто ты, мой мальчик? Ты еще слишком молод, чтобы носить костюм национального гвардейца.

— Я патриот-федерат. Я иду в Париж с марсельским батальоном, чтобы свергнуть тирана-короля!

— Что ты говоришь! Опомнись! Свергнуть нашего доброго короля?! Как могла такая кощунственная мысль возникнуть у ребенка! Где марсельский батальон?

— Вот видите, здесь пушки и обоз, на берегу реки отдыхает батальон, а я здесь несу караул!

— Боже праведный! — воскликнул пастух, молитвенно складывая руки на груди. — Кто заманил тебя в эту орду нечестивых?.. Кто соблазнил твою невинную душу? Слушай, дитя мое: ты на плохом пути! Эта дорога приведет тебя прямо в ад! Я сам добрый патриот, послушайся меня, брось своих марсельцев, пойдй со мною. Ты будешь помогать мне пасти овец, а когда мы придем в Альпы, я щедро награжу тебя.

— Мне уйти из батальона? Ни за что! Можете мне сулить самые щедрые награды на свете — я ни на шаг не отойду от товарищей. Да здравствует нация! Свобода или смерть!

— Бедный, бедный мальчик! Кто так затуманил тебе голову? В таком возрасте — думать о смерти! О бедное, заблудшее дитя! Прощай, я спешу. Я прошу тебя лишь об одном: никому не говори о нашей встрече. Да хранит тебя бог!

И пастух быстро удалился со своим стадом.

Удивленный всем происшедшим, я долго еще провожал его глазами.

Затем я вернулся к своим вещам, разложенным на настиле моста. Но мысли о странном пастухе не оставляли меня, и я не получал уже удовольствия ни от примерки красного пояса, ни от чистки пистолетов. Вдруг я услышал конский топот. Он доносился из-за зарослей шиповника, откуда несколькими минутами раньше пришел пастух и его стадо.

Я обернулся и увидел четырех национальных гвардейцев с трехцветными кокардами на треуголках, с саблями наголо и пистолетами в руках. Всадники мчались во весь опор прямо на меня, но в нескольких шагах от моста они резко осадил коней.

— Гражданин патриот, — обратился ко мне один из них, — скажи, не встретил ли ты здесь пастуха со стадом овец?

— Нет, — ответил я не раздумывая.

— Жалко, — сказал гвардеец. — Если бы ты указал дорогу, по которой пошло стадо, это была бы огромная заслуга родине: этот пастух — смертельный враг революции!

Черт возьми! Зачем я сказал «нет»? Теперь я горячо

сожалел об этом. Я сделал попытку с честью выйти из затруднения:

— Я не видел никакого пастуха, но припоминаю, что слышал звон бубенчиков в том направлении, за ивняком.

— Это был он! — воскликнул один гвардеец.

И все четверо, круто повернув коней, помчались галопом по тропинке, по которой только что прошел старый пастух.

Я растерянно глядел им вслед, не зная, хорошо или дурно я поступил. Чем дольше я думал о происшедшем, тем больше приходил в смущение...

Я не спускал глаз с ивовой роши, в которой скрылись пастух и его преследователи. Мне казалось, что я слышу доносящиеся оттуда крики, возгласы, звон бубенчиков.

Слух не обманул меня: из роши показались сначала красные султаны гвардейских треуголок, а затем и сами гвардейцы, окружавшие старого пастуха.

Подъезжая к мосту, гвардейцы отсалютовали батальону саблями и крикнули:

— Да здравствует нация!

Федераты окружили их тесным кольцом.

— Что сделал этот человек? — спросил капитан Гарнье.

— Это предатель и изменник, — ответил один гвардеец. — Он предал революцию и изменил родине.

— Смерть ему! И да здравствует нация! — закричали федераты.

Каждый наперебой спешил внести свое предложение:

— Судить его на месте! Пусть попробует вкус марсельских слив.

— На изменника не стоит тратить порох! Хватит с него веревки!

— В реку его!

В то время как все спорили и шумели, старый пастух вдруг смертельно побледнел, пошатнулся и упал.

С помощью двух других федератов, которым, как и мне, стало жалко несчастного старика, я усадил его на настил моста, прислонив спиной к перилам. Покамест гвардейцы обсуждали, как доставить арестованного в город, если он не сможет или не захочет идти пешком,

я живо достал свою фляжку с водкой и влил ему в рот два глотка.

Крепкий напиток вернул краску бледным щекам старика. Он открыл глаза и, увидев меня, тихо сказал: — Спасибо, дитя мое!

Увидев, что пастух слаб, болен, стар, многие федераты пожалели его. Они зашептались между собой, что следовало бы отпустить старика на все четыре стороны, если только он не совершил какого-нибудь тяжелого преступления.

— Пощадите этого человека! — говорили они гвардейцам. — Смотрите, он еле дышит! Кем бы он ни был в прошлом — патриотом или врагом народа, сейчас он не может никому причинить зла.

— Старик не опасен, говорите вы? — вскричал один из гвардейцев. — Вы сейчас увидите сами, кто этот пастух!

И, бросив поводья своего коня, он подбежал к арестованному и сорвал с его плеч бурый плащ из грубой шерсти.

Вот так так! Что же мы увидели? «Пастух» был одет в великолепный костюм из фиолетового бархата, отороченный тончайшими кружевами. На груди у него висел ослепительно сверкающий золотой крест. Национальный гвардеец рассмеялся:

— Видите теперь, кто этот внушающий вам сострадание бедняк? Это не кто иной, как его преосвященство, бывший епископ Мендский, монсиньор Кастеланне. Этот умирающий старик командует двадцатитысячной армией роялистов, которая стоит лагерем под Жалле. А знаете ли вы, для чего этот предатель вырядился пастухом? Он хотел перебраться через границу, чтобы вместе с эмигрантами и иностранными захватчиками пойти войной на Францию и удушить революцию! Глядите, вот доказательство!..

И с этими словами гвардеец вырвал из рук пастуха посох и сломал его. Вместе с дождем золотых монет из отверстия выпал свернутый в трубку лист пергамента. Капитан Гарнье развернул его: это был план заговора против революции.

Весь батальон в один голос закричал:

— Ах, негодяй! В реку его! Казнить предателя!

Над головой старика замелькали кулаки. Еще се-

кунда — и изменника растерзают, разорвут на клочки. Но гвардейцы заслонили его от негодующих федератов.

— Не трогайте его! — кричали они. — Этого человека необходимо доставить живым в руки революционного трибунала.

Марсельцы с неохотой подчинились, и гвардейцы увели своего пленника.

«Рран-рран-рран!» — загремел барабан.

Батальон построился и снова зашагал по дороге в Париж.



Э. Войнич

«Исповедь» — отрывок из известного романа английской писательницы Э. Войнич «Овод», вышедшего в 1897 году. Действие романа происходит в Италии в начале 30-х годов XIX века, в годы развития национально-освободительной борьбы за объединение Италии. Герой романа Артур Бертон принадлежит к тайному обществу «Молодая Италия». Роман ярко показывает, как католическая церковь в Италии была поставлена на службу политической реакции. Из приведенного отрывка видно, как пресловутая «тайна исповеди» цинично превращена в ловушку сыскной полиции, ловушку, в которую порой попадались наивные и доверчивые люди,

ИСПОВЕДЬ

...Спустя несколько дней после отъезда Монтанелли Артур зашел в библиотеку семинарии за книгой и встретился на лестнице с отцом Карди.

— А, мистер Бертон! — воскликнул ректор. — Вас-то мне и нужно. Пожалуйста, зайдите ко мне, я рассчитываю на вашу помощь в одном трудном деле,

Он открыл дверь своего кабинета, и Артур вошел туда с затаенным чувством неприязни.

Ему тяжело было видеть, что этот рабочий кабинет, святилище падре, теперь занят другим человеком.

— Я отчаянный книжный червь, — сказал ректор. — Первое, за что я принялся на новом месте, — это пересмотр библиотеки. Библиотека очень богата, но я не понимаю, по какой системе составлялся каталог.

— Он не полон. Значительная часть ценных книг поступила недавно.

— Не уделите ли вы полчаса, чтобы объяснить мне систему расстановки книг?

Они вошли в библиотеку, и Артур дал все нужные объяснения. Когда он собрался уходить и уже взялся за шляпу, ректор с улыбкой остановил его:

— Нет, нет! Я не отпущу вас так скоро. Сегодня суббота — до понедельника занятия можно закончить. Оставайтесь, поужинаем вместе — все равно сейчас уже поздно. Я теперь совсем один и буду рад вашему обществу.

Его обращение было так непринужденно и приветливо, что Артур сразу почувствовал себя с ним совершенно легко. После нескольких ничего не значащих фраз ректор спросил, давно ли он знает Монтанелли.

— Около семи лет, — ответил Артур. — Он возвратился из Китая, когда мне было двенадцать лет.

— А, да! Там он и приобрел репутацию выдающегося проповедника-миссионера. И с тех пор он руководил вашим образованием?

— Падре начал заниматься со мной год спустя, приблизительно в то время, когда я первый раз исповедовался у него. А когда я поступил в университет, он продолжал помогать мне по тем предметам, которые не входили в университетский курс. Он очень хорошо ко мне относится. Вы и представить себе не можете, как хорошо!

— Охотно верю. Этим человеком нельзя не восхищаться: прекрасная, благороднейшая душа. Мне приходилось встречать миссионеров, бывших с ним в Китае. Они не находили слов, чтобы в должной мере оценить его энергию, его мужество в трудные минуты, его несокрушимую веру. Вы должны благодарить судьбу, что в ваши юные годы вами руководил такой человек. Я понял из его слов, что вы рано лишились родителей.

— Да, мой отец умер, когда я был еще ребенком, мать — год тому назад.

— Есть у вас братья, сестры?

— Нет, только сводные братья... Но они были уже взрослыми людьми, когда меня еще нянчили.

— Вероятно, у вас было одинокое детство, потому-то вы так и цените доброту Монтанелли. Кстати, есть у вас духовник на время его отсутствия?

— Я думал обратиться к отцам Санта-Катарины, если у них не слишком много исповедующихся.

— Хотите исповедоваться у меня?

Артур удивленно раскрыл глаза:

— Ваше преподобие, конечно, я... я буду очень рад, но только...

— Только ректор духовной семинарии обычно не исповедует мирян? Это верно. Но я знаю, что каноник Монтанелли очень заботится о вас и, если не ошибаюсь, тревожится о вашем благополучии. Я бы тоже тревожился, случись мне расстаться с любимым воспитанником. Ему будет приятно знать, что его коллега печется о вашей душе. Кроме того, сын мой, скажу вам откровенно: вы мне очень нравитесь, и я буду рад помочь вам всем, чем могу.

— Если так, то я, разумеется, буду вам очень признателен.

— В таком случае, я могу ждать вас на исповедь в будущем месяце? Прекрасно! А кроме того, заходите ко мне, мой мальчик, как только у вас выдастся свободный вечер.

* * *

Незадолго до пасхи стало официально известно, что Монтанелли получил епископство в Бригелле, небольшом округе, расположенном в Этрусских Апеннинах. Монтанелли спокойно и радостно писал об этом Артуру из Рима; очевидно, его угнетенное настроение прошло. «Ты должен навещать меня каждые каникулы, — писал он, — а я обещаю приезжать в Пизу. Надеюсь, мы таким образом будем видеться с тобой, хоть и не так часто, как мне бы хотелось».

Доктор Уоррен пригласил Артура провести пасхальные праздники в его семье, а не в мрачном, кишашем крысами старом дворце, где теперь безраздельно царил

Джули. В письмо была вложена нацарапанная неровным, детским почерком записочка, в которой Джемма тоже просила его приехать к ним, если это возможно. «Мне нужно переговорить с вами кое о чем», — писала она.

Еще больше волновали и радовали Артура ходившие между студентами слухи. Все ожидали после пасхи больших событий.

Все это привело Артура в такое восторженное состояние, что все самые невероятные вещи, о которых шептались студенты, казались ему вполне реальными и близкими к осуществлению.

Он решил поехать домой в четверг на страстной неделе и провести первые дни отпуска там, чтобы не нарушить радостью свидания с Джеммой того торжественного религиозного настроения, какого церковь требует от своих детей в эти дни. В среду вечером он написал Джемме, что приедет в пасхальный понедельник, и с миром в душе пошел спать.

Он опустился на колени перед распятием. Завтра утром отец Карди обещал исповедать его, и теперь долгой и усердной молитвой ему надлежало подготовить себя к этой последней перед пасхальным причастием исповеди. Стоя на коленях, со скрещенными руками и склоненной головой, он вспоминал день за днем весь прошедший месяц и пересчитал свои маленькие грехи — нетерпение, раздражительность, небрежность, чуть-чуть пятнавшие его душевную чистоту. Кроме этого, Артур ничего не мог вспомнить: в счастливые дни много неогрешишь. Он перекрестился, встал с колен и начал раздеваться.

Когда он расстегнул рубашку, из-под нее выпал клочок бумаги. Это была записка Джеммы, которую он носил целый день на груди. Он поднял ее, развернул и поцеловал милые каракули; потом снова сложил листок, вдруг устыдившись своей смешной выходки, и в эту минуту заметил на обороте приписку: «Непременно будьте у нас, и как можно скорее; я хочу познакомить вас с Боллой. Он здесь, и мы каждый день занимаемся вместе».

Горячая краска залила лицо Артура, когда он прочел эти строки.

«Вечно этот Болла! Что ему снова понадобилось в

Ливорно? И с чего это Джемме вздумалось заниматься вместе с ним? Околдовал он ее своими контрабандными делами? Уже в январе на собрании легко было понять, что Болла влюблен в нее. Потому-то он и говорил тогда с таким жаром! А теперь он подле нее, ежедневно занимается с нею...»

Порывистым жестом Артур отбросил в сторону записку и снова опустился на колени перед распятием.

И это — душа, готовая принять отпущение грехов, пасхальное причастие, душа, готовая примириться с господом, с собой, со всем миром! Значит, она способна на низкую ревность и подозрения, способна питать зависть и мелкую злобу, да еще к товарищу! В порыве горького самоуничтожения Артур закрыл лицо руками. Всего пять минут назад он мечтал о мученичестве, а теперь сразу пал до таких недостойных, низких мыслей!..

В четверг Артур вошел в домашнюю церковь семинарии и застал отца Карди одного. Прочтя молитву перед исповедью, он сразу заговорил о своем проступке:

— Отец мой, я грешен — грешен в ревности, в злобе, в недостойных мыслях о человеке, который не сделал мне никакого зла.

Отец Карди отлично понимал, с кем имеет дело. Он мягко сказал:

— Вы не все мне открыли, сын мой.

— Отец! Того, к кому я питаю нехристианские чувства, я должен особенно любить и уважать.

— Вы связаны с ним кровными узами?

— Еще теснее.

— Что же вас связывает, сын мой?

— Узы товарищества.

— Товарищества? В чем?

— В великой и священной работе.

Последовала небольшая пауза.

— И ваша злоба к этому... товарищу, ваша ревность вызвана тем, что он больше вас успел в этой работе?

— Да... отчасти. Я позавидовал его опыту, его значению... И затем... я думал... я боялся, что он отнимет у меня сердце девушки... которую я люблю.

— А девушка, которую вы любите, дочь святой церкви?

Нет, она протестантка.

-- Еретичка?

Артур в глубоком горе стиснул руки.

— Да, еретичка, — повторил он. — Мы вместе воспитывались. Наши матери были друзьями. И я... позавидовал ему, так как понял, что он тоже любит ее... и...

— Сын мой, — медленно, серьезно заговорил отец Карди после минутного молчания, — вы не все мне открыли. У вас на душе есть еще какая-то тяжесть.

— Отец, я...

Артур запнулся. Исповедник молча ждал.

— Я позавидовал ему потому, что организация «Молодая Италия», к которой я принадлежу...

— Да?

— Организация доверила ему одно дело, которое, как я надеялся, будет поручено мне... Я считал себя особенно пригодным для него.

— Какое же это дело?

— Прием книг с пароходов... политических книг. Их нужно было взять... и подыскать для них помещение в городе.

— И эту работу организация поручила вашему сопернику?

— Да, Болле... и я позавидовал этому.

— А он, со своей стороны, ни в чем не подавал вам повода к неприязни? Вы не обвиняете его в небрежном отношении к той миссии, которая была возложена на него?

— Нет, отец, Болла действовал смело и самоотверженно. Он истинный патриот, и я должен был бы питать к нему любовь и уважение.

Отец Карди задумался:

— Сын мой, если душу вашу озарил новый свет, если в ней родилась мечта о великой работе на благо ваших собратьев, если вы надеетесь облегчить бремя усталых и угнетенных, то подумайте, как вы относитесь к этому самому драгоценному дару господню. Все блага — дело его рук. И рождение ваше в новую жизнь — от него же. Если вы обрели путь к жертве, нашли дорогу, которая ведет к миру, если вы соединились с любимыми товарищами, чтобы принести освобождение тем, кто втайне льет слезы и скорбит, то позаботьтесь, чтобы ваша душа была свободна от зависти и страстей, а ваше сердце было алтарем, где неугасимо

горит священный огонь. Помните, что это — святое и великое дело, и сердце, которое проникнется им, должно быть очищено от себялюбия. Это призвание, так же как и призвание служителя церкви, не должно зависеть от любви к женщине, от скоропреходящих страстей. Оно во имя бога и народа, ныне и во веки веков.

— О-о!.. — Артур всплеснул руками пораженный.

Он чуть не разрыдался, услышав знакомый девиз.

— Отец мой, вы даете нам благословение церкви!
С нами Христос!

— Сын мой, — торжественно ответил священник, — Христос изгнал менял из храма, ибо дом его — дом молитвы, а они его сделали вертепом разбойников¹.

После долгого молчания Артур с дрожью в голосе прошептал:

— И Италия будет храмом его, когда их изгонят...

Он замолчал. В ответ раздался мягкий голос:

— «Земля и все ее богатства — мои», — сказал господь.

* * *

Артур вошел в альков и опустился на колени перед распятием, напрягая все силы, чтобы настроить себя для молитвы и благочестивых размышлений. Но ему долго не удавалось это. Он и в самом деле, как сказал Томас, слишком усердствовал в соблюдении поста. Лишения, которым он себя подвергал, действовали, как крепкое вино. По его спине пробежала легкая дрожь, распятие расплылось перед глазами, словно в тумане. Он произнес несколько раз длинную молитву и только после этого смог сосредоточиться на тайне искупления. Наконец крайняя физическая усталость одержала верх над нервным возбуждением, и он заснул со спокойной душой, свободной от тревожных и тяжелых дум.

Артур крепко спал, когда в дверь его комнаты кто-то постучался нетерпеливо и громко.

«А, Тереза», — подумал он, лениво поворачиваясь на другой бок.

Постучали второй раз. Он вздрогнул и проснулся.

¹ В евангелии есть рассказ о том, как Христос изгнал всех торгующих из иерусалимского храма, опрокинул скамьи менял и продавцов голубей,

— Синьорино! Синьорино! — крикнул мужской голос. — Вставайте, ради бога!

Артур вскочил с кровати:

— Что случилось? Кто там?

— Это я, Джиан Баттиста. Заклинаю вас именем пресвятой девы, вставайте скорее!

Артур торопливо оделся и отпер дверь. В недоумении смотрел он на бледное, искаженное от ужаса лицо кучера, но, услышав звук шагов и лязг металла в коридоре, понял все.

— За мной? — спросил он спокойно.

— За вами! Торопитесь, синьорино! Что нужно спрятать? Я могу...

— Мне нечего прятать. Братья знают?

Из-за угла коридора показался первый мундир.

— Синьора разбудили. Весь дом проснулся. Какое горе, какое ужасное горе! И еще в страстную пятницу! Угодники божии, сжальтесь над нами!

Джиан Баттиста разрыдался. Артур сделал несколько шагов вперед, навстречу жандармам, которые, громяхая саблями, входили в комнату в сопровождении дрожащих слуг, одетых во что попало. Артура окружили. Странную процессию замыкали хозяйин и хозяйка дома. Он — в туфлях и в халате, она — в длинном пеньюаре и с папильотками в волосах.

...Пока жандармы обыскивали комнату, выдвигали ящики, читали его письма, просматривали университетские записи, Артур сидел на краю постели. Он был несколько взволнован, но тревоги не чувствовал. Обыск его не беспокоил: он всегда сжигал письма, которые могли кого-нибудь скомпрометировать, и теперь, кроме нескольких рукописных стихотворений, полуреволюционных, полумистических, да двух-трех номеров «Молодой Италин», жандармы не нашли ничего, что могло бы вознаградить их за труды.

...Тем временем жандармы закончили обыск, и офицер предложил Артуру надеть пальто. Артур хотел уже выйти из комнаты и вдруг остановился на пороге: ему было тяжело прощаться с молельней матери в присутствии жандармов.

— Вы не могли бы... выйти на минуту? — спросил он. — Убежать я все равно не могу, а прятать мне нечего,

— Мне очень жаль, но арестованных запрещено оставлять одних.

— Хорошо, пусть так.

Он вошел в альков, преклонил колени и, поцеловав распятие, прошептал:

— Господи, дай мне силы быть верным до конца!

Офицер стоял у стола и рассматривал портрет Монтанелли.

— Это ваш родственник? — спросил он.

— Нет, это мой духовный отец, новый епископ Бригеллы.

На лестнице его ожидали слуги-итальянцы, встревоженные и опечаленные. Артур, как и его мать, пользовался любовью в доме, и теперь слуги теснились вокруг него, горестно целовали ему руки и платье. Джиян Баттиста стоял тут же, роняя слезы на седые усы. Никто из Бертонов не пришел проститься. Их равнодушие еще более подчеркивало преданность и любовь слуг, и Артур едва не заплакал, пожимая протянутые ему руки.

— Прощай, Джиян Баттиста, поцелуй своих малышей! Прощайте, Тереза! Молитесь за меня, и да хранит вас бог! Прощайте, прощайте...

Он быстро сбежал по лестнице.

Прошла минута, и карета отъехала, провожаемая маленькой группой безмолвных мужчин и рыдающих женщин.

* * *

Артур был заключен в огромную средневековую крепость, расположенную у самой гавани. Его посадили в одиночную камеру, и, хотя надзор был не так строг, как он ожидал, все-таки объяснения причины своего ареста ему не удалось получить. Тем не менее Артура не покидало то душевное спокойствие, с каким он вошел в крепость. Ему не разрешали читать, и все время он проводил в молитве и благочестивых размышлениях, терпеливо ожидая дальнейших событий.

Однажды утром часовой отпер дверь камеры и сказал:

— Пожалуйте!

После двух-трех вопросов, на которые был только один ответ: «Разговаривать воспрещено», Артур покорился и пошел за солдатом по лабиринту пропитанных сыростью дворов, коридоров и лестниц. Наконец

его ввели в большую светлую комнату, где за длинным столом, покрытым зеленым сукном и заваленным бумагами, лениво переговариваясь, сидели трое военных. Когда он вошел, они сейчас же приняли важный, деловой вид, и старший из них, уже пожилой щеголеватый полковник с седыми бакенбардами, указал ему на стул по другую сторону стола и приступил к предварительному допросу.

Артур ожидал угроз, оскорблений, брани и приготовился отвечать с выдержкой и достоинством. Но ему пришлось приятно разочароваться. Полковник держался чопорно, по-казенному сухо, но с безукоризненной вежливостью. Последовали обычные вопросы: имя, возраст, национальность, общественное положение; ответы записывались в монотонной последовательности.

Артур уже начал чувствовать скуку и нетерпение, как вдруг полковник сказал:

— Ну, а теперь, мистер Бертон, что вам известно о «Молодой Италии»?

— Мне известно, что это политическое общество, которое издает газету в Марселе и распространяет ее в Италии с целью подготовить народ к восстанию и изгнать австрийскую армию из пределов страны.

— Вы читали эту газету?

— Да. Я интересовался ее содержанием.

— А когда вы читали ее, приходило вам в голову, что вы совершаете противозаконный акт?

— Конечно.

— Где вы достали экземпляры, найденные в вашей комнате?

— Этого я не могу вам сказать.

— Мистер Бертон, вы не должны говорить «не могу». Вы обязаны отвечать на все мои вопросы.

— В таком случае — не хочу, если вам не нравится «не могу».

— Если вы будете говорить со мной таким тоном, вам придется пожалеть об этом, — заметил полковник.

Не дождавшись ответа, он продолжал:

— Могу еще прибавить, что, по имеющимся у нас сведениям, ваши отношения к этому обществу были гораздо ближе — они заключались не только в чтении запрещенной литературы. Для вас же будет лучше, если вы откровенно сознаетесь во всем. Так или иначе, мы

узнаем правду, и вы убедитесь, что выгораживать себя и записывать бесполезно.

— У меня нет никакого желания выгораживать себя. Что вы хотите знать?

— Прежде всего скажите, каким образом вы, иностранец, могли впутаться в подобного рода дела?

— Я много думал об этих вопросах, много читал и пришел к определенным выводам.

— Кто убедил вас присоединиться к этому обществу?

— Никто. Это было моим личным желанием.

— Вы меня дурачите! — резко сказал полковник. Терпение, очевидно, начинало изменять ему. — К политическим обществам не присоединяются без влияния со стороны. Кому вы говорили о своем желании стать членом этой организации?

Молчание.

— Будьте любезны ответить.

— На такие вопросы я не стану отвечать.

В голосе Артура слышались угрюмые нотки. Какое-то странное раздражение овладело им. Он уже знал об арестах, произведенных в Ливорно и Пизе, хотя и не представлял себе истинных масштабов разгрома. Но и того, что дошло до его сведения, было достаточно, чтобы вызвать в нем лихорадочную тревогу за участь Джеммы и остальных друзей.

Притворная вежливость офицера, этот словесный турнир, эта скучная игра в коварные вопросы и уклончивые ответы беспокоили и злили его, а тяжелые шаги часового за дверью действовали ему на нервы.

— Между прочим, когда вы виделись в последний раз с Джиованни Боллой? — спросил вдруг полковник. — Перед вашим отъездом из Пизы?

— Это имя мне незнакомо.

— Как! Джиованни Болла? Вы его прекрасно знаете. Молодой человек высокого роста, бритый. Ведь он ваш товарищ по университету.

— Я знаком далеко не со всеми студентами.

— Боллу вы должны знать. Посмотрите: вот его почерк. Вы видите, он вас прекрасно знает.

И полковник небрежно передал ему бумагу, в заголовке которой стояло: «Протокол», а внизу была подпись: «Джиованни Болла». Наскоро пробегая ее, Артур наткнулся на свое имя. Он с изумлением поднял глаза.

— Вы хотите, чтобы я прочел это? — спросил он.

— Да, конечно. Это касается вас.

Артур начал читать, а офицеры молча наблюдали за выражением его лица. Документ состоял из показаний, данных в ответ на целый ряд вопросов. Очевидно, Болла тоже арестован! Первые показания были самые обычные. Затем следовал краткий отчет о связях Боллы с обществом, о распространении в Ливорно запрещенной литературы и о студенческих собраниях. А дальше стояло: «В числе примкнувших к нам был один молодой англичанин, по имени Артур Бертон, из семьи богатых ливорнских судовладельцев».

Кровь хлынула в лицо Артуру. Болла выдал его! Болла, который принял на себя священную обязанность руководителя, Болла, который завербовал Джемму... и был влюблен в нее! Он положил бумагу и опустил глаза.

— Надеюсь, этот маленький документ освежил вашу память? — вежливо заметил полковник.

Артур покачал головой.

— Я не знаю этого имени, — повторил он сухим, твердым голосом. — Тут, вероятно, какая-то ошибка.

— Ошибка? Вздор! Знаете, мистер Бертон, рыцарство и донкихотство — прекрасные вещи, но не надо доводить их до крайности. Это ошибка, в которую постоянно впадает молодежь. Подумайте: стоит ли компрометировать себя и портить свою будущность из-за пустой формальности? Вы шадите человека, который вас же выдал. Как видите, он не отличался особенной щепетильностью, когда давал показания о вас.

Что-то вроде насмешки послышалось в голосе полковника. Артур вздрогнул; внезапная догадка пронеслась у него в голове.

— Это ложь! Вы совершили подлог! Я вижу это по вашему лицу! — крикнул он. — Вы хотите скомпрометировать кого-нибудь из арестованных или строите ловушку мне. Обманщик, лгун, подлец!..

— Молчать! — закричал полковник, в бешенстве вскакивая со стула.

Его коллеги были уже на ногах.

— Капитан Томмази, — сказал он, обращаясь к одному из них, — вызовите стражу и прикажите посадить этого молодого человека в карцер на несколько

дней. Я вижу, он нуждается в хорошем уроке, его нужно образумить.

Карцер был темной, мокрой, грязной дырой в подземелье. Вместо того чтобы «образумить» Артура, он довел его до последней степени раздражения. Богатый дом, в котором он вырос, воспитал в нем крайнюю требовательность ко всему, что касается чистоплотности, и оскорбленный полковник вполне мог бы удовлетвориться первым впечатлением, которое произвели на Артура липкие, покрытые плесенью стены, заваленный кучами мусора и всяких нечистот пол и ужасное зловоние, распространявшееся от сточных труб и прогнившего дерева. Артура втолкнули в эту конуру и захлопнули за ним дверь; он осторожно шагнул вперед и, вытянув руки, содрогаясь от отвращения, когда пальцы его касались скользкой стены, на ощупь отыскал в потемках место на полу, где было меньше грязи.

Он провел целый день в непроглядном мраке и в полной тишине; ночь не принесла никаких перемен. Лишенный внешних впечатлений, он постепенно терял представление о времени. И, когда на следующее утро в замке щелкнул ключ и перепуганные крысы с писком прошмыгнули мимо его ног, он вскочил в ужасе. Сердце его отчаянно билось, а в ушах стоял шум, словно он был лишен света и звуков долгие месяцы, а не несколько часов.

Дверь отворилась, пропуская в камеру слабый свет фонаря, показавшийся Артуру ослепительным. Старший надзиратель принес кусок хлеба и кружку воды. Артур шагнул вперед. Он был уверен, что его выпустят отсюда. Но, прежде чем он успел что-нибудь сказать, надзиратель сунул ему хлеб и воду, повернулся и молча вышел, захлопнув за собой дверь.

Артур топнул ногой. Впервые в жизни он почувствовал ярость. С каждым часом он все больше и больше утрачивал представление о месте и времени. Темнота казалась ему безграничной, без начала и конца. Жизнь как будто остановилась.

На третий день вечером, когда в карцере снова появился надзиратель, теперь уже в сопровождении солдата, Артур растерянно посмотрел на них, защитив глаза от непривычного света и тщетно стараясь подсчитать, сколько часов, дней или недель он пробыл в этой могиле.

— Пожалуйте, — холодным, деловым тоном произнес надзиратель.

Артур машинально побрел за ним неуверенными шагами, спотыкаясь и пошатываясь, словно пьяный. Он отстранил руку надзирателя, хотевшего помочь ему подняться по крутой, узкой лестнице, которая вела во двор, но, ступив на верхнюю ступеньку, вдруг почувствовал дурноту, пошатнулся и упал бы навзничь, если бы надзиратель не поддержал его за плечо.

* * *

...Напрасно воссылал Артур молитвы к богу о том, чтобы он даровал ему силы побороть в себе злобу, напрасно размышлял он целые ночи о терпении и кротости Христа. Как только его приводили в длинную, почти пустую комнату, где стоял все тот же стол, покрытый зеленым сукном, как только он видел перед собой нафабранные усы полковника, ненависть снова овладевала им, толкала его на злые, презрительные ответы. Еще не прошло и месяца, как он сидел в тюрьме, а их взаимное раздражение достигло такой степени, что они не могли взглянуть друг на друга без гнева.

Постоянное напряжение этой борьбы начинало уже заметно сказываться на нервах Артура. Зная, как зорко за ним наблюдают, и вспоминая страшные рассказы о том, что арестованных опаивают незаметно для них белладонной¹, чтобы подслушать их бред, он почти перестал есть и спать. Когда ночью мимо него пробежала крыса, он вскакивал в холодном поту, дрожа от ужаса при мысли, что кто-то прячется в его камере и подслушивает, не говорит ли он во сне.

Жандармы явно старались поймать его на каком-нибудь признании, которое могло бы уличить Боллу. И страх попасть нечаянно в ловушку был настолько велик, что Артур действительно мог совершить серьезный промах. Денно и ночью имя Боллы звучало у него в ушах, не сходя с языка и во время молитвы; он шептал его вместо имени «Мария», перебирая четки. Но хуже всего было то, что религиозность с каждым днем как бы уходила от него вместе со всем внешним миром.

¹ Белладонна — лекарственное растение.

С лихорадочным упорством Артур цеплялся за эту последнюю поддержку, проводя в молитве и благочестивых размышлениях по нескольку часов. Но мысли его все чаще и чаще возвращались к Болле, и слова молитв он повторял машинально.

Огромным утешением для Артура был старший тюремный надзиратель. Этот толстенький лысый старичок сначала изо всех сил старался напустить на себя строгость. Но прирожденная доброта, сквозившая в каждой ямочке его пухлого лица, одержала верх над чувством долга, и скоро он стал передавать записки из одной камеры в другую.

Как-то днем в середине мая надзиратель вошел в камеру с такой мрачной, унылой физиономией, что Артур с удивлением посмотрел на него.

— В чем дело, Энрико? — воскликнул он. — Что с вами сегодня случилось?

— Ничего! — грубо ответил Энрико и, подойдя к койке, рванул с нее плед Артура.

— Зачем вы берете мой плед? Разве меня переводят в другую камеру?

— Нет, вас выпускают.

— Выпускают? Сегодня? Совсем выпускают? Энрико!.. — Артур в волнении схватил старика за руку, но тот сердито вырвал ее. — Энрико, что с вами? Почему вы не отвечаете? Скажите, нас всех выпускают?

В ответ послышалось только презрительное фырканье.

— Слушайте, — Артур с улыбкой снова взял надзирателя за руку, — не злитесь на меня, я все равно не обижусь. Скажите лучше, как с остальными?

— С какими это остальными? — буркнул Энрико, вдруг бросая рубашку, которую он свертывал. — Уж не с Боллой ли?

— С Боллой, разумеется, и со всеми другими. Энрико, что с вами?

— Не похоже, чтобы бедного парня скоро выпустили, раз его предал свой же товарищ! — И негодующий Энрико снова взялся за рубашку.

— Выдал товарищ? Какой ужас! — Артур широко раскрыл глаза.

Энрико быстро повернулся к нему:

— А разве не вы это сделали?

— Я?! Вы в своем уме, Энрико? Я?!

— По крайней мере, так ему сказали на допросе. Мне очень приятно думать, что предатель не вы. Вас я всегда считал порядочным молодым человеком. Идемте!

Энрико вышел в коридор, Артур последовал за ним. И вдруг его словно озарило:

— Болле сказали, что его выдал я! Ну конечно! А мне, Энрико, говорили, что меня выдал Болла. Но Болла ведь не так глуп, чтобы поверить этому вздору.

— Так это действительно неправда? — Энрико остановился около лестницы и окинул испытующим взглядом Артура, который только пожал плечами.

— Конечно, ложь!

— Вот как! Рад это слышать, мой мальчик, обязательно передам ему ваши слова. Но, знаете, ему сказали, что вы донесли на него... ну, словом, из ревности. Будто вы оба полюбили одну девушку.

— Это ложь! — произнес Артур быстрым, прерывистым шепотом. Им овладел внезапный, парализующий все силы страх. — Одну девушку! Ревность!.. Как они узнали это? Как они узнали?

— Подождите минутку, мой мальчик! — Энрико остановился в коридоре перед комнатой следователя и мягко сказал: — Я верю вам. Но скажите мне вот еще что. Я знаю, вы католик. Не говорили ли вы чего-нибудь на исповеди?

— Это ложь! — чуть не задохнувшись, крикнул Артур в третий раз.

Энрико пожал плечами и пошел вперед.

— Конечно, вам лучше знать. Но не вы первый попадаетесь на эту удочку. Сейчас в Пизе подняли большой шум из-за какого-то священника, которого изобличили ваши друзья. Они опубликовали листовку с предупреждением, что это шпион.

Он отворил дверь в комнату следователя и, видя, что Артур замер на месте, устремив прямо перед собой неподвижный взгляд, легонько подтолкнул его вперед.

— Добрый день, мистер Бертон! — сказал полковник, показывая в любезной улыбке все зубы. — Мне очень приятно поздравить вас. Из Флоренции прибыл приказ о вашем освобождении. Будьте добры подписать эту бумагу.

Артур подошел к нему.

— Я хочу знать, — сказал он глухим голосом, — кто меня выдал.

Полковник с улыбкой поднял брови.

— Не догадываетесь? Подумайте немного.

Артур покачал головой. Полковник воздел руки, выражая этим свое изумление.

— Не догадываетесь? Неужели? Да вы же, вы сами, мистер Бертон. Кто же еще мог знать о ваших любовных делах?

Артур молча отвернулся. На стене висело большое деревянное распятие, и глаза Артура медленно поднялись к лицу Христа, но в них была не мольба, а только удивление перед этим покладистым и нерадивым богом, который не поразил громом священника, нарушившего тайну исповеди.

— Будьте добры расписаться в получении ваших документов, — кротко сказал полковник, — и я не буду задерживать вас. Вам, верно, хочется скорее добраться до дому, а я тоже очень занят — все вожусь с делом этого сумасброда Боллы, который подверг вашу христианскую кротость такому жестокому испытанию. Боюсь, что его ждет суровый приговор. Всего хорошего!

Артур расписался, взял свои бумаги и вышел, не проронив ни слова. До массивных тюремных ворот он шел следом за Энрико, а потом, даже не попрощавшись с ним, один спустился к каналу, где его ждал перевозчик. В ту минуту, когда он поднимался по каменным ступенькам на улицу, навстречу ему бросилась девушка в легком платье и соломенной шляпе.

— Артур! Я так счастлива, так счастлива...

Артур, весь дрожа, отнял свою руку.

— Джим! — проговорил он наконец не своим голосом. — Джим!

— Я ждала здесь целых полчаса. Сказали, что вас выпустят в четыре... Артур, отчего вы так смотрите на меня? Что-нибудь случилось? Что с вами? Погодите!

Он отвернулся и медленно пошел по улице, как бы забыв о Джемме. Испуганная таким поведением, она догнала его и схватила за руку:

— Артур!

Он остановился и растерянно взглянул на нее, Джемма взяла его под руку, и они пошли рядом, не говоря ни слова.

— Слушайте, дорогой, — начала она нежно, — стоит ли так расстраиваться из-за этого глупого недоразуме-

ния? Я знаю, вам пришлось нелегко, но все понимают...

— Из-за какого недоразумения? — спросил он тем же глухим голосом.

— Я говорю о письме Боллы.

При этом имени лицо Артура болезненно исказилось.

— Вы о нем ничего не знали? — продолжала она. — Но ведь вам, наверное, сказали об этом. Болла, должно быть, совсем сумасшедший, раз он мог вообразить такую нелепость.

— Какую нелепость?

— Так вы ничего не знаете? Он написал, что вы рассказали о пароходах и подвели его под арест. Какая нелепость! Это ясно каждому, поверили только те, кто совершенно вас не знает. Потому-то я и пришла сюда: мне хотелось сказать вам, что в нашей группе не верят ни одному слову в этом письме.

— Джемма! Но это... это правда!

Она медленно отступила от него, широко раскрыв потемневшие от ужаса глаза. Лицо ее стало таким же белым, как шарф на шее. Ледяная волна молчания словно обрушилась на них, отделив от шума улицы.

— Да, — прошептал он наконец. — Пароходы... я говорил о них и называл имя Боллы. Боже мой! Боже мой! Что мне делать?

И вдруг он пришел в себя, осознав, кто стоит перед ним, в смертельном ужасе глядя на него. Она, наверное, думает...

— Джемма, вы меня не поняли! — крикнул Артур, шагнув к ней.

Она отшатнулась от него, пронзительно крикнув:

— Не прикасайтесь ко мне!

Артур с неожиданной силой схватил ее за руку:

— Выслушайте, ради бога!.. Я не виноват... я...

— Оставьте меня! Пустите руку! Оставьте!

И она вырвала свои пальцы из его рук и ударила его по щеке.

Глаза Артура застлал туман. Одно мгновение он ничего не видел перед собой, кроме бледного, полного отчаяния лица Джеммы и ее руки, которую она вытирала о платье. Затем туман рассеялся... Он осмотрелся и увидел, что стоит один.



Марк Твен

«Святой источник» — отрывок из романа известного американского писателя М. Твена «Янки при дворе короля Артура», вышедшего в 1899 году. В остроумном романе Твена рассказывается, как современный янки, по профессии заводской механик, фантастическим образом очутился в Англии раннего средневековья, времен сказочного короля Артура и рыцарей Круглого Стола. Положение практичного механика, вооруженного опытом современной науки и техники, оказавшегося в обстановке седой старины, позволяет Твену создать ряд забавных эпизодов, в которых высмеиваются средневековые пережитки. Герой романа вводит в средневековый мир новшества техники, отражает полчища рыцарей электрическим током и с помощью насоса, бенгальских огней и ракет создает «чудо», далеко превосходящее возможности седобородого волшебника Мерлина. Книга Твена как бы говорит: неужели наряду с современной наукой и техникой могут жить смешные и нелепые суеверия, оставшиеся еще со времен короля Артура?

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК

Паломники были люди. В противном случае они, вероятно, поступили бы иначе. Они совершили долгий и трудный путь. И теперь, когда этот путь был уже почти окончен и они вдруг узнали, что главное, зачем они ехали, перестало существовать, они поступили не так, как поступили бы на их месте. лошади, кошки или черви, — те, по всей вероятности, повернули бы обратно и занялись бы чем-нибудь более полезным. Нет, они поступили совсем иначе: подобно тому как раньше они жаждали увидеть чудотворный источник, так теперь они еще в сорок раз более жаждали увидеть то место, на котором прежде бил этот источник. Поступки людей совершенно необъяснимы.

Мы прибавили шагу и часа за два до заката солнца находились уже на высоких холмах, обрамляющих Долину Святости, и могли обозреть ее от края до края, в общих чертах. В трех разных местах, на далеком расстоянии друг от друга, виднелись постройки, казавшиеся игрушечными в этой обширной пустыне. Видеть человеческие жилища затерянными в пустыне всегда грустно — в них так особенно тихо, что они кажутся вымершими. Но здесь, хотя и раздавался звук, нарушавший тишину, он только вносил в нее еще большее уныние: то был отдаленный, слабый звук похоронного благовеста, время от времени доносимый до нас налетавшим ветерком, такой слабый и тихий, что мы даже не знали, слышим ли мы его на самом деле или нам только чудится.

Мы еще засветло доехали до монастыря, и здесь иноки приютили нас всех, мужчин. Но женщин отправили в женскую обитель. Теперь колокольный звон был слышен вблизи, и он гудел торжественно и уныло, как бы возвещая о судном дне. Суеверное отчаяние завладело сердцами иноков и ясно читалось на их мрачных и бледных лицах. Повсюду около нас бесшумно скользили монашеские фигуры в черных рясах, в мягких сандалиях, с лицами точно из воска и исчезали неслышно, как призраки, как видения тревожного сна.

Радость старого настоятеля при виде меня была трогательна — даже до слез; впрочем, слезы проливал только он один.

— Не медли, сын мой, — говорил он, — спеши приступить к делу спасения. Если нам не удастся вернуть воду в иссякшем ложе источника, и притом в самом скором времени, мы погибли, и доброе дело, стоявшее две сотни лет, поневоле разрушится. Только смотри, чтобы чары твои не были нечестивыми, ибо церковь не потерпит, чтобы на пользу ее работали, прибегая к колдовству и помощи дьявола.

— Если я возьмусь за работу, отец мой, то, можете быть уверены, дьявол будет здесь ни при чем. Ни к каким дьявольским чарам я прибегать не стану и буду пользоваться только такими материалами, которые созданы божьей рукой. Но уверены ли вы, что Мерлин¹ столь же благочестив?

— Ах, сын мой, он обещал, что не будет призывать злого духа, — он обещал и подтвердил свое обещание клятвой.

— Ну, в таком случае, пусть его продолжает.

— Но ведь ты же не будешь смотреть сложа руки на то, как он работает? Ты поможешь ему?

— Не годится, отец мой, смешивать разные методы. Да это и с профессиональной точки зрения неучтиво. Раз мы занимаемся одним ремеслом, нам придется как-нибудь разделиться, но теперь дело поручено Мерлину, и никакой другой волшебник не может взяться за него, пока он не нарушит договора.

— Но я сам его прогоню: нам угрожает такая страшная опасность, что я считаю себя вправе это сделать. И даже если не имею такого права, кто станет предписывать законы церкви? Церковь сама всем предписывает законы, и чего она хочет, то и может сделать, как бы кто ни обижался на нее за это. Я его прогоню, и ты начинай сейчас же.

— Нет, отец мой, этого вы не делайте. Разумеется, как вы говорите, кто всем верховодит, тот может делать что хочет, и никто не посмеет ему перечить. Но мы, бедные волшебники, находимся в другом положении. Мерлин весьма недурной колдун на мелкие дела и пользуется довольно широкой известностью в провинции. Он

¹ Мерлин — знаменитый волшебник из сказаний о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола.

борется здесь один, добросовестно прилагая все старания, и с моей стороны было бы против всяких приличий отнять у него работу, пока он сам ее не бросит.

Лицо настоящего просветлело:

— Ну, это не трудно. Мы найдем способ убедить его, чтобы он бросил.

— Нет, нет, отец мой, это не пройдет. Если вы заставите его это сделать против его воли, он заколдует ваш источник злыми чарами, которые я смогу разрушить только когда узнаю, в чем тут секрет. А на это может уйти целый месяц. Я бы тоже мог тут устроить маленькое колдовство, которое я зову телефоном, так ведь он бы и во сто лет не дознался, в чем тут дело. Поэтому и меня он может задержать на целый месяц. А разве вам приятно было бы рисковать такой долгой провололочкой в такую засуху?

— Целый месяц! При одной мысли об этом я весь дрожу. Пусть будет по-твоему, сын мой. Но это большое для меня разочарование, и сердце мое тяжело скорбит. Оставь меня опять одного с моим томлением и ожиданием, истерзавшими меня за эти долгие десять дней, в которые я не знал, что значит отдых, ибо, когда простертое тело мое являло видимость покоя, этого покоя не было в моей душе.

Конечно, самое лучшее было бы, даже и для Мерлина, плюнуть на всякие приличия и бросить дело, так как все равно ему никогда не удалось бы вернуть исчезнувшую воду, ибо Мерлин был истый чародей своей эпохи, то есть это значит, что крупные чудеса, создавшие ему репутацию мага и волшебника, он как-то всегда ухитрялся творить так, что никто при них, кроме него самого, не присутствовал, — не мог же он пустить в ход этот источник, когда вокруг стояла и глазела целая толпа народа; толпа зрителей в те дни так же парализовала способность волшебника творить чудеса, как в мое время она парализовала спиритов: всегда найдется какой-нибудь скептик, который в самый критический момент пустит свет и все испортит. Но мне вовсе не желательно было, чтобы Мерлин уступил мне место раньше, чем я сам буду готов взяться за работу; а я не мог этого сделать, пока не получу всего выписанного из Камелота, — для этого требовалось два дня, если не больше.

...На другой день, чуть свет, я был уже у источника. Я уже застал там Мерлина: он колдовал и рылся в земле, как бобр, но не мог добыть и капли влаги; настроение у него было неважное; и всякий раз, как я намекал ему, что, пожалуй, для неопытного человека слишком рискованно было брать на себя такое тяжкое обязательство, у него развязывался язык, и он начинал ругаться, как епископ — я хочу сказать: французский епископ эпохи Регенства.

Дело обстояло приблизительно так, как я и ожидал. «Источник» оказался самым обыкновенным колодезем, вырытым самым обыкновенным манером и выложенным самым обыкновенным камнем. Ничего чудесного в нем не было, как не было ничего чудесного и во лжи, создавшей его всесветную славу. Колодец находился в темной горнице, в самом центре каменной часовни, стены которой были увешаны картинками религиозного содержания, перед которыми могла бы возгордиться своей красотой и хромофотография, — картинками, представлявшими чудесные исцеления, совершенные водами источника. Характерно, что этих исцелений никто не видел своими глазами, то есть никто, кроме ангелов — эти всегда сидят на крыше, когда совершается чудо, может быть для того, чтобы и самим попасть на картинку. Ангелы так же любят это, как и пожарные, — проверьте это по картинкам старых мастеров.

Горница, где находился колодец, была слабо освещена лампадами; воду доставали с помощью вóрота и ведра на цепи, доставали монахи и переливали в желоба, по которым она стекала в каменные резервуары, помещавшиеся уже в самой часовне — разумеется, в то время, когда вода была, — и никто, кроме иноков, не имел права входа в помещение самого колодца. Я вошел туда, так как мой собрат по ремеслу любезно разрешил мне сделать это. Но сам он туда не входил. Он довольствовался заклинаниями и даже не пытался раскинуть умом. Если бы он вошел туда и обратился к помощи своих глаз, а не своего поврежденного рассудка, он, быть может, и сумел бы починить источник естественными средствами, а затем, как водится, превратил бы это в чудо; но нет, это был старый дурак, колдун, веривший в собственное колдовство; а ни один

чародей не может иметь успеха, если подобное суеверие тормозит его работу.

Я подозревал, что одна из стенок колодца дала трещину — камни расселись, а то и вывалились, и в трещину уходила вода. Я измерил цепь — длина ее равнялась девяноста восьми футам. Потом кликнул двух монахов, запер двери, взял свечу и попросил их спустить меня в колодец. Когда цепь размотали до конца, осмотр подтвердил мое предположение: значительная часть стены вывалилась, образовав огромную трещину.

Я почти жалел, что мои догадки о причине исчезновения воды подтвердились, так как я подозревал нечто другое, более выгодное с точки зрения чуда...

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА

В субботу около полудня я пошел к источнику. Мерлин все еще жег свои благовонные курения, топал ногами и размахивал руками, бормоча какую-то тарабарщину; но вид у него был унылый, так как, разумеется, ему не удалось вызвать и капли влаги. Я смотрел, смотрел на него и наконец сказал:

— Ну что, товарищ, срок уж близится к концу. Скоро ли ты исполнишь свое обещание?

— Вот, гляди: сейчас я применю самые могущественные чары, известные владыкам с сокровенными знаниями в странах Востока; если и они не помогут, значит ничто не поможет. Помолчи, пока я не кончу.

Он поднял такой дым, от которого все потемнело вокруг, и отшельники, должно быть, почувствовали себя не очень приятно, так как ветер был в их сторону и весь дым густыми клубами валил туда. При этом он наговорил столько, что из его слов можно было составить целые томы, и изгибался всем телом, и делал руками в воздухе какие-то неестественные жесты. Через двадцать минут он опустился на землю, задыхаясь, совершенно обессиленный. Тут подоспел настоятель и с ним несколько сот монахов и монахинь, а вслед за ними куча паломников и призреваемые найденыши, которые заняли пространство чуть не в две десятины. Все они

были привлечены сюда густым вонючим дымом, и все очень волновались. Игумен тревожно допытывался относительно результатов. Мерлин отвечал:

— Если бы труды смертного были в состоянии рассеять чары, сковавшие эти воды, это давно было бы сделано. Все мои усилия остались бесплодными; и теперь я знаю, что произошло именно то, чего я боялся: моя неудача доказывает, что источник околдован могущественнейшим духом, известным восточным волхвам, — духом, имя которого нельзя произнести и остаться в живых. Нет и не будет такого смертного, который был бы в силах проникнуть в тайну этого заклęcia, а не узнав этой тайны, невозможно и снять его... Вода в источнике иссякла навсегда, добрый отец мой. Я сделал все, что может сделать человек. Позвольте мне удалиться.

Разумеется, такое заявление очень смутило настоятеля. Он обратил ко мне расстроенное лицо и спросил:

— Ты слышал, сын мой, что он говорит? Правда это?

— Частью правда.

— Но не всё? Значит, не всё! Что же именно правда?

— Что дух, носящий русское имя, околдовал источник.

— Язвы господни! В таком случае, мы погибли.

— Весьма возможно.

— Но не наверное? Ты хочешь сказать: не наверное?

— Именно.

— Стало быть, ты полагаешь, что, когда он говорил, будто ничто не может разрушить эти чары...

— Ну да, это не обязательно должно оказаться правдой. Существуют условия, при которых попытка рассеять эти чары может иметь некоторые шансы на успех — хотя самые слабые, ничтожные.

— Эти условия...

— О, условия не трудные. Всего-навсего вот что: я требую, чтобы источник и окружающее его пространство на расстоянии полумили вокруг было предоставлено исключительно в мое распоряжение от сегодняшнего заката до той минуты, когда я сниму заклęcie, и чтобы никто не смел входить туда иначе, как с моего позволения.

— И это всё?

— Всё.

— И ты не боишься попробовать?

— О, ничуть! Разумеется, попытка может и не удалась, но может быть и успешной. Отчего же не попытаться? Я готов попытаться. Условия мои вам известны.

— И эти и всякие другие, какие бы ты ни поставил, будут приняты. Я сейчас распоряжусь.

— Погодите! — сказал Мерлин с злобной усмешкой. — Ты понимаешь, конечно, что тот, кто захочет снять эти чары, должен знать имя духа.

— Да, я знаю его.

— И знаешь также, что знать его мало, а надо еще произнести его вслух. Ха-ха! Ты и это знаешь?

— И это знаю.

— Он и это знает! Так что же ты, безумец, хочешь назвать его имя и умереть?

— Назвать его имя? Ну конечно... Я назвал бы его, если б оно даже было валлийское¹, а не только русское.

— В таком случае, ты погиб...

— Вот и отлично. Забирай, дедушка, свои пожитки и проваливай. Твое дело сидеть дома и делать погоду.

Стрела попала в цель, и дедушка мой нахмурился, так как в целом королевстве он был худший предсказатель погоды. Когда он приказывал вывесить на берегу сигналы, предвещающие шторм, вы могли быть заранее уверены, что погода по крайней мере неделю предстоит совершенно безветренная; когда же он предвещал хорошую, сухую погоду, дождь лил ручьями. Тем не менее я оставил его в бюро предсказаний погоды именно для того, чтобы подорвать его репутацию. Как бы то ни было, мой коварный намек поднял в нем желчь, и вместо того чтобы отправиться домой с извещением о моей гибели, он объявил, что останется здесь, чтобы самому насладиться этим зрелищем.

Двое моих помощников прибыли в тот же вечер, страшно измученные, так как они ехали форсированным маршем. С ними были вьючные мулы, и они привезли все нужное: всякого рода инструменты, насос, свинцовую трубку, бенгальский огонь, пучки больших ракет, римские свечи, разноцветные бураки, рассыпаю-

¹ Валлийское (уэльское) — то есть имя кельтского происхождения. Кельтские наречия трудны для англичан,

щие искры во все стороны, электрическую батарею и кучу всякой всячины — словом, все необходимое для самого шикарного чуда. Они поужинали, соснули немного, и около полуночи мы все трое отправились к источнику. Кругом было так тихо и пустынно, что это даже превосходило мои требования. Кроме нас, ни вблизи, ни вдали от источника не было ни души. Мои ребята были мастера на все руки — от кирпичной кладки до сооружения математических инструментов. За час до восхода солнца трещина была заделана на совесть, и вода в колодце начала подниматься. Тогда мы сложили наши фейерверки в часовне, заперли ее на ключ и пошли домой спать.

Еще до конца обедни мы уже снова были у источника, так как работы предстояло еще много, а я решил устроить это чудо до полуночи, ибо если чудо, совершенное на пользу церкви в будний день, стоит дорого, то ценность его удесягеряется, если оно пришлось на праздник, в воскресный день. За девять часов вода дошла уже до своего обычного уровня, на расстоянии двадцати трех футов от края. Мы вставили в колодец небольшой железный насос — один из первых сооруженных моими стараниями, — пробуравили дно каменного резервуара, прислоненного к наружной стене горницы, где находился колодец, и вставили туда часть свинцовой трубки, достаточно длинную, для того чтоб она дошла до дверей часовни и выбросила за порог струю воды, которая была бы видима всем: по моим расчетам, к нужному времени на плоской равнине вокруг этого священного холмика должно было собраться столько народу, что им будет покрыто пространство в двести пятьдесят акров.

Мы вышибли дно у пустой бочки, подняли ее на плоскую крышу часовни, прибили крепко дном к крыше и насыпали туда порошу на дюйм глубины, а в порох понатыкали ракет всех сортов, какие только у нас были, — а у нас их было немало. В порох же мы воткнули конец проволоки, соединенной с карманной электрической батареей, и в каждом углу крыши устроили целый склад бенгальского огня: в одном углу — голубого, в другом — зеленого, в третьем — красного, в четвертом — малинового, и, в свою очередь, каждый соединили проводом с электрической батареей.

На расстоянии ярдов двухсот от часовни, на ровном

месте, мы сложили из брусьев загон вышиною фута в четыре, накрыли его досками, и получилась платформа. Платформу мы изукрасили яркоцветными коврами, взятыми напрокат специально для этого случая, и поставили посередине ее кресло настоятеля, изображавшее собою нечто вроде трона. Когда чудо предназначается для невежественной публики, вы должны обратить внимание на все детали, устроить все как можно величественнее и внушительнее, приспособить все как можно удобнее для главных ваших гостей; а затем уже у вас развязаны руки, и вы можете пустить пыль в глаза, используя все заранее подготовленные эффекты. Я знаю, как все это важно и ценно, ибо знаю чудесную человеческую натуру. Вы не можете переборщить в стилизации чуда. Это требует много времени и труда, подчас и денег, но в конце концов всегда окупается.

Итак, мы провели проволоку по полу часовни, потом по земле до самой платформы и спрятали батареи под ее полом. А платформу обвели с четырех сторон веревкой, на расстоянии ста футов от нее, чтобы удерживать толпу подальше. На этом и кончилась наша работа. Мой план был таков: впуск публики с 10.30; представление начнется ровно в 11.25. Я был бы очень не прочь брать плату за вход, но, разумеется, это было неудобно. Я приказал своим ребятам уже в десять часов быть в часовне и держаться начеку, чтобы вовремя пустить в ход насосы. Затем мы пошли домой ужинать.

Весть о катастрофе с источником к тому времени разнеслась далеко, и все эти три дня народ валом валил в долину. Устье ее превратилось в один огромный лагерь — публики у нас будет достаточно, в том сомнения не было. Тем более, что еще в начале вечера глашатаи обошли всю долину, оповещая о предстоящей попытке вернуть воду в источник, и все были исполнены лихорадочного ожидания. Глашатаям велено было оповестить, что ровно в 10.30 настоятель со своей свитой и монахи торжественной процессией выйдут из монастыря и займут места на платформе и что до этого момента никто не смеет переступить черту, объявленную мной под запретом; после же этого колокольный звон стихнет, и это будет сигналом, что все желающие могут войти и тоже занять места.

Я стоял на платформе, готовый к приему гостей,

когда в виду показалась торжественная процессия, во главе которой шел настоятель, то есть увидел-то я ее уже тогда, когда она подошла к веревочному кордону, ибо ночь была темная, беззвездная, а факелы взять я не позволил. Вместе с монахами явился и Мерлин и поместился в первом ряду: на сей раз он был верен своему слову. Я не мог видеть толп, собравшихся за запретной чертой, но они все-таки были там, я это знал. Лишь только смолкли колокола, как эти невидимые массы ворвались и разлились огромной черной волной по всему свободному пространству; и еще полчаса они всё притекали; потом застыли и осели плотно — до того, что вы могли пройти несколько миль по мосту из человеческих голов.

Минут двадцать мы подождали, для вящего эффекта — это было у нас рассчитано заранее; всегда полезно заставить вашу аудиторию немного потомиться ожиданием: это разжигает любопытство. Наконец среди всеобщего безмолвия раздались благородные звуки латинского гимна, исполняемого хором мужских голосов; вначале тихие, они разрастались, крепили и наполняли мрак торжественной, величавой мелодией. Это тоже был придуманный мною эффект, и один из самых удачных. Когда пение смолкло, я стал на краю платформы с распростертыми руками и поднятым кверху лицом — это всегда достигает цели: водворяется мертвая тишина — и затем медленно, отдельно, торжественно произнес страшное слово, от которого затрепетали тысячи мужчин, а женщины попадали в обморок:

— Константинополитанишердудельсакпфейфенмахерсгезелльшафт.

Как раз в тот миг, когда у меня стоном вырвался последний, заключительный слог этого слова, я коснулся одного из электрических проводов — и вдруг все эти черные массы народа озарились призрачным мертвенно-синим светом. Эффект получился необычайный. Многие вскрикивали; женщины метались и разбегались в разные стороны; найденыши так и валились на землю целыми взводами. Настоятель и монахи торопливо крестились и дрожащими губами взволнованно шептали молитвы. Мерлин держал себя в узде, но и он был, видимо, изумлен необычайно: такого начала он еще не видывал. Теперь, не давая остынуть волнению и любопытству,

надо было громоздить эффект за эффектом! Я воздел руки к небу и, как бы в мучительной тоске, возопил:

— Нигилистендинамиттеатеркестхеншпренгунгсаттентатсферзухунген! — И зажег красный огонь.

Посмотрели бы вы, как застонало и завыло это живое море, когда к мертвенно-синему свету присоединился красный цвет адского пламени. Переждав ровно шестьдесят секунд, я возопил:

— Трансваальтруппентропентранспортрампельтиртрейбертрауунгстрэнентрагеди! — И зажег зеленый огонь.

Подождав еще немного — на этот раз всего только сорок секунд, — я простер руки вперед и громовым голосом выкрикнул все двадцать четыре ужасных слога этого слова слов:

— Меккамузельманненмассеншенмердерморенмуттермармормонументтенмахер!

И пустил последний огонь, малиновый.

Теперь по всем четырем углам крыши горели огни: синий, красный, зеленый, малиновый — четыре яростных вулкана, выбрасывавших кверху огромные клубы лучезарного дыма, обливая ослепительным радужным светом отдаленнейшие уголки долины. Вдали виден был столпник на своем столбе, недвижимый как изваяние, выделяющееся на фоне залитого светом неба, и впервые за двадцать лет приостановивший свои поклоны. Я знал, что ребята мои уже у насоса и ждут только знака. И я сказал настоятелю:

— Отец мой, час настал. Сейчас я произнесу страшное имя и прикажу чарам рассеяться. Соберитесь с духом, ухватитесь за что-нибудь.

Потом крикнул народу:

— Внимание! Через минуту чары будут рассеяны, или никто в мире не сможет рассеять их. Если я их разрушу, все узнают о том, ибо святая вода потечет из дверей часовни.

Я подождал еще несколько минут, чтобы дать время слышавшим передать мои слова тем, кто не мог расслышать, до самых последних рядов; потом принял еще более торжественную позу и с подобающими жестами выкрикнул:

— Смотрите все! Я повелеваю падшему духу, околдовавшему святой источник, ныне извергнуть к небесам все адские огни, которые он еще затаил в себе, и

немедленно же разорвать свои чары и умчаться отсюда в бездну, где ему лежать связанному ровно тысячу лет. Его собственным грозным именем заклинаю его: Бджвжжжлджжж!

Тут я нажал кнопку провода, тянувшегося к бочке с ракетами, и целый фонтан ослепительных ярких огненных стрел с пронзительным свистом взвился к зениту и посередине неба рассыпался ливнем разноцветных алмазов. Мощный единодушный крик ужаса вырвался разом из тысячи грудей, и тотчас же вслед за ним — безумный вопль радости, так как из двери часовни вдруг брызнула, всем явственно видимая при этом ярком свете, расколдованная вода. Старый настоятель не мог выговорить ни слова — его душили слезы, и слова застревали у него в горле; он только сгреб меня и чуть не задушил в своих объятиях. Это было красноречивее слов и вдобавок гораздо опаснее в стране, где не было ни единого доктора, который бы стоил хоть ломаного гроша.

Посмотрели бы вы, как несчастные людские стада кидались на землю и приникали к воде, лаская ее, глядя, целуя, разговаривая с ней, как с живой, называя ее самыми нежными, ласковыми именами, словно друга, который долго пропадал без вести и считался погибшим и вдруг снова вернулся домой. Да, это было красивое зрелище, и с той минуты я стал лучшего мнения об этих людях, чем был раньше.

Мерлина я отправил домой на носилках. Как только я произнес это страшное имя, он словно нырнул вниз, свалился без чувств и потом уж так и не мог никогда по-настоящему прийти в себя. Он никогда раньше не слышал этого имени, как и я, но сразу узнал, что оно настоящее; какое бы дурацкое имя я ни придумал, оно все равно было бы для него настоящим. Впоследствии он счел долгом признать, что и родная мать этого духа не могла бы произнести его имени лучше, чем я. Он никак не мог понять, каким образом я ухитрился произнести это имя и остаться в живых, а я не объяснил ему этого. Только юные и неопытные волшебники выдают подобные секреты. Мерлин трудился целых три месяца, придумывая всевозможные заклинания, чтобы добраться до фокуса — как выговорить это имя и не умереть. Но так и не добился желаемого.

Когда я шел обратно в часовню, толпа с непокрытыми головами почтительно и благоговейно расступалась передо мной, очищая мне путь, как будто я был каким-то существом высшей породы... Впрочем, если на то пошло, ведь так оно и было. Я сам признавал это. Я отобрал нескольких монахов, поставив их на ночь караулить источник, посвятил их в тайну насоса и велел им качать воду безостановочно, так как ясно было, что большая часть видевших чудо не разойдется, а будет сидеть над водою всю ночь до утра; следовательно, надо же было дать им все то, за чем они явились сюда. Монахам и самый насос показался порядочным чудом, и они не могли надивиться ему и без конца восторгались тем, как он чудесно работает.

Это была великая ночь, необычайная ночь. Одна такая ночь могла создать человеку громкое имя. Я ликовал, и гордился, и радовался, и от радости долго не мог заснуть.



Марк Твен

Различные писатели создавали рассказы о детях, которые силой простого здравого смысла разрушают суеверия взрослых. Маленькая Бесси, разумеется, незнакома с выводами современной науки, она не может противопоставить религиозным суевериям всю полноту разума. Но здравый смысл Бесси разбивает нелепые утверждения матери. В самом деле, неужели молния поразила свинью потому, что бог хотел ее наставить на путь истинный?

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНАЯ БЕССИ

Бесси — славная девочка, не шалунья, не тараторка; она любит поразмышлять то над тем, то над этим и постоянно спрашивает «почему?», стараясь понять, что происходит вокруг нее. Однажды она спросила:

— Мама, почему повсюду столько страданий и горя? Для чего все это?

Это был несложный вопрос, и мама, не задумываясь, ответила:

— Для нашего же блага, деточка. В своей неисповедимой мудрости бог посылает нам эти испытания, чтобы наставить нас на путь истинный и сделать нас лучше.

— Значит, это он посылает страдания?

— Да.

— Все страдания, мама?

— Конечно, дорогая. Ничто не происходит без его воли. Но он посылает их полный любви к нам, желая сделать нас лучшими.

— Это странно, мама.

— Странно? Что ты, дорогая! Мне это не кажется странным. Никому это не кажется странным. Все думают, что так должно быть, что это милосердно и мудро.

— Кто это первый стал так думать, мама? Ты?

— Нет, крошка, меня так учили.

— Кто так тебя учил, мама?

— Я уже не помню. Наверное, моя мама или священник. Во всяком случае, все знают, что это правильно.

— А мне это кажется странным, мама. Скажи: это бог послал тиф Билли Норрису?

— Да.

— Для чего?

— Как — для чего? Чтобы наставить его на путь истинный, чтобы сделать его хорошим мальчиком.

— Но он же умер от тифа, мама. Он не может стать хорошим мальчиком.

— Ах, да! Ну, значит, у бога была другая цель. Во всяком случае, это была мудрая и милосердная цель.

— Что же это была за цель, мама?

— Ты утомляешь меня, крошка. Быть может, бог хотел послать испытание родителям Билли!

— Но это нечестно, мама! Если бог хотел послать испытание родителям Билли, зачем же он убил Билли?

— Я не знаю, крошка. Я могу только сказать тебе, что его цель была мудра и милосердна.

— Какая цель, мама?

— Он хотел... он хотел наказать родителей Билли. Они, быть может, согрешили и были наказаны.

— Но умер же Билли, мама! Разве это справедливо?

— Конечно, справедливо. Бог не делает ничего, что было бы несправедливо. Тебе не понять этого сейчас, но, когда ты вырастешь большая, тебе будет понятно, что все, что бог делает, мудро и справедливо.

Пауза.

— Мама, это бог обрушил крышу на человека, который выносил из дому старушку, когда был пожар?

— Ну да, крошка. Постой! Что за вопросы ты задаешь? Ты должна помнить только одно: всякое деяние божье показывает его всемогущество, правосудие и любовь к людям.

— А вот когда пьяница ударил вилами ребеночка у миссис Уэлч...

— Это совсем не твое дело! Впрочем, бог, наверное, хотел послать испытание этому ребенку, наставить его на путь истинный.

— Мама, мистер Боргес говорил, что миллионы миллионов маленьких существ нападают на нас и заставляют нас болеть холерой, тифом и еще тысячью болезней. Мама, это бог посылает их?

— Конечно, крошка, конечно. Как же иначе?

— Зачем он посылает их?

— Чтобы наставить нас на путь истинный. Я тебе уже сказала.

— Но это ужасно жестоко, мама! Это глупо! Если бы мне...

— Замолчи, сейчас же замолчи! Ты хочешь, чтобы нас поразило громом?

— Мама, на прошлой неделе колокольню поразило громом и церковь сгорела. Что, бог хотел наставить церковь на путь истинный?

— (Устало.) Не знаю, может быть...

— Молния убила тогда свинью, которая ни в чем не была повинна. Бог хотел наставить эту свинью на путь истинный, мама?

— Дорогая моя, ты, наверное, хочешь погулять. Пойди побегай немного.



Эмиль Золя

Перу французского писателя Э. Золя (1840—1902) принадлежит трилогия — романы «Лурд», «Рим» и «Париж», написанные в конце XIX века и направленные против религии и католической церкви.

В романе «Рим» показаны верхи католического духовенства. Предлагаемый отрывок ярко говорит о тех преступлениях и интригах, которые царят в этой среде. Золя разоблачает религию, противопоставляя ей торжество науки.

Р И М

Шьер приехал на вокзал к десяти утра. К кардиналу Сангвинетти идти было еще рано; к счастью, аббат встретил графа Прада и пошел с ним по дороге в гору.

Оба продолжали медленно идти по подымавшейся в гору дороге, среди кое-где разбросанных и часто еще не достроенных вилл. Когда Прада узнал, что аббат приехал во Фраскати к кардиналу Сангвинетти, он за-

смеялся, напоминая любезного волка, оскалившего свои белые зубы.

— Да, правда, он здесь с тех пор, как папа болен... О, вы застанете его в лихорадочном состоянии!

— Но почему?

— Да потому, что новости о здоровье папы сегодня утром не особенно-то утешительные. При моем отъезде из Рима носились слухи, будто он провел ужасную ночь.

Невдалеке находился плохонький домишко, грозивший превратиться в развалину и, вероятно, служивший прежде домом для священника. Когда они подошли, оттуда как раз выходил какой-то аббат, высокий, мускулистый, с грубым землистым лицом; уходя, он захлопнул дверь и дважды повернул ключ в замке.

— Вот, — насмешливо сказал граф, — субъект, чье сердце должно учащенно биться сегодня. Он, конечно, идет к вашему кардиналу за новостями.

Пьер с удивлением смотрел на аббата.

— Я знаю его, — сказал он. — Если не ошибаюсь, я видел именно его на другой день после моего приезда у кардинала Бокканера. Он тогда принес ему корзинку винных ягод и просил дать свидетельство о хорошем поведении его младшему брату, который попал в тюрьму из-за какого-то произведенного им буйства, кажется даже ножовой расправы; впрочем, кардинал решительно отказался выдать свидетельство.

Прада опять пошел вперед и продолжал говорить об этом священнике Сантобоно, очевидно интересовавшем его. Сантобоно являлся типом священника-патриота.

— Он всецело отдался кардиналу Сангвинетти, — сказал Прада, — потому что видит в нем кандидата на папский престол, видит великого папу недалекого будущего, которому суждено сделать Рим единственной столицей всех народов. Конечно, дело не обходится без некоторых более низменных воцелений. Так, например, он, наверное, рассчитывает добиться звания каноника или вообще помогать себе в горестях земной жизни, как в тот день, когда ему нужно было вывести из затруднительного положения своего брата. Здесь на каждого кардинала рассчитывают, точно на выигрышный билет в лотерею: если кардинал превратится в папу — выиграно

целое состояние... Вот почему он, как вы видите, так спешит: ему хочется поскорее знать, умрет ли Лев XIII и выиграет ли его билет вместе с Сангвинетти, надевающим тиау.

— Но разве в случае вакантности папского престола кардинал Сангвинетти имеет много шансов занять его? — спросил Пьер.

— О, очень много, очень много! Впрочем, это тоже никогда нельзя предугадать. Несомненно лишь то, что он числится среди возможных кандидатов. Если бы одного желания заполучить папскую тиау было достаточно, то, конечно, Сангвинетти стал бы в будущем папой. Ведь он страстно, невероятно желает этого, весь сгорает этим последним желанием. Он даже слишком стремится к папскому престолу и вредит себе своею страстью, что и сам сознает. Поэтому-то и должен быть готов на все в последний день борьбы. Будьте уверены, он приезжал сюда, в теперешний критический момент, лишь для того, чтобы лучше руководить борьбой издали, прикрываясь желанием уйти на покой. А это всегда производит наилучшее впечатление.

С тех пор как папа заболел во второй раз, то есть с весны, Сангвинетти живет в вечном смертельном страхе, потому что прошел слух о том, будто иезуиты решили поддерживать кардинала Бокканера, хотя тот и недолюбливает их. Его последней комбинацией, чтобы заручиться поддержкой иезуитов, были распускаемые им через своих приближенных слухи о том, что он не только будет строго придерживаться принципа светской власти, но берется даже вернуть папскому престолу эту власть. И составилась целый проект, который передавался по секрету от одних к другим, проект несомненной победы, поражающий своими результатами, несмотря на кажущуюся в нем уступку, а именно: не запрещать католикам подавать голоса и выставлять свою кандидатуру в палату депутатов, послать туда сначала сто членов, потом двести, триста, наконец уничтожить савойскую монархию и учредить своего рода большую федерацию итальянских областей, во главе которой, как царственный и могущественный президент, будет стоять папа, снова овладевший Римом.

Было уже одиннадцать часов утра, когда Пьер прощался с графом, чтобы тоже пойти к кардиналу.

Прада на минуту удержал его руку в своей:

— Знаете что? Если бы вы были так любезны, вы позавтракали бы вместе со мной... Хотите? Как только вы будете свободны, приходите ко мне вон в тот ресторан — видите, дом с розовым фасадом. Я через час устрою все свои дела и буду очень рад позавтракать вдвоем.

...Пьер забылся у окна виллы Сангвинетти, куда он вошел; вдруг до него совершенно неожиданно донеслись отчетливые слова какого-то разговора. Он наклонился и понял в конце концов, что это кардинал, стоя на соседнем балконе, разговаривает с каким-то аббатом; Пьеру видна была какая-то часть сутаны последнего. Впрочем, он сейчас же узнал в нем Сантобоно. Первым движением молодого аббата было отойти из скромности; потом то, что он услышал, удержало его.

— Мы сейчас узнаем... — говорил кардинал своим густым голосом. — Я послал Эвфемио в Рим, я верю только ему. Вот поезд, которым он должен приехать.

У Сантобоно вырвалось невольное восклицание:

— О, ваше высокопреосвященство, вы будете действовать и победите!

— Я, дорогой мой? Да что же вы хотите, чтобы я сделал? Я только отдаю себя в распоряжение моих друзей, в распоряжение тех, кто поверит мне единственно ради победы святого престола. Это они должны действовать, трудиться каждый по своей возможности, чтобы преградить путь недостойным и содействовать успеху достойных... О, если антихрист займет престол...

Слово «антихрист», столько раз повторенное, смущало Пьера. Но вдруг он вспомнил рассказ графа: антихрист — это кардинал Бокканера.

В это время поезд подошел к вокзалу. Среди нескольких вышедших на станцию пассажиров Пьер разглядел маленького аббата. Он шел так быстро, что ряса его развевалась во все стороны. Это и был Эвфемио, секретарь кардинала. Когда он увидел Сангвинетти на балконе, он забыл всякое достоинство и побежал, взбираясь вверх по дороге.

— А вот и Эвфемио! — воскликнул кардинал, вздрагивая от волнения. — Мы узнаем, мы узнаем наконец!

Секретарь исчез в двери и необыкновенно быстро взбежал наверх, потому что Пьер почти тотчас же уви-

дел, как он, едва переводя дыхание, прошел через приемную в кабинет кардинала. Тот сошел с балкона навстречу своему вестнику; он опять вернулся туда, расспрашивая, вставляя восклицания среди суматохи, поднятой дурными новостями.

— Так, значит, это правда, ночь была очень скверной и его святейшество не заснул ни на минуту?.. Колики, вам рассказывали? Но всего годы это очень, очень опасно и может убить его в каких-нибудь два часа... А что говорят доктора?

Ответа Пьер не слышал. Он только догадался о том, когда услышал ответ кардинала:

— О, доктора никогда ничего не знают! Впрочем, раз они ничего не хотят говорить, то значит — смерть близка... Боже мой, какое несчастье, если нельзя будет продлить жизнь хоть на несколько дней!

— Но вы правы, мой дорогой! — воскликнул Сангвинетти, обращаясь к Сантобоно. — Надо действовать ради спасения церкви... Невозможно, чтобы господь не помогал нам... нам, кто хочет лишь ему славы. Если это понадобится в последнюю минуту, он, конечно, сразит антихриста.

Тогда Пьер впервые отчетливо услышал голос Сантобоно. Он говорил грубым голосом, точно принял дикое решение:

— О, если небо опоздает, ему помогут!

После этого уже ничего нельзя было разобрать. До Пьера доносился лишь сдавленный шепот...

...Только около часу дня Пьер и граф Прада могли наконец позавтракать за одним из маленьких столиков того ресторана, где они назначили свидание. Обоих задержали их дела. Граф казался очень веселым: ему удалось весьма удачно уладить одно неприятное дело, и сам аббат, с новой надеждой в душе, забыл о всех горестях и наслаждался жизнью в этот прекрасный последний ясный день осени. Завтракали среди большого светлого зала, окрашенного голубой и розовой краской и совершенно пустого в это время года. На потолке летали нарисованные амур, на стенах пейзажи напоминали издали римские замки. Приятелям подавали свежее кушанье, они пили вино, приготовленное во Фраскати, со жгучим вкусом, как будто прежние вулканы оставили в почве часть своего пламени.

— Теперь уже половина третьего, до пяти часов у нас нет поезда в Рим, — сказал Прада, когда они окончили свой завтрак. — Знаете ли, что бы вам следовало сделать? Вернуться в Рим со мной, в коляске.

Пьер запротестовал:

— Нет, нет, благодарю вас тысячу раз! Я обедаю с одним своим другом, и мне нельзя опаздывать.

— О, вы не опоздаете, наоборот! Мы выедем в три и будем в Риме раньше пяти часов... На склоне дня нет более прелестной прогулки, чем эта; заход солнца, видите, будет великолепен.

Прада так настаивал, что аббат согласился, побежденный и его любезностью и веселым расположением духа. Еще час они провели в приятной беседе о Риме, об Италии, о Франции. На несколько минут оба поднялись во Фраскати, где граф хотел еще раз повидаться с каким-то подрядчиком; когда пробило три часа, они поехали легкой рысью, мягко покачиваясь на подушках экипажа. Действительно, возвращение в Рим по необъятной равнине Кампаньи, под чистым, безоблачным небом, под вечер ясного чудного осеннего дня, оказалось необыкновенно приятным.

Экипаж катился по равнине, оставляя позади Албанские горы. Направо, налево, прямо, вперед расстиралось море лугов и пашен.

Вдруг, выглянув из экипажа, граф воскликнул:

— Вон, смотрите, и наш Сантобоно своей собственной особой!.. Ишь, какой молодец, как шагает! Мои лошади едва могут догнать его.

Когда коляска наконец догнала его, Прада велел кучеру ехать потише. Он вступил в разговор с Сантобоно:

— Здравствуйте, аббат! Как поживаете?

— Отлично, граф. Благодарю вас!

— А куда вы так спешите?

— Я иду в Рим, граф.

— Как — в Рим? Так поздно?

— О, я буду там почти в одно время с вами. Я могу много ходить, а таким образом сберегаешь деньги.

Он не замедлял шага и только повернул голову, шагая рядом с экипажем. Прада, которого развеселила встреча, потихоньку сказал Пьеру:

— Подождите, он вас позабавит.

Потом он громко добавил:

— Если вы идете в Рим, аббат, присаживайтесь к нам: у нас есть свободное местечко для вас.

Немедленно, не заставляя повторять приглашение, Сантобоно согласился:

— С удовольствием, благодарю вас!.. Это еще лучше, потому что в экипаже не изнашиваешь ботинок.

Он уселся на передней скамеечке, отказавшись с грубоватой скромностью от места, предложенного ему Пьером, рядом с графом. Оба спутника увидели наконец, что в руке у него была маленькая корзинка, наполненная винными ягодами, хорошо уложенными и прикрытыми листьями.

Лошади прибавили рыси, коляска катилась по отличной, ровной дороге.

— Так, значит, вы шли в Рим? — снова спросил граф, желая втянуть Сантобоно в разговор.

— Да, да, я хочу отнести его высокопреосвященству кардиналу Бокканера немного винных ягод, последних в сезоне. Я обещал ему.

Сантобоно поставил на колени корзинку и придерживал ее обеими руками, жирными и мускулистыми, точно нечто хрупкое и очень редкое.

— А, знаменитые винные ягоды с вашего дерева! Правда, они сладки, как мед... Но поставьте же их, не будете же вы до самого Рима держать корзинку на коленях! Дайте мне ее, я спрячу в кузове.

Сантобоно заволновался, отказался и ни за что не хотел расстаться с корзинкой.

— Благодарю вас, благодарю вас!.. Она вовсе не мешает мне, так очень хорошо: я уверен, по крайней мере, что с ними ничего не случится.

Пристрастие Сантобоно к фруктам своего сада забавляло графа. Он толкнул колено Пьера и снова спросил:

— И кардинал любит ваши ягоды?

— О, граф, его высокопреосвященство благоволит обожать их. Прежде, когда он проводил лето в своей вилле, он не хотел есть с другого дерева. Поэтому, вы понимаете, мне ничего не стоит доставить удовольствие его высокопреосвященству, раз я знаю его вкус.

Однако Сантобоно бросил такой подозрительный взгляд на Пьера, что граф должен был представить их друг другу.

— Господин аббат Фроман как раз остановился во дворце Бокканера и живет там уже три месяца.

— Я знаю, я знаю, — спокойно сказал Сантобоно. — Я видел господина аббата у его высокопреосвященства однажды, когда я ходил к нему отнести ягоды. Только те не были так спелы. Эти — превосходны.

Сантобоно бросил любовный взгляд на маленькую корзинку и, казалось, еще сильнее сжал ее своими огромными загоревшими пальцами.

Наступило молчание.

Коляска все катилась и катилась по необъятной равнине Кампаньи. Дорога, прямо уходящая вдаль, тянулась, казалось, до бесконечности. По мере того как солнце опускалось к горизонту, еще резче бросалось в глаза вечное волнение равнины: по ней пробегали то свет, то тень, то зеленовато-розовые, то серо-фиолетовые отблески.

— Маттео! — крикнул Прада своему кучеру. — Остановись возле римской остерии¹.

Потом, обращаясь к своим спутникам, он сказал:

— Прошу извинить меня, я хочу узнать, нет ли там свежих яиц для моего отца. Он обожает их.

Они приехали, и коляска остановилась.

— Послушайте, господин аббат, не хотите ли выпить стаканчик белого вина? Я знаю, вы сами немного винодел, а здесь есть винцо, с которым следовало бы познакомиться.

Не заставляя себя упрашивать, Сантобоно, в свою очередь, спокойно вышел из экипажа:

— О, я знаю его: это вино из Марино; виноград растет там на более тощей земле, чем наши земли во Фраскати.

Сантобоно не оставил своей корзинки, взяв ее с собой, что раздражило графа.

— Послушайте, ведь она вам не нужна, оставьте же ее в коляске.

Аббат ни слова не ответил и пошел вперед.

Пьер тоже решил выйти из экипажа: ему интересно было увидеть итальянскую остерию, один из тех простонародных кабачков, о которых ему много говорили.

¹ Остерия — трактир, харчевня.

Когда все трое очутились за столом, Прада весело наполнил стаканы, несмотря на упрасивания Пьера, который, по его собственным словам, не в состоянии пить вино между завтраком и обедом.

— Ба, ба! Вы все-таки чокнетесь с нами... Не правда ли, аббат, это вино недурно?.. Ну, за здоровье больного папы!

Сантобоно, одним глотком опорожнив стакан, шелкнул языком. Он очень осторожно поставил корзинку возле себя, потом снял шляпу и глубоко вздохнул. Вечер был особенно хорош, с чистым, ясным небом, необъятным, нежным, золотистым, над бесконечным морем Кампаньи, засыпавшей среди царственного покоя. Легкое дуновение ветерка, пронесившегося по временам в неподвижном воздухе, было пропитано изысканным ароматом трав и полевых цветов.

— Боже мой, как здесь хорошо! — воскликнул совершенно очарованный Пьер. — Какое прелестное убежище вечного покоя, где можно забыть обо всем остальном мире!

Прада тем временем окончательно опорожнил графин, снова наполнив стакан Сантобоно. Все его внимание было поглощено теперь забавным происшествием, которое пока замечал лишь он один. Прада предупредил молодого священника веселым, лукавым взглядом, и теперь они оба стали следить за всеми перипетиями комедии. Несколько тощих куриц бродило по желтой траве, ища кузнечиков. Одна из них, маленькая, черненькая курочка, ловкая, проворная и очень нахальная, заметила корзину с винными ягодами и смело приближалась к ней. Однако, подойдя совсем близко, она испугалась и отошла. Она вытягивала шею, поворачивала голову, сверкала своими круглыми глазками. Наконец страстное желание победило; одна из ягод проглядывала сквозь листья. Курица не спеша подошла, высоко подымая свои лапки; вдруг она вытянула свою длинную шею и клюнула ягоду, из которой потек сок.

Прада, довольный, как ребенок, мог наконец не сдерживать душивший его смех:

— Не зевайте, аббат! Берегите ваши ягоды!

Сантобоно как раз кончал свой второй стакан, откинув голову назад, с глазами, устремленными в небо, полный блаженного довольства. Он привскочил, посмотрел

и понял все, увидев черную курицу. Сантобоно пришел в невероятное бешенство, отчаянно замахал руками, ужасно ругался. Но курица в ту же минуту вторично клюнула ягоду, не выпустила уж ее и унесла, хлопая крыльями; она так спешила и была так смешна, что не только Прада, но и Пьер хохотал до слез, в то время как Сантобоно в бессильной ярости погнался было за курицей, грозя ей кулаком.

— Вот видите, я говорил вам, что надо было оставить корзинку в коляске! — сказал граф. — Не предупреди я вас, курица съела бы все.

Не отвечая, глухо произнося проклятия, аббат поставил корзинку на стол. Он снял листья, снова искусно уложил ягоды, потом опять прикрыл их листьями и успокоился, поправив беду.

Пора было ехать: солнце опускалось к горизонту, ночь приближалась. Граф начал выражать нетерпение:

— Однако, что же там с яйцами?

Хозяйка не показывалась, и Прада пошел разыскивать ее. Он зашел в конюшню, в каретный сарай, но ее не было нигде. Тогда граф зашел за дом, чтобы поглядеть в сарае. Здесь совершенно неожиданное обстоятельство так поразило его, что он остановился точно вкопанный. На земле лежала черная курочка, мертвая, будто убитая молнией. Из клюва у нее сочилась еще тонкая струйка почти фиолетовой крови.

Сперва граф лишь удивился. Он нагнулся, потрогал курочку. Она была тепла, дрябла и мягка, словно тряпка. Вероятно, ее поразили солнечный удар. Но вдруг граф ужасно побледнел: истина неожиданно осенила его и заставила вздрогнуть. С быстротой молнии перед ним пронеслось воспоминание о болезни Льва XIII, о том, как Сантобоно бегал за новостями к кардиналу Сангвинетти, а затем, вот теперь едет в Рим, чтобы преподнести кардиналу Бокканера корзинку с винными ягодами. Он вспомнил и разговор по дороге из Фраскати о возможности близкой смерти папы, о вероятном кандидате на престол, о легендарных рассказах, о ядах, еще до сих пор держащих в страхе весь Ватикан; ему казалось, будто он вновь видит аббата сидящим в экипаже, с корзинкой на коленях, которую он охранял с отеческой заботливостью, и видит маленькую черную курочку, видит, как она клюет в корзинке и убегает с

винной ягодой в клюве, и вот маленькая курочка лежит перед ним мертвая, точно сраженная громовым ударом.

Прада сразу же убедился в справедливости своего предположения. Но у него не хватило даже времени подумать, как поступить. Сзади слышалось громкое восклицание:

— А ведь это та маленькая курочка! Что с ней?

Это был Пьер. Пока Сантобоно усаживался в коляску, он тоже захотел обойти вокруг здания, чтобы посмотреть на остатки античного водопровода в тени развесистой пинии.

Прада вздрогнул, точно его застигли на месте преступления; совсем не отдавая себе отчета, уступая какому-то инстинктивному побуждению, он сказал неправду:

— Она издохла... Представьте себе, здесь произошла целая битва. В ту минуту, когда я подходил, та вон, видите, курица бросилась на эту, чтобы отобрать у нее винную ягоду. Одним ударом клюва она пробила ей голову... Видите, кровь течет.

К чему он рассказывал это? Прада сам удивился. Быть может, он хотел остаться господином положения, никого не посвящать в отвратительную тайну и сохранить таким образом за собою право поступить по своему собственному усмотрению? В его душе сразу заговорил и стыд перед иностранцем и личная врожденная склонность к насилию, заставлявшая его восхищаться смелостью аббата, вопреки своим принципам честного человека. И, кроме того, графу хотелось хорошенько обдумать и взвесить все с точки зрения своих собственных интересов, прежде чем прийти к какому-либо определенному решению. Прада был действительно честным человеком, и, конечно, он не допустит, думалось ему, отравлять людей.

Пьер, сострадательный ко всяким живым существам, смотрел на курочку с тем чувством сожаления, какое вызывала в нем всегда внезапно прекратившаяся жизнь.

— Поспешим, поспешим! Теперь мы приедем в Рим лишь к ночи.

Когда они подошли к коляске, в ней уже сидел спокойно ожидавший их Сантобоно. Он снова уселся на переднюю скамеечку, сильно опираясь спиной о козлы, ноги его были поджаты, в руках он по-прежнему держал

маленькую корзинку с винными ягодами, необыкновенно искусно уложенными. Сантобоно так старательно охранял корзинку, что можно было подумать, будто в руках у него какая-то редкая и хрупкая драгоценность, которой может повредить малейший толчок на дороге. Его сутана выделялась большим черным пятном. На его грубом землистом лице крестьянина, преданного своей неплодородной земле, слабо облагороженном несколькими годами занятий богословием, казалось жили одни только глаза, темные, блестящие и полные жгучих страстей.

Когда Прада увидел его таким спокойным, он невольно вздрогнул. Как только коляска опять помчалась по прямой бесконечной дороге, граф сказал, обращаясь к Сантобоно:

— Ну-с, аббат, я надеюсь, выпитое винцо избавит вас от всякого злого поветрия. Если бы папа поступил по-нашему, он, конечно, избавился бы от своих колик.

Прада принял решение. Он подождет, пока совсем стемнеет, и тогда совершенно спокойно возьмет корзинку с ягодами и выбросит ее в яму, не произнося ни слова. Сантобоно поймет. Фроман, быть может, даже не заметит происшедшего. Впрочем, пусть бы и заметил. Прада все же решил не давать никаких объяснений по поводу своего поступка. Граф совершенно успокоился, когда ему пришлось в голову выбросить корзинку в момент проезда через ворота Фруба, в нескольких километрах от Рима. В темноте, царящей под теми воротами, все произойдет незаметно...

...Когда спутники очутились по другую сторону ворот, у Сантобоно по-прежнему покоилась на коленях корзинка с ягодами. Взмолнованный Прада смотрел на нее, спрашивал себя, что внезапно парализовало его руки, почему он не схватил ее, не выбросил в темноте. Ведь еще за несколько секунд до того, как они въехали под арку, он твердо решил привести в исполнение свое намерение. Он даже в последний раз взглянул на корзинку, чтобы хорошенько сообразить, какое движение ему придется сделать. Что же произошло с ним? Нерешительность все более и более овладевала им. Он не мог остановиться ни на одном решении, в глубине души чувствуя потребность подождать и прежде всего вполне удовлетворить самого себя.

Чего ради он будет спешить теперь, если Дарио уехал и ягоды не будут съедены ранее завтрашнего дня? Сегодня же вечером, думал граф, он узнает, расторгли ли конгрегация его брак, или убедится, насколько воздаваемая во имя господина справедливость неподкупна и прямодушна.

Конечно, он никого не позволит отравлять, даже кардинала Бокканера, чья жизнь так мало интересовала его, но с самого момента отъезда из Фраскати не является ли корзинка Сантобоно надвигающейся судьбой? И разве сознание того, что являешься хозяином этой судьбы, от которой зависит, позволить ли ей свершить свой смертоносный путь или не позволить, не доставляет гордого сознания своего всемогущества? Теперь графом овладела неприятная душевная борьба, он уже не рассуждал и сложил руки, убежденный, что бросит в ящик для писем у дверей кардинала письмо с предупреждением, прежде чем лечь спать. И все же ему было приятно думать, что он может не сделать и этого, если это будет выгодно ему.

Прада и Пьер могли видеть, как Сантобоно подошел к дворцу Бокканера, большие старинные двери были еще раскрыты. Они увидели, как на мгновение его длинная, тощая фигура прорезала густую тень дверей. Потом он вошел и исчез со своей корзинкой, неся решение судьбы.



Эгон Эрвин Киш

В середине XIX века во Франции появился лурдский «священный» источник, якобы исцелявший от всех болезней. Католическая церковь устроила из источника Лурда грандиозное предприятие. Миллионные толпы паломников и больных стекались отовсюду в Лурд, оставляя там последние деньги предприимчивым делягам-попам.

Против религиозного безумия, царившего вокруг Лурда, выступил известный французский писатель Э. Золя в своем романе «Лурд».

Наш современник, известный немецкий писатель (чех по происхождению) Э. Э. Киш в очерке «Я купаюсь в чудотворной воде» дал яркое разоблачение лурдского «чуда». Он показывает, как грязная вода лурдских бассейнов стала источником неиссякаемых прибылей для церкви, источником чудовищной заразы для больных и здоровых паломников, очагом самых темных и мрачных суеверий и религиозного фанатизма.

«Лурд» стал нарицательным именем для церковных «чудес», которыми обманывают народ.

Я КУПАЮСЬ В ЧУДОТВОРНОЙ ВОДЕ

Святая купальня находится тут же, рядом с гротом Мазабизель, где мать божия в блаженный год 1858 «явилась» четырнадцатилетней девочке, из уст которой все известно.

При третьем «явлении» Мария возвестила: «Приидите к сему колодезю, дабы пить и омываться тут». При этом она указала на kloкотавший в углу источник. Так сказано в книгах легенд, и с тех пор миллионы здоровых и больных паломничают в Лурд (Франция).

Для тяжелобольных есть купальный павильон с отделениями для женщин, детей и мужчин. Я хотел взять с собой трусики и полотенце, когда уходил из дому. Хорошо сделал, что не взял, ибо посещение «святой купальни» обставлено совсем особым образом.

Да и что за странная затея — брать туда с собой земные принадлежности!

Итак, мы, пришедшие пешком, сидим уже больше двух часов на переднем дворике, а все еще из купальни выносят на носилках больных. Кто раньше скулил, скулит и теперь; кто стонал, продолжает стонать; румянец не появился на желтых, помертвелых лицах, пустые глаза не стали выразительнее, губы дрожат, под грудями простынь ничто не шелохнется. Родственники опрометью бросаются к больным, с надеждой окликают их, всматриваются. Ничего...

Но надежды еще не все потеряны, святая дева может еще перед гротом милостиво склониться к страждущему, исполнившему ее завет, явившемуся издалека, чтобы испить этой воды и искупаться тут. После купания больного несут к святой «целебной» скале, носильщики громко молятся; родственники, тоже молясь, сопровождают носилки.

Мы не можем видеть грот, он находится за углом, примерно в пятидесяти шагах от нас. Но, если бы свершилось чудо, мы услышали бы ликующий крик спасенного и радостные вопли толпы.

Мы ничего не слышим.

Наконец очередь за мной. Занавес с инициалами лурдской богородицы откидывается. Вместе с тремя другими я вхожу в маленькую кабинку. Каменный пол грязен и влажен. Мы раздеваемся, сидя на скамье. Около

меня сидит уже выкупавшийся мужчина. Он, по-видимому, не может сам одеться. Тело его порывисто вздрагивает, руки не могут застегнуть пуговиц. Прислужник помогает ему.

В полу устроено три бассейна, но только средний наполнен.

Вверху видны две желтые медные трубы. Они закрыты. В эту стоячую воду я должен теперь погрузиться. В ней сегодня (по меньшей мере сегодня) купались все явившиеся сюда на носилках, в больничных креслах и пешком.

Источник в гроте поставляет за день сто двадцать два гектолитра. Тысячи людей ежедневно пьют эту воду и наполняют ею свои жестяные фляжки. Кроме того, святая вода рассылается по всему свету. Давно уже слышится упрек, что жаждущим чуда вместо воды священного источника преподносится вода из реки Гавде-По. Церковные власти, однако, утверждают, что излишек воды поступает из резервуара у церкви «Венца роз».

Честь и слава резервуару! Невозможно, впрочем, заставить кого-нибудь поверить, будто этих запасов достаточно, чтобы заново наполнять бассейн после каждого купания. Итак, воду не меняют, мы вседолжны в нее лезть — здоровые и больные, чистые и нечистые. Заразные, пораженные накожной сыпью, допускаются только якобы к концу купания. Сердечные и чахоточные вообще не имеют права купаться. Но это может относиться только к тем, которых приводят из госпиталя. Кто является сам, не обязан подвергаться никаким осмотрам. Меня никто не исследовал.

На груди у моих товарищей по купанию блестят медальоны. Долговязый ирландец первым подходит к бассейну. Служители подходят к нему справа и слева, но вдруг он кричит: «Нет!» Он отворачивается: «Нет!» Его лицо, все его тело сопротивляется, и никто не в состоянии представить себе, какая безграничная сила может таиться в трех буквах: «Нет!»

Он вспоминает, что проделал такой далекий путь — и только для того, чтобы принять эту ванну. Не преодолеть ли на секунду отвращение? «Нет! — стонет он себе в ответ. — Нет!»

В нашем тесном помещении его протест, это «нет»

парализует нас больше, чем раньше вопли больных на дворе.

Купальные холопы девы Марии пожимают плечами. Попытки посетителей убежать, по-видимому, привычны им, и они подзывают следующего. Это я. Я подхожу в рубашке к бассейну. Мне дают передник. Я его надеваю. Он влажен: сколько больных надевало его до меня и какие больные! Увы, мои трусики дома. Теперь я имею право снять рубашку — целомудрие до последнего мгновения! — ее бросают на скамейку, где лежал передник.

— Молитесь, как написано там, на доске, — говорит служитель и указывает на один из четырех плакатов, висящих над бассейном.

В тот же миг две пары рук хватают меня железной хваткой и, пока мужчины читают молитву, написанную на правой доске (слева испанский, в середине английский и французский тексты), меня стаскивают по трем ступенькам в холодную мутную воду и окунают так, что вода мне доходит до рта. Они стоят в боковых пустых бассейнах и тянут мое тело вниз, а подбородок вверх, они молятся со мной; я гляжу оцепенело на молитвенную доску.

Один подает крошечную статую Марии, которую можно получить в лурдских магазинах за один франк. У меня нет времени подумать, почему они не покупают статуи побольше, например за два франка. Все больные должны после купания целовать эту статуэтку. Оба служителя помогают мне подняться по ступенькам. Один из них хватает мою рубашку. Увы, мое полотенце осталось дома, нет полотенца, да и нельзя вытирать святую воду! На меня набрасывают рубашку и, так как приличие уже соблюдено, снимают передник.

«Нет!» — лепечет долговязый ирландец. Лицо его еще искажено, нижняя губа свисает с отвращением, взгляд блуждает по мне — не видать ли смерти или исцеления? Его «нет» становится тише. Ужас постепенно спадает, и наконец ирландец тоже дает погрузить себя в чудотворную воду.

Наши босые, мокрые ноги ступают по полу, по которому раньше мы ходили в башмаках. Мокрая грязь прилипает к пятке. Полотенца нет — что свято, то свято! Чулки на грязь, костюм на мокрое тело — ведь еще многие ждут.

Мы идем к гроту. Там происходит заключительный акт водной церемонии. Навстречу попадают на носилках наши товарищи по несчастью. Из грота их несут туда, откуда они явились, — в госпиталь. Их лица стали еще желтей, еще бледней, груды простынь не шевелятся.

Того, кто умирает в госпитале, родственники либо везут на родину, либо хоронят тут же, на кладбище, в общих могилах, — вот единственное общественное место Лурда, о котором не поднимают много шума и куда не водят паломников. Там слишком легко могла бы зародиться догадка, что святая Мария слишком немилостива в этом приюте.

Предостерегающие надписи на всех углах: «Смотри за кошельком!», «Остерегайтесь карманных воров!» Церковь предостерегает: следите за своими деньгами, вы можете их употребить получше — есть мессы, на которые можно жертвовать, можно платить за вечную лампаду, за афишки, можно купить священные свечи.

Всемогущая не может помешать в своих владениях карманному воровству. Она даже не может добиться того, чтобы наживающиеся на ней самой купцы соблюдали воскресный день.

Несколько лет назад одному специалисту пришлось по долгу службы исследовать чудотворную воду. Чтобы не испортить своих отношений с духовенством и напрямик не оспаривать мнимых исцелений, он написал в своем отзыве, что эта простая вода, «возможно, содержит пока не обнаруженные минеральные элементы лечебного свойства».

Но тут ему солоно пришлось. Во-первых, мать божия не нуждается в лечебных жидкостях, во-вторых, исцеление минеральной водой не было бы чудом и, в-третьих (самое важное), после такой экспертизы государственное курортное управление имело бы право взять лурдский источник в свое ведение.

После него составить отзыв было поручено другому должностному врачу, и тот установил, что в лурдской воде нет никаких лечебных веществ. Этим церковь была удовлетворена: вода, исцеляющая рак, слепоту и искривления позвоночника, восстанавливающая потерянные конечности, — это совсем простая, а значит, чудесная вода.

Взоры молящихся с мольбой обращены к гроту, все ждут, не появится ли Мария, как она явилась Бернадетте Субир. Но из миллиона паломников никто еще не удостоился лицезреть живую Марию.

Несколько месяцев назад умер брат Бернадетты, ее последний кровный родственник, и тотчас после этого в Риме ее причислили к лику святых. Ее семья не пользовалась в приходе большим уважением. Не многим святым приписывается так мало добрых деяний, как Бернадетте.

Как это вообще случилось, что у нее были видения? Идя вместе с двумя другими детьми собирать валежник, она близ грота Мазабизель подошла к речушке. Из-за трех шагов брода Бернадетта не захотела снимать туфли и чулки. Она потребовала от спутниц, чтобы те перенесли ее, но они и не подумали это делать, обругали ее лентяйкой и побежали дальше. Когда же девочки вернулись, Бернадетта поступила так, как поступает в подобных случаях ребенок: досадила своим товаркам, рассказав им, что она увидела нечто чудесное и прекрасное. Об остальном позаботилось духовенство.

В музее Бернадетты висит гипсовая маска тогдашнего лурдского священника — дебелое, хитрое лицо. Несомненно, аббат Пейрамаль еще не был таким дебелым в то время, когда его прихожанка встретила богоматерь, но хитер он был уже тогда. Он никогда сам не ходил к гроту, обо всем советовался с Бернадеттой и со своим епископом.

За несколько лет перед тем в деревне Ла-Салетт появилась мать божия, чтобы выступить с речами против зарождавшегося социализма и против стачечного движения: «Если мой народ не хочет покориться и смириться, сын мой снимет длань свою с вас... Я приказала вам шесть дней трудиться, седьмой да будет посвящен богу...»

Политические партии соответственно ответили на божественное вмешательство в земные дела. Церкви явно не везло в разгоревшейся дискуссии. Два пастушка, мальчик и девочка, были главными свидетелями явления богородицы, но, преисполненные ревности, они противоречили друг другу в своих рассказах. Девочку отправили в монастырь; мальчика, много лишнего болтавшего в трактирах, сплывили в полк зуавов.

Вскоре после этого два местных аббата, Делсон и Картелье, были отлучены от церкви якобы из-за проступков частного характера, и тогда-то они разоблачили все: видение было сплошной комедией, они даже назвали по имени даму, разыгравшую роль святой девы, и указали ее адрес.

В день рождения священника Пейрамаль Бернадетту отправили в грот последний раз. Это была ее важнейшая встреча с «богоматерью».

Слова «Я есмь та» явившаяся святая дева произнесла якобы на наречии басков, для того чтобы лурдский ребенок ее понял, но следующие слова никак не могли быть понятны ребенку. Она сказала: «Я есмь беспорочное зачатие».

После этого мать божия, как бы она этого ни хотела, не должна была больше видеть ребенка в гроте.

Священник навсегда запретил Бернадетте ходить туда. Ее отправили в Неверский монастырь и, даже когда она заболела чахоткой, не пустили к источнику, хотя в то время туберкулезным позволяли там купаться. Бернадетта умерла молодой, со словами: «Я великая грешница».

Но лурдское дело процветало. Почти всякий уважающий себя пиренейский грот был приютом языческого или христианского культа. Почему же мазабиэльский не мог пригодиться для этого? (Впоследствии в нем был обнаружен древний квадратный камень — алтарь, посвященный Венере!)

Ханжи-горцы с самого начала считали куда более вероятным, что маленькой Субир явилась в гроте мать божия, чем то, что ей там никто не явился. Итак, они отправились туда вместе с ней. Правда, увидеть «богоматерь» не пришлось, зато они видели, как Бернадетта в экстазе ела траву и окропляла себя водой источника. Они осенили себя крестным знаменем при виде этого и впали в религиозное опьянение; иные, напротив, стали танцевать и лезть на скалу, а это доказывало, ясно как день, что они одержимы дьяволом, стремящимся нарушить покой Марии в ее обители.

Начальник тарбской полиции запретил посещение грота, но прихожане Лурда и окрестностей не обратили никакого внимания на запрет и опрокинули сооруженную там дощатую перегородку. После же того, как

церковь признала чудотворность воды, светские власти, конечно, отменили запрет.

Шаг за шагом вереница людей движется через грот. Железное дерево служит подсвечником, сто шестьдесят тысяч свечей ежегодно сгорают на нем дотла. Справа скала стала от поцелуев похожей на черный лед. Громадная корзина служит ящиком для писем в потусторонний мир. Туда опускаются письма к мадонне. Затем их сжигают, и это значит, что они отправляются к месту назначения; почтовые расходы уплачиваются у выхода из грота; огромная церковная кружка стоит там, как шлагбаум.

Трещат свечи, каплет воск, запах его одуряюще смешивается с ладаном и запахом пота — некоторые паломники выполняют обет не снимать рубашки шесть недель до паломничества. Однообразно гудят молебствия. Это молятся те, кто променял свое земное блаженство на «лучший» потусторонний мир, те, кто подчиняется начальству.



Андрей Упит

Рассказ современного латышского писателя А. Упита «Обращенный» показывает роль церкви в колониях, где она освящает грабеж колоний империалистическими державами, жесточайший произвол белых над цветными народами. Упит пишет об Африке, угнетаемой империалистами. Бруцидия и Люцидия — названия вымышленных государств. Этим приемом автор хочет создать обобщенный образ колониального грабежа. Так происходит повсюду в колониях, находящихся во власти американского, английского, французского или какого-либо другого империализма.

Используя отцов-миссионеров, прививая веру в «белого бога» вместо идола или крокодила и одновременно сжигая, расстреливая, пытая чернокожих, империалисты тщетно пытаются добиться покорности народов колоний, которые поднимаются на борьбу за свое освобождение.

Рассказ печатается с сокращениями.

ОБРАЩЕННЫЙ

1

Мать кормила грудью маленького братца, собирала птичьи и муравьиные яйца по кустам и ловила в реке рыбу. Отец пас коров в долине Ньянга и в обществе своих соплеменников ходил к Далекому озеру, где в береговых зарослях водились большие вкусные змеи, а на равнинах жили богатые племена. Бывало не раз, что они возвращались оттуда с большой добычей, но случались и такие дни, когда они приходили с разбитой головой и кровоточащими ранами от стрел на спине. В удачные дни отец отправлялся к большому дереву на берегу Ньянга, доставал из дупла небольшую стекляшку, в которой сидел такой же человек, как и он, подвешивал ее на полоске коры к ветке и принимался есть. Человек в стекляшке тоже ел, и ему было хорошо. Когда же отец возвращался с израненными ногами, окровавленной головой и спиной, человечек в стекляшке морщился, выл, и ему было тяжело. В наказание его мазали грязью и бросали в дупло, прикрыв сверху тяжелым камнем. В таком положении он был вынужден оставаться до тех пор, пока отцу снова не улыбалась удача, которая заключалась в том, чтобы завладеть на берегу Далекого озера коровой, топором, клыком слона или большой желтой пуговицей, за которую давали две коровы, лодку или превосходнейший металлический горшок для черпания воды и варки пищи.

Сам он был еще маленький и бессильный. Кожа его еще не успела приобрести блестящую черноту взрослых. Круглый животик казался ему особенно тяжелым в те дни, когда не удавалось стащить ничего съестного в шалаше отца или соседей. Поэтому он ел даже то, от чего отказывались взрослые, а в тяжелые времена питался кожурой плодов и костями, выброшенными в кусты. Для его зубов не существовало ничего слишком твердого, а желудок не знал неперевариваемых вещей. Он мог пробраться сквозь самую густую и колючую чащу, броситься в реку и глубоко нырнуть, когда его преследовали, незаметно подкрасться и высосать самую норовистую корову и укусить руку матери так сильно, что она заживала не раньше, чем луна два раза округлится и снова растает.

Однажды ему посчастливилось украсть зеленый платок. Повязав им, по примеру взрослых, бедра, он два дня ходил по деревне, вызывая восхищение и зависть других ребятишек. Но затем взрослые отобрали у него платок, и снова он остался таким же голым, как и все остальные. Большую часть своего времени они проводили, сидя на берегу реки, около самой воды, и с дубинкой в руке дожидаясь, не подплывет ли на расстояние удара какая-нибудь рыба. Когда кончались большие дожди и прибрежный песок становился на некоторое время ровным и твердым, они уходили вниз по реке до водопада. Там находилось то место, где взрослые однажды выловили из разбитой лодки белую женщину и съели. Такие вещи случались последнее время крайне редко, и говорили они об этом как о величайшем событии за всю их жизнь, воспоминание о котором могло сохраниться разве только у наиболее старших представителей племени.

2

Все они видели диковинные лодки с белыми людьми, отправлявшиеся в сторону Далекого озера. За последнее время лодки начали останавливаться против их селения, и белые люди выходили на берег. Ребятишки постепенно привыкли к ним до такой степени, что стали выходить из-под прикрытия кустов и решались смотреть на них. Все они были съедобны, однако есть их не следовало. У белых были такие чудесные палки с огнем и треском, от которых звери валились и оставались без движения, птицы падали с неба, а ребятишкам приходилось бросаться ничком на землю и завывать во весь голос. Среди белых попадались и такие, что говорили на каком-то диковинном языке, но его можно было понять. Они требовали и брали все, что приглянется: клыки слона, страусовые перья, змеиные шкуры, расплачиваясь цветными платками и всевозможными другими вещами, блестящими и красивыми.

Белых приезжало все больше. Было известно, что где-то на Ньянге они построили селение, состоявшее из домов невиданных размеров, с железными крышами и отверстиями в стенах. Оттуда они отправлялись вверх и вниз по реке, наведывались к туземцам чуть ли не ежедневно и, обходя все шалаши, отбирали то, в чем

нуждались и что не было принесено добровольно. В конце концов они приказали, чтобы каждый чернокожий сам приносил им свою долю, а тех, кто этого не исполнял, привязывали к деревьям и хлестали плетями. Если кто-нибудь пробовал сопротивляться, то, подобно зверям и птицам, валился от их трескучих палок наземь и оставался без движения. Отобрав наиболее молодых и сильных, они увели их в свое селение и заставили нагружать лодки, строить дома и вырубать колючий кустарник. Многие, убегая от них, переплывали реку и скрывались в недоступной чаще, где не было воды и водились большие муравьи. Но белые люди сумели отыскать их там. Женщин и детей оставили, коров угнали, а мужчин связали железными веревками и увели с собой.

3

Он тем временем успел подрасти и собирался вместе со взрослыми на Далекое озеро. Однако теперь это было невозможно. Туда явились белые люди и установили строгий надзор. Непокорных избивали плетями, а послушных угощали жгучей водой, от которой те становились счастливыми и бесконечно веселыми. Ему тоже удалось отведать чудодейственной воды. Сначала он почувствовал себя бесконечно счастливым, но затем началась рвота и страшная головная боль. Тогда он отправился к большому дереву и залепил грязью дупло, где лежала стекляшка с человеком, который перестал им помогать.

К тому времени, когда начались большие дожди, белые привели с собой старого человека с покрытым длинными белыми волосами лицом. У этого не было трескучей палки, не было сначала и плети. На шее он носил блестящую цепочку с желтым предметом, представлявшим собою две скрещенные палочки. Старик говорил довольно понятно, был приветлив и услужлив. Когда подвергнутых наказанию отвязывали от дерева и они катались по земле, испуская дикий вой, он отгонял от них мух и других хищных насекомых и смазывал раны маслом, от которого боль быстро утихала. Павших от трескучих палок он приказывал закапывать в песок, причем сам стоял около ямы и, устремив глаза вверх, говорил до тех пор, пока слезы не начинали капать из его глаз и падать на белые волосы. Когда белые люди

гнали со стороны Далекого озера целую толпу связанных железными веревками чернокожих, он стоял на краю дороги с поднятыми вверх руками и не опускал их до тех пор, пока мимо него не проходил последний пленник. Мужчинам он дарил черные и желтые кольца для ношения на ногах, а женщинам — белые и голубые платочки для набедренных повязок. Всем девочкам, обычно копошившимся в песке вперемежку с мальчуганами, он подарил переднички и строго наблюдал, чтобы они не ходили голыми. Ребятишкам он вообще уделял много времени. Показывал красивый складной нож, который одним взмахом разрезал самый твердый тростник, маленький блестящий шип с длинным хвостом, при помощи которого два куска материи с невероятной быстротой превращались в один, крошечные палочки, выплевывавшие при малейшем трении чистейший огонь, и много других загадочных, но крайне любопытных вещей. Рассказывал о странах, где живут одни лишь белые люди, и о городах, где дома еще выше, нежели здесь, в селении, где ездят на огневых колесах и огневых лодках. Дети перестали убегать, смеялись и прыгали вокруг него. Понемногу они совсем привыкли к старику и прозвали его Косматым Болтуном.

4

Среди других диковинных вещей у Косматого Болтуна были странные предметы со множеством испещренных точечками и связанных вместе листов, в которые он иногда подолгу всматривался. Разглядывая их, он временами принимался говорить с таким видом, словно листы понимали его или задавали ему вопросы. Потом, наговорившись досыта, он становился на колени и, шевеля губами, смотрел вверх, словно надеясь увидеть там что-то. Ребятишки также становились на колени и тоже смотрели вверх, но, ничего не видя, начинали переглядываться и со смехом убегали от Косматого Болтуна, у которого был очень забавный вид. В таких случаях он хмурил брови, сердился и даже угрожал, но бить их еще не решался, и поэтому они снова возвращались к нему.

Косматый Болтун, кроме того, обладал даром говорить так же, как говорили белые люди. Ребятишки еже-

дневно заучивали по одному слову и вскоре оказались в состоянии хоть отчасти понимать, о чем белые разговаривали между собой. Тогда Косматый Болтун объяснил, что каждая из точек на его листах имеет свою форму и каждая обозначает какой-нибудь звук. Если же их произносить одну за другой, то получаются целые слова на языке белых. Это было очень смешно, и дети учились охотно. Они понимали, что листы могут говорить, хотя и не имеют голоса.

Все эти листы рассказывали о существе, которое не было ни белым, ни черным, ни человеком, ни слоном, ни змеей, однако обладало чудовищной силой. Оно было сильнее человека в стекляшке, сильнее огненной пули, прилетавшей подчас во время дождей с облаков и раскалывавшей громадные деревья, которые поднимались высоко над кустарником. Это было грозное существо, сердившееся не столько на белых, сколько на чернокожих. Особенно гневалось оно на то, что чернокожие считали самыми могущественными существами Большую змею и Крокодила и кормили или облепляли грязью человечка в стекляшке; а в наказание за то, что они некогда съели белую женщину, оно развело где-то громадный костер, на котором собирались изжарить и сварить всех чернокожих. Сын этого существа, повешенный на дереве и оставшийся чудесным образом в живых, питал горячую любовь к людям — к белым больше, к чернокожим меньше. Но для того чтобы удостоиться этой любви, людям полагалось носить на шее такой же предмет, какой носил Косматый Болтун, становиться на колени, складывать руки и смотреть вверх. Дети проделывали все это с охотой и в конце концов так привыкли, что даже смеяться перестали.

5

Тот, с кого мы начали нашу повесть, был уже не он, а Пауль Бернгард. Косматый Болтун плеснул ему на голову воды и дал ему имя. Теперь он уже не имел права ходить голым. Его одели в белые штаны и блузу и подарили ему такую же шляпу с широкими полями, какие носили белые. К штанам он долго не мог привыкнуть, потому что они щекотали и мешали при ходьбе. Предметом его гордости перед другими ребятами

была шляпа, с которой он не расставался, даже укладываясь спать. Косматый Болтун ставил его в пример другим, потому что он скорее усваивал все, что от него требовалось. Он знал, что такое книга, умел читать по ней и разговаривать с белыми на их языке. Он всегда помнил, что Косматый Болтун — вовсе не Косматый Болтун, а отец Бенедикт, которому надлежит целовать руку, потому что прислал его к ним сам Великий и Сердитый. Отец Бенедикт мог быть не менее сердитым и жестоким, чем его старый повелитель, но предпочитал, по его собственным словам, следовать примеру младшего. Пауль Бернгард знал не только как они оба называются, но также и то, что они сотворили землю и смастерили белого человека из глины, а черного — из грязи Ньянга. Выяснив на опыте, чем можно заслужить благосклонность отца Бенедикта, он не только по утрам и вечерам, но часто и среди бела дня становился на колени, складывал руки и, глядя вверх, шевелил губами; он всегда старался проделывать это в таком месте, мимо которого должен был пройти отец Бенедикт. Но однажды это похвальное усердие довело его до беды.

Отец Бенедикт провожал белого начальника до берега, где тот сел в лодку и приказал четырем чернокожим отвезти себя на ту сторону. Возвращаясь, отец Бенедикт заметил Пауля Бернгарда, который стоял за кустом на коленях со сложенными руками и смотрел вверх, усиленно шевеля губами. Довольная улыбка озарила морщинистое лицо отца Бенедикта. Долго смотрел он, умиляясь на то, что семя Христова приносит такие богатые плоды даже среди колючего кустарника далекой Африки. Затем подошел к Паулю и положил руку на его курчавую черноволосую голову:

— Это хорошо, сын мой. Там, наверху, за звездами, пребывает он. Ты его не видишь, но он видит как тебя, так и всех других. Ничто не скроется от глаз его.

Пауль Бернгард лукаво прищурил глаза и еще больше запрокинул голову:

— Нет, отец Бенедикт, я вижу его.

На мгновение отец Бенедикт онемел от неожиданности.

— Ты видишь его?

— Да, да! Так же ясно, как тебя и начальника в лодке.

Бессовестная ложь привела Бенедикта в ярость. Однако он сдержался, решив подвергнуть чернокожего мерзавца основательному испытанию.

— Каков же он собой?

Пауль Бернгард всмотрелся еще пристальней, словно стараясь получше разглядеть:

— Такой же, как и ты, только борода у него длиннее и более взлохмачена. Вероятно, он забыл ее утром расчесать.

— Так, так... И что же он делает?

— Он курит.

— Курит?

— Да. Курит трубку, которая больше нашей водочерпалки. А воняет от нее еще хуже, чем от трубок белых воинов. Неужели ты не чувствуешь этой ужасной вони?

Пальцы отца Бенедикта вцепились было сами собой в черные волосы Пауля, однако он снова заставил себя сдержаться и опустить руки. Этого чернокожего мерзавца нужно было испытать всесторонне.

— Да, да, я чувствую. Но что же он еще делает?

— Он как раз дает пинка ногой одному белому человеку, и тот летит кувырком, как мой отец вчера. Он так силен, что белые ничего не могут с ним сделать.

Но тут терпению отца Бенедикта пришел конец. Вцепившись левой рукой в шевелюру мальчика, он правой вытащил из-под рясы плетъ с мелкими гвоздиками на конце и принялся хлестать ею ученика, приговаривая с бешеной яростью:

— Вот тебе, окаянное исчадие ада! Ничего ты не видишь и ничего не можешь видеть! Вот тебе, одержимый дьяволом лгун! Тело твое столь же черно, как и поганая твоя душа. К дереву тебя надо привязать ногами кверху и бить, пока от тебя не останутся одни лохотья, а затем вышвырнуть в пищу муравьям...

Он перестал лишь после того, как почувствовал полное изнеможение. Тяжело отдуваясь, он сел на землю и велел Паулю Бернгарду принести воды, которую пил пополам с ромом. Утолив жажду и немного отдохнув, он приказал грешнику стать на колени и выслушать назидательное поучение.

— Ты совершил тяжкое преступление против бога, которого ты, поганый червь, не видишь и не мог видеть, и против меня, старого и не способного к труду человека.

Погляди только, как я вспотел и как сильно колотится мое сердце от гнева. По твоей вине я утомился и подверг опасности свое здоровье, которое стоит больше, чем десять жизней чернокожих дьяволов. Полученная тобою порка — слишком легкое наказание, и поэтому вечером и завтра утром ты получишь еще, а потом дашь обещание раскаяться и исправиться.

В таком духе он говорил до тех пор, пока Пауль Бернгард не дал обещания исполнить все, что от него требовали.

6

Обычно отец Бенедикт усаживался на верхушке бугра и собирал вокруг себя детей. Пауль Бернгард сидел у его ног, а остальные немного поодаль с наветренной стороны, так как отец Бенедикт не переносил их запаха. Простерев к ним руку, он говорил:

— Блаженны смиренные, яко землю обрящут. Аминь. Не эту землю, на которой вы теперь живете и которую зовете своей. Земля эта вместе со всеми вами принадлежит императору Люцидии, величайшему после бога правителю в мире. Ваши вожди, ваши начальники и я сам перед лицом его — такое же ничтожество, как комар перед слоном. Вы же, все прочие чернокожие поганцы, — только пыль на его стопах. Счастливым должен себя считать раздавленный его благословенной стопой. Счастливыми должны вы почитать себя при мысли о том, что он прислал своих воинов, чтобы приучить вас к порядку и послушанию, что он прислал меня, вырывающего ваши души из когтей дьявола и вечной гибели и указывающего вам дорогу в ту сторону, которой достойны одни христиане.

А что, между тем, делаете вы, неблагодарные собаки? Разве я не слышу ропота на тяготы, которые возложены на вас ради вашей же пользы? Разве не нашли еще на прошлой неделе среди кустарника двух зверски умерщвленных и ужасно изуродованных люцидийских воинов? Какое значение имеют те двести жизней чернокожих мерзавцев по сравнению с двумя воинами его величества? Вас следует мечом стереть с лица земли, как стер в свое время Израиль амалекитян. Но долготерпеливы и милостивы наши сердца. Мы расстреляли две сотни, и с нас достаточно. Но зато в следующий раз

и тысячи будет мало. Все ваши шалаши мы сожжем и сровняем с землей. Зарубите себе это на носу и скажите взрослым.

Мы находимся здесь во имя господа и его величества императора Люцидии и не уступим ни пяди этой освященной нашей кровью земли, которую собираются оттягать у нас бруцидийцы. Вы думаете, я не знаю, что многие среди вас смотрят в сторону Желтых гор, дожидаясь, когда явятся эти упрямые глупцы? К счастью, среди вас есть обращенные мною братья, сохраняющие нам верность и передающие все, что вы замышляете на ваших тайных собраниях. Благословение господне и награда императора не минуют их.

Вчера я сказал вам: любите друг друга и всех людей, как братьев своих. Но я упустил кое-что и сегодня восполняю пропущенное: ненавидьте бруцидийцев, желающих захватить весь мир в свои руки. Берегитесь их больше чумы и прочих напастей. Господь посылает лучи своего солнца и добрым и злым, но Бруцидию он окутал пеленой густого тумана, сквозь который не проникает ни солнце, ни дождь. Он покарал бруцидийцев, дав им язык, которого никто не понимает и которому никто не может научиться. У бруцидийца — всего один глаз и такой же величины, как воловий. На том месте, куда падает плевок бруцидийца, из земли выползает змея. Берегитесь бруцидийцев! И, если услышите разговоры и шушуканье о бруцидийцах, немедленно идите ко мне и докладывайте, чтобы предатели понесли заслуженное наказание. Если же вы этого не сделаете, то не видать вам царствия божьего как своих ушей.

Такими и подобными речами отец Бенедикт обращал их на путь истинной веры и добродетели. Но из числа всех обращенных Пауль Бернгард был самым послушным и энергичным, и поэтому отец Бенедикт любил его больше всех и ставил его в пример другим.

Религия и культура быстро распространялись по всей долине Ньянга — от самого моря до Далекого озера и Желтых гор. Над водопадом, где была съедена белая женщина, воздвигли большой крест и рядом с ним поставили столб, к которому каждое воскресенье с утра

привязывали чернокожего и пороли до тех пор, пока он не переставал выть и шевелиться. Для согнанных насильно зрителей отец Бенедикт произносил пространную нравственно-назидательную речь о страшном грехе людоедства, и действительно на всем протяжении от моря до Далекого озера и Желтых гор за последнее время не было отмечено ни одного подобного случая. После того как изловили несколько десятков похитителей женщин и утопили в реке около сотни скотокрадов, прекратились также разбойничьи походы к Далекому озеру. Отец Бенедикт сумел вдолбить обращенным понятие о святости частной собственности на основе кодекса римского права.

Чернокожие усердно трудились в золотых россыпях верховьев Ньянга, свинцовых коях на склонах Желтых гор, на кофейных и хлопковых плантациях, на строительных работах в селении белых и на погрузке кораблей и лодок. Отец Бенедикт пускал в ход все свое красноречие, убеждая чернокожих в благодати труда и необходимости развития торговли и промышленности государства Люцидийского. Все без исключения чернокожие мужчины носили штаны, а женщины и девочки ходили в передниках. Беспреданно браня и поучая свою паству, отец Бенедикт сумел пристыдить ее и научить разбираться, что допустимо и что нет. На наиболее возвышенном месте ньянгского берега была построена церковка, где по воскресным утратам собирались обращенные чернокожие исповедоваться, каяться и возносить молитвы богу за его величество императора Люцидии, короля пергонийского и заступника всех чернокожих. Отец Бенедикт привил им чувство глубокого патриотизма и любовь к своим господам и повелителям, пользуясь чаще ласковым убеждением, чем плеткой, и подходя к своей пастве не с гневом, а с сердцем, преисполненным христианской любви. Трогательно было слышать, как среди лесистой африканской равнины послушная толпа чернокожих распевала священные псалмы во славу господню и в честь люцидийской культуры.

Однако интриги бруцидийцев тем временем продолжались, мешая делу распространения христианской культуры. Все чаще и чаще стали поступать известия об опустевших за ночь селениях, жители которых уходили по ту сторону Желтых гор. Попадавших в плен, разумеется, постигала беспощадная кара. Старух и ребята-

шек пристреливали. Скот и все имущество зачисляли в доход казны, а более крепких мужчин подвергали жестокой порке и, закованных в цепи, сгоняли в казармы при селении белых, где приставляли к самой тяжелой работе. Однако побеги и всевозможные проявления недовольства не прекращались. На ниву, которую отец Бенедикт засеял Христовым семенем, ночью приходил сатана и разбрасывал семена зла и порока. И однажды вспыхнул открытый мятеж. Чернокожие дьяволы напали на воинов его величества и перебили всех, кто попался им в одиночку или вдвоем. Вырезали надзирателей в копиях и золотых россыпях, разбили машины, подожгли строения, потопили в Ньянге нагруженный слоновой костью и другим ценным товаром корабль, предназначенный в подарок наследному принцу по случаю его бракосочетания, и вообще причинили государственному казначейству Люцидии убыток в несколько десятков миллионов.

К возмездию и восстановлению порядка удалось приступить только после того, как с далекой родины белых прибыли три транспорта с войсками и боевыми припасами. Но зато чернокожие и почувствовали, что означает европейская культура. Целая треть их была уничтожена огнем и мечом. Желтые воды Ньянга окрасились в алый цвет. Всплывавшие на поверхность трупы вереницами плыли на волнах в сторону Далекого озера. Стервятники и другие питающиеся падалью птицы, нажравшись до отвала, лениво покачивались на ветках колючих деревьев. Львы и гиены с окровавленными мордами сонно плелись мимо людей, не обращая на них внимания. Рев хищников по ночам заглушал вой людей, привязанных над муравейником головой вниз и извивающихся от боли, а небо до самого утра озарялось отблеском пылавших селений.

Матери Пауля Бернгарда проткнули штыком брюхо, а затем бросили в реку. Младшему братишке бородатый капрал раздробил голову ударом о камень. Отец попал в число тех, что извивались и завывали над муравейниками. Самого Пауля Бернгарда спас отец Бенедикт, уведя его в селение белых. Он же, неблагодарная тварь, сопротивлялся, кусался и царапался, как юный щенок, которого отнимают от матери. Отец Бенедикт был вынужден принять столь суровые меры, что три дня и три

ночи Пауль Бернгард провалился в углу тюрьмы, не будучи в состоянии подняться.

Его сделали слугой в доме коменданта. Ему пришлось чистить сапоги, выносить ночные горшки, выносить ящериц из спальни, а в случае какого-нибудь праздника приносить вино из подвала и стоять без движения, когда пьяные офицеры шипали его или пробовали новую плетть на его спине. В таких случаях отец Бенедикт, употреблявший только воду с примесью рома и сохранявший поэтому ясную голову, начинал утешать и вразумлять его:

— Не огорчайся, сын мой. Всякая власть от бога, и мы должны подчиняться ей. Мы должны слушаться как добрых, так и суровых господ. Почему ты морщишься и ворочаешь своими безобразными глазами? Что значит эта легкая телесная боль по сравнению с сознанием, что твоя душа вырвана из когтей дьявола и ты вместе с христианами войдешь в царство небесное! Радуйся и ликуй, мой сын, и лобызай стопу поучающего тебя.

Пауль Бернгард запомнил это поучение. Постепенно забыл братишку, которого убил бородатый капрал, хватив головой о камень, проколотую штыком и брошенную в реку мать и отца, который семь дней и семь ночей завывал, висая головой вниз над муравейником, и от которого остался только привязанный к дереву обглоданный скелет. Паулю Бернгарду было некогда размышлять об этом. Целых шесть надсмотрщиков следили, чтобы он не оставался без дела. Повара, кухонные мальчишки и всякий солдат распоряжались им и гоняли его.

8

...Отец Бенедикт между тем привязывался к нему все больше, и в этом было его несчастье. Однажды пастырь сказал ему:

— Готовься, сын мой: завтра мы уезжаем отсюда.

Для Пауля Бернгарда это был неожиданный удар. С тех пор как его перестали на ночь привязывать на цепь и он мог спать на полу у дверей старшего повара, ему уже разрешалось не только слушать и отвечать, но и задавать вопросы. Теперь он воспользовался этим правом.

— Куда, отец Бенедикт?

— Далеко, очень далеко, сын мой. К самому морю, а оттуда на корабле в очень большой город. Там есть дома, в которых люди живут шестью рядами друг над другом, и церкви с колокольнями такой высоты, что нужно составить двадцать величайших деревьев одно над другим, чтобы добраться до верхушки. Люди там ходят в башмаках, и в то время как у нас здесь стоит сильнейшая жара, там крыши и улицы покрыты толстым снежным покровом. Ты подготовлен уже настолько, что я хочу попытаться окончательно вырвать тебя из этой дикой жизни и ввести в подлинный мир христианской культуры во славу господню и в доказательство благодати миссионерской работы. Ты умеешь уже достаточно прилично обращаться с ножом и вилкой. Ты говоришь и пишешь на прекрасном люцидийском языке почти так же хорошо, как настоящий люцидиец, ты знаешь таблицу умножения, «Отче наш» и десять заповедей господних. Там ты окончательно позабудешь все языческие пороки, как-то: похищение коров и чужих жен, употребление в пищу белых людей и змей, ношение колец и палочек в губах и в носу. Ты научишься сморкаться в носовой платок, ходить в башмаках и носить крахмальное белье. Одним словом, ты усвоишь все христианские добродетели и забудешь, что твой отец когда-то поклонялся найденному на земле куску разбитого зеркала, а твои соплеменники молились собственноручно изготовленным образинам идолов или какому-нибудь поганому животному. Желаешь ли ты этого и даешь ли обещание быть постоянным в твоей вере, мой сын?

Пауль Бернгард ответил:

— Желаю и даю обещание.

— Тогда будь готов пуститься завтра на рассвете в путь, и да благословит господь твое решение.

Хотя Пауль Бернгард и дал обещание, потому что его потребовали, но сердце его сжималось от тоски. Всю ночь напролет просидел он на прибрежном бугре, охватив колени руками и упершись в них подбородком. Чудесным образом ему казалось, что только в эту ночь он впервые увидел африканскую равнину. Направо от него синели леса Далекого озера, налево сверкали золотистобелыми вершинами Желтые горы. С той стороны Ньянга поднимался дымчато-серый туман. А по реке к морю плыло пронзенное штыком тело его матери. Где-то да-

леко находился незнакомый город, где люди шестью рядами ходили над головой друг друга, топча один другого жестким каблуком. Пауль Бернгард почувствовал, как в затылок его вонзаются острые гвозди. Он знал, что сейчас необходимо заплакать, но не успел еще научиться этому. Из чаши доносилось завывание гиен, и он принялся потихоньку подтягивать им в тон. Завывал он до тех пор, пока часовой не загнал его во двор, обнесенный оградой из колючей проволоки.

Даже попав на пароход, он еще долго не мог успокоиться. Забравшись на свернутые кругами канаты, он сидел, обхватив руками колени, и смотрел туда, где желтый африканский берег медленно погружался в море. От постоянной качки у него кружилась голова и к горлу подступала тошнота, а удержаться на ногах нечего было и думать. Между тем у отца Бенедикта не было времени интересоваться его страданиями. Он приводил белых господ и дам, заставлял его читать «Отче наш» и другие молитвы и отвечать, сколько получится, если помножить пять на семь. Под вечер, когда стало прохладнее, господа и дамы сидели на палубе в удобных плетеных креслах, утоляя жажду содовой с виски, ромом и вином. Когда они пришли в достаточно веселое настроение, Паулю Бернгарду пришлось показывать, как чернокожие пляшут и поют, от чего господа хохотали до слез, а дамы визжали и зажимали уши. Однако немного погодя они стали подходить к нему и, проводя кончиками белых пальцев по его коже, смеялись над тем, что пальцы не пачкаются. Отец Бенедикт все время находился в центре общества, давая пояснения и указания и собирая с присутствующих дам и господ дань восхищения и уважения.



Анри Барбюс

Известный французский писатель-коммунист Анри Барбюс (1873—1935) в рассказе «Учитель» показывает враждебность католического духовенства всякому просвещению и демократии.

УЧИТЕЛЬ

Жара. Слышно, как летают мухи, и видно, как их роят раскаленный воздух. Прохожие пробираются вдоль стен, стараясь не выходить из полосы тени, дремлющей у подножия серых домов. Мы на площади Кавады — деревни провинции Сантандер. Площадь эта похожа на площади многих испанских и даже баскских деревень. В прежние времена, когда носили национальные костюмы, здесь было куда живописнее, но и теперь тут в достаточной мере красочно, и великая огненная сушь Испании с ее резкими очертаниями и смуглыми людьми сверкает здесь с прежним великолепием.

Кроме жужжания мух, сквозь каменные стены на улицу доносится какой-то глухой, мерный, однообразный шум: это школа. Внутри школа ничем не отличается от всех школ земного шара. Мрачные, суровые стены (вид школы не изменится до тех пор, пока само общество не сбросит с себя старой своей оболочки), ряды маленьких черных столиков и таких же черных маленьких головок (черные круги над черными квадратами), а посередине человек, который кажется в этой обстановке великаном, — учитель.

Он творит здесь, как все наши великие собратья, чудеса ловкости и изобретательности, совершает подвиги терпения, чтобы завладеть вниманием этих тридцати детских головок и вложить в них хотя бы частицу понимания великой картины действительности.

Кавадского учителя звали Бельдемаро Цори. Это был спокойный, простой и кроткий человек, о котором все говорили: «Он добросовестный малый». В тесном кругу деревенских жителей его аккуратность и точность вошли в поговорку. Если бы он когда-нибудь опоздал на урок, все подумали бы: «Значит, часы врут».

Так как образ его мыслей отличался такой же строгой лояльностью, как и его жизнь, воззвания его нравились далеко не всем, особенно же его взгляды на общественные дела и на кооперацию, и некоторые даже поговаривали о нем: «Да ведь он — красный!» Но даже те, кто в глубине души, в глубине жалкой своей холопской души удивлялся тому, что можно быть «красным» и в то же время честным человеком, не могли не уважать Бельдемаро Цори.

Но что касается двух главных представителей Кавады, двух черноризников — священника и его викария, то тут дело обстояло совсем иначе. Ненависть, которую они питали к учителю, только возрастала оттого, что они не могли выдвинуть против него никакого обвинения, кроме упрека за сатанинские суждения о свободе и об общественном благе.

Священник и викарий бдительнейшим образом следили за школой, ибо школа — мастерская, где обрабатывается подрастающее поколение. Надо, следовательно, крепко держать ее в руках, если не хочешь, чтобы будущее выскользнуло у тебя из рук.

Не так давно в Испании жил человек, по имени

Франциско Ферреро, который жаждал освободить испанские школы от ледящей их тени церкви. Ферреро был расстрелян. Пули раздробили его грудь прежде, чем он успел в последний раз выкрикнуть свою излюбленную фразу — боевой клич всей его жизни: «Да здравствует школа!»

После этой победы испанское духовенство яростнее, чем когда бы то ни было, накинлось на школу, сначала поддерживаемое королевской династией, портретная галерея которой являет нам гнусную и самую богатую в мире коллекцию дегенератов всех времен, а потом поддерживаемое диктатурой. Там, где на престоле офицеры, царствуют попы. Поэтому-то Испания, страна, где все эти господа работают бок о бок, возвращается к временам инквизиции. Действительно, красная, желающим убедить народ в том, что он с точки зрения непрекаемого закона прогресса самый свободный и счастливый народ на свете, весьма трудно обосновать такую оскорбительную и зловещую шутку.

Итак, священник и викарий — тень священника — дали обет ненавидеть до гробовой доски слишком прямодушного и независимого учителя, которого его приятный характер делал человеком вдвойне опасным. Но так как в его поступках и словах нельзя было найти ничего такого, что могло бы иметь действительно пагубное значение, надо было выискать другой способ овладеть этим врагом.

В злополучной Испании и по сию пору священники имеют право в любой момент входить в школу, чтобы наблюдать за преподаванием.

В описываемый мною день в самый разгар урока дверь класса распахнулась и в световом квадрате в полумраке комнаты появилось двое черных людей. Они сели и стали слушать.

Цори, ничуть не смутившись, продолжал занятия. Он спрашивал маленького Хуанито, который от волнения и, вероятно, оттого, что слушал недостаточно внимательно, заикаясь лепетал:

— Справедливость... равенство...

Священник вскочил, шагнул вперед и мгновенно очутился перед мальчуганом.

— А ну-ка, что ты там бормочешь? — гневно спросил он.

В то время как вопрошаемый стоял перед ним растерянный, с разинутым ртом, другой мальчик — Руиц, которому было четырнадцать лет и который был первым учеником в классе, желая показать, что он внимательно слушал и усвоил урок, поднялся с места и отчеканил:

— Господин священник, все люди равны.

— Это ложь! — охрипшим от крика голосом завопил человек в черной рясе, подскакивая к первому ученику и размахивая кулаком перед его носом. — Это ложь! Это противно учению церкви. Господь бог никогда не говорил, что все люди равны, а святой апостол Петр именем божьим проповедовал, что они не равны!

Он кричал, на виске у него вздулась вена и в уголках рта пузырилась слюна, а викарий, довольствуясь только жестами, вздымал руки к небу.

Учитель спокойно и решительно подошел к нему.

— Позвольте, господин священник, — сказал он.

— Что позволить? — взвыл священник. — Позволить вам проповедовать ложь и внушить ее этим детям? Утверждать, что все люди равны — значит, провозглашать ложное учение, отвергнутое господом богом. Понимаете?.. Дети, слушайте меня: ваш учитель лжет вам!

— Замолчите, — сказал учитель.

Он был очень бледен; взгляд его стал особенно пристальным и руки слегка дрожали.

Но священник заревел еще пуще:

— Вы лжете! Вы даете уроки лжи! Вы срамите церковь! Справедливость... А справедливость?! Нечего толковать о справедливости христианам, это их не касается. Есть только одна справедливость — суд божий. Христианам надо говорить только о вере и любви.

И он с таким выражением ненависти выкрикнул прямо в лицо учителю это последнее слово, что тот невольно попятился и, еще более побледнев, уставился на него расширенными глазами. Дети вскочили с мест и заволновались. Учитель почувствовал, что все погибло, и пробормотал:

— Вы негодяй!

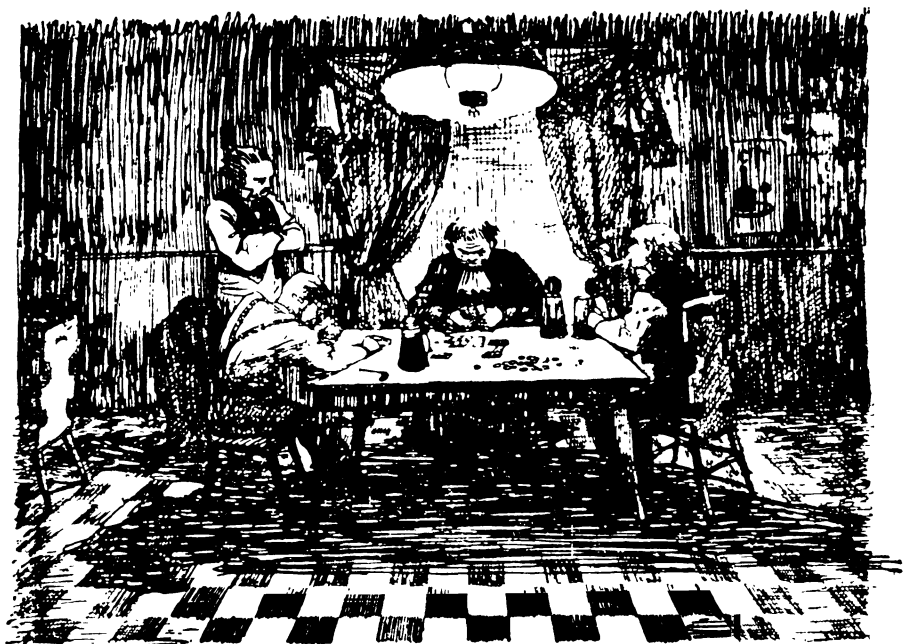
Не успел он выговорить этого слова, как викарий накинулся на него и схватил его за руки, в то время как священник поднимал уже кулак, чтобы ударить его.

Но, видно, викарий недостаточно крепко держал

учителя, потому что тут же, один за другим грянули два выстрела. Священник рухнул на пол и сразу замер грузной, неподвижной массой, а викарий упал и забился в судорогах.

И учитель, угрюмый, мгновенно опомнившийся от припадка безумия, выстрелил в третий раз — и повалился на пол рядом с ними.

Так в 1926 году в цивилизованной стране умер школьный учитель, осмелившийся говорить детям о справедливости.



Ярослав Гашек

Я. Гашек (1883—1923) — известный чешский писатель, автор антивоенной книги «Похождения бравого солдата Швейка» и многочисленных рассказов. Гашек хлесткой и меткой сатирой, смехом боролся против капиталистической реакции, против военщины и всякого мракобесия. В своей книге о Швейке и во многих рассказах Гашек показывает вред религии, жадность и корыстолюбие попов, подчеркивая, что религия нужна попам для их собственного обогащения. Об этом же говорит и рассказ «Как мы помогали обращению в христианство африканских негров»,

КАК МЫ ПОМОГАЛИ ОБРАЩЕНИЮ В ХРИСТИАНСТВО АФРИКАНСКИХ НЕГРОВ

Я не знаю, сколько теперь стоит маленький язычник — негритенок. При нынешней всеобщей дороговизне возможно, что бедные негры и вздорожали. Ведь расходы добрых миссионеров и духовенства увеличиваются с каждым днем.

Несколько лет тому назад маленький негритенок стоял двенадцать золотых, как нам говорил об этом в школе ксендз — преподаватель закона божьего.

Он утверждал, что существует одно общество, которое собирает деньги на покупку негров. Затем он говорил что-то о святости крещения и кстати поставил единицу по закону божью бедному Матвею, который, не имея представления о крещении, говорил, что при крещении дитя опускается в воду и держится в воде до тех пор, пока не окажется крещеным. Кроме этой единицы, ксендз за его смутное представление вообще о религии высек его при всем классе.

После проведения экзекуции над бедным Матвеем господин ксендз мягко говорил о том, что дети всюду собирают между собой деньги на выкуп и крещение маленьких негров.

— Так и вы, дети, должны будете собирать между собой деньги на негров-язычников. Просите при каждой возможности своих родителей, бабушек, дядей, тетюшек, чтобы они жертвовали в «негритянский фонд». А ты, — указал он на меня, — будешь хранить эти деньги. И когда у тебя скопится двенадцать золотых, мы пошлем их епископу в Триполи, а тот перешлет их архиепископу в Алжир, который уже на эти деньги купит маленького негритенка. Где-нибудь в пустыне среди пальм ксендз окрестит его святой водой и отправит в Александрию, в Египет, чтобы там, в Египте, за нас с вами и за все наше село молились богу. За вас — потому, что вы купили, за меня — потому, что я организовал вас для этого святого дела. Те из вас, кто имеет какие-нибудь сбережения, пусть пожертвуют их в фонд. Мы не должны забывать, что несчастные негры, находясь в рабстве, горячо желают только одного — как можно скорее принять святое крещение.

С тех пор мы собирали деньги на негров. Конечно, без драки дело не обошлось. Сын старосты перед всеми хвастался, что если бы он хотел, то мог бы и один купить себе негритенка, за что мы расквасили ему нос. Негр, которого мы купим, будет принадлежать всему классу. Обедать он будет ходить из дома в дом и всюду превозносить христианство. Мы его будем купать, баловать, водить на поводу, а он будет прославлять бога и благодарить нас за то, что мы его купили и крестили.

— Рабская его душа, — говорил уже пострадавший из-за негра Матвей, — я его выпорю за свою смазку. Я отведу его на пруд и выдеру жгучкой. Только, ребята, собирай деньги, я ему устрою забаву. Я его тут буду каждый день крестить. Я его рабскую душу заставляю жить под водой, чтобы он знал ее вкус в Зубринском пруду.

Итак, мы «ради забавы» собирали деньги. Моей роли кассира все завидовали. Деньги я должен был все время носить при себе, преследуемый по следам многочисленной ревизионной комиссией, опасавшейся, чтобы я не растратил их на медовые пряники, рожки, сладкий сыр и прочие вещи и тем самым не встал на путь преступления.

В первое время наши родственники подумали, что мы все сошли с ума. Каждый из нас, придя из школы, занялся вымогательством и рассказал о том, что нам необходимы деньги для негра, которого за двенадцать золотых будет крестить господин ксендз. Но затем на нашу сторону перешли все дедушки и бабушки, развязывавшие узлы своих платков и жертвовавшие крейцеры в негритянский фонд. При этом от умиления бабушки плакали, а старички мечтали, как с ними будет ходить в костел маленький негритенок и петь стихиры¹; а самый набожный, дедушка Швейцар, нализавшись, как-то сказал:

— Когда наш негр вырастет, мы пошлем его депутатом в парламент.

Деньги собирались быстро. Тот сэкономил пятак, тот гривенник, и наконец через месяц, как раз перед катастрофой, я констатировал, что у меня в кармане десять золотых.

Рядом в селе открылась ярмарка, на которой мы решили посмотреть бродячих артистов. Свой мешочек с общественными деньгами я взял с собой. Его я всегда носил на шее и с ним спал. Матвей от отца, а я от своего дяди получили по десяти крейцеров.

— Матвей, — сказал я, — отложим по пяти крейцеров на выкуп негритенка, а остальные пять израсходуем.

— Из-за черной души я не хочу, балда, портить себе

¹ Стихиры — церковные песнопения.

ярмарку. Ты можешь делать что хочешь, а я израсходую все свои деньги.

Ярмарка была чудесная. Фокусники, карусель, качели, марципаны, разные сладости, тир, силомеры — все это моментально поглотило десять крейцеров Матвея, в то время как я ничего не израсходовал. Но, когда опечаленный Матвей ушел домой, я бросился с головой в ярмарочные удовольствия: проехал на каруселях, купил пряников, а затем... затем дело дошло и до общественных денег. К вечеру я израсходовал два золотых...

Господин ксендз любил играть в карты. В тот день, когда я растратил деньги из негритянского фонда, он весь вечер играл с учителем и старостой в пивной моего дяди в двадцать одно. Ему не везло. Он проиграл последний золотой, когда я, отягощенный сладостями и сознанием преступления, возвращался домой.

— Выйдем во двор, — сказал он мне, — я хочу с тобой поговорить.

Мы вышли на лестницу. Внутри меня все дрожало.

«Так он уже знает все. Он всеведущ и вездесущ. Я погиб».

— Сколько у тебя денег, собранных на крещение негра?

Я, сдерживая желание разрыдаться, с минуту молчал.

— Я хочу знать — сколько?

— Восемь золотых.

— Ну, так дай их мне, — сказал ксендз.

У меня сразу отлегло от сердца. Я вытащил свой мешочек и передал ему восемь белых золотых, и все с ангелами. Господин ксендз погладил меня по голове, положил их в карман и снова ушел играть в карты.

Вечером я наблюдал за игрой.

— Иду по банку, — сказал господин ксендз.

— Пожалуйста, ваше преподобие, — отвечал учитель.

Ксендз проиграл, спокойно полез в карман и вынул оттуда восемь золотых. В банке стояло два золотых с ангелами... мои золотые. До десяти часов он проиграл все мои деньги.

Затем он вышел вновь за мной на лестницу и спросил:

— У тебя больше нет денег? Черта с два так соберешь на негра. Вы, шантрапа, никогда не дождетесь крещения бедных негров!..

И мы действительно не дождались.

На другой день на уроке закона божьего господин ксендз сказал:

— Вчера собранные вами деньги я отослал архиепископу в Алжир. Собирайте дальше на другого негра. Бог вас благословит и поможет в вашем благом начинании. Деньги теперь передавайте мне.

Эти деньги господин ксендз продолжал проигрывать в очко... Конечно, долго так не могло продолжаться. Но все-таки как усердно мы заботились с господином ксендзом о крещении бедных африканских негров!



Юлиус Фучик

Очерк «Саранча и религия» написан героем и борцом чешского народа Ю. Фучиком, который мученически погиб от рук гитлеровцев в 1943 году.

Блестящий публицист-литератор Ю. Фучек не раз бывал в Советском Союзе, ему принадлежит ряд живых и ярких очерков о Советской стране.

Очерк «Саранча и религия» написан в 1931 году, после первого посещения Ю. Фучиком СССР. Здесь отражены события, происшедшие в 1929 году, в начале первой пятилетки, когда в среднеазиатских республиках магометанское духовенство еще пыталось сопротивляться успехам советской власти. Автор рассказывает, как нашествие желтой саранчи в Туркменистане было использовано муллами для того, чтобы ослабить авторитет советской власти. Однако героическая борьба коммунистов и шедших за ними передовых трудящихся сорвала замыслы реакционного духовенства и подорвала их влияние,

САРАНЧА И РЕЛИГИЯ

Мы поднимались на Бурбулак, утопая в высокой жесткой траве. Взобравшись на острый гребень, мы, осторожно передвигаясь, стали подниматься выше по юго-западному склону, на котором знойное солнце выжгло траву, но подняло с земли горечавку и кусты диких желтых роз.

Солнце среднеазиатских степей и пустынь, отражаясь в зеркале ледников Тянь-Шаня, с двух сторон атаковало наше неприкрытое лицо и шею.

Вдруг все потемнело. Нами овладел панический страх головокружения. Солнечный удар или, может быть, внезапная боязнь высоты?

Нет, это не было головокружение. Туча, которая совершенно неожиданно закрыла голубое небо, прижала нас вплотную к горам — и исчезла. Нам было несказанно тяжело в ее тени. И, когда она пролетела, мы почувствовали себя, как чувствуют спасенные, которых извлекли из глубины обвалившейся шахты.

Но затем мы увидели, что это была даже не туча, а миллионы марокканской саранчи, летящей из Афганистана через горы на пшеничные и хлопковые поля Киргизии и Казахстана.

Три недели спустя, проезжая на грузовой автомашине по дороге, связывающей Фрунзе, столицу Киргизской республики, с Алма-Атой, столицей Казахстана, мы испугались, вероятно, уже потомков этого живого облака.

Бесконечной красной лентой опоясали они степь, и, когда в это кольцо попал наш могучий грузовик, саранча, высоко подпрыгивая, била в лицо, запутывалась в наших волосах, заползала в уши и не прекратила своих атак до тех пор, пока мы не выбрались из ее потока.

Но это были только красные кобылки марокканской саранчи. Для оказания им соответствующей встречи здесь круглый год в каждом большом зерновом или хлопковом колхозе находятся самолеты Осавиа-хима.

Огромными, страшными тучами летят старые кобылки-матери и садятся на поля, сады, траву степей. Осторожно обкусывают они самые молодые, сочные всходы, обдуманно, разборчиво — не объедаются, — и кладут яйца. Миллиарды их прилетают, и каждая кла-

дет шесть или восемь десятков яиц. Закладывает их в землю и расстается с миром.

Через восемнадцать дней появляется потомство — и пир саранчи начинается сначала. Молодая саранча не летит. Она ползет по земле сплошной лавиной — и челюсти ее работают. Авангард ее наталкивается на степную траву — высокая степная трава склоняется, и там, где шествие саранчи кончается, видишь уже только глубоко разрытую почву, в которой съедены даже корни трав.

Саранча — это страшный и отчаянный враг. Она ведет себя так, как будто бы получила приказ: взять во что бы то ни стало рубеж. Устремляясь на него, она движется ровной полосой все вперед и вперед. Раз принятое направление уже не может быть никем изменено. Мы видели, как однажды полчища молодой саранчи наткнулись на колею железной дороги.

Стоило саранче только немножко уклониться, и она могла бы спокойно двигаться вдоль колеи. Но саранча не знает отклонений. Все в том же направлении, под тем же углом пересекала она колею — и в этот день поезд из Чимкента прибыл с двухчасовым опозданием. Миллионы саранчи гибли, на рельсах образовалась маслянистая оболочка, которая в конце концов лишила поезд всякой возможности двигаться.

Так идет саранча и в своем неуклонном шествии уничтожает все побеги и даже корни, которые встречаются на ее пути. Она движется волнами. Схлынет одна — на смену ей появляется другая, третья, четвертая и т. д.

Но сегодня среднеазиатские республики подготовлены к нашествию саранчи. Там, где пролетит красное облако, немедленно появляется быстрая тень самолета Осоавиахима, несущего смерть этим маленьким, но чудовищным вредителям — красной саранче.

В истории, которую мы расскажем, речь пойдет не о марокканской саранче. Этот вид саранчи давно уже не играет такой роли в урожае, какую в нашей истории так удивительно сыграла желтая саранча. Это будет история о желтой саранче и ее союзе с муллами и ишанами, представителями магометанской церкви в Туркменистане.

Послушайте эту историю, как прослушали ее мы не переводя дыхания.

Ее рассказал нам работник Ашхабадского областного комитета Коммунистической партии, молодой человек, который учился мыслить по трудам Ленина, а говорить — еще у арабских сказочников:

«...Второго мая 1929 года начиналась в Ташкенте среднеазиатская партийная конференция. Мы задержались немного в Ашхабаде. Именно первого мая Ашхабад постигло землетрясение, которое хотя и не принесло больших разрушений, однако угрожало выполнению нашего плана. Чтобы наверстать потерянное время, мы уезжали в полночь на дрезине. Но до Ташкента мы так и не доехали. В Самарканде нам передали телеграмму: «Желтая саранча напала на Туркменистан!»

Желтая саранча в Туркменистане! В этом было что-то неправдоподобное. Сразу мы не поняли всего значения этой телеграммы. Мы проявили больше любопытства, чем тревоги: как могла попасть желтая саранча в Туркменистан, как попала в Среднюю Азию? Никто не помнит, чтобы она когда-нибудь появлялась в наших краях.

Желтая саранча всегда держалась в районе Персидского залива, и только оттуда приходили к нам известия о бедствиях, которые она там причиняла. Мы ее не знали, и не могу сказать, чтобы нас могло порадовать знакомство с ней, но первым нашим чувством все-таки было удивление, а не тревога.

На конференции, конечно, нас и не ждали.

Было ясно, что наше место в такой момент — в Ашхабаде. Мы разослали несколько телеграмм, взяли с собой трех лучших специалистов-энтомологов, которые случайно оказались в Самарканде, и тотчас же отправились в обратный путь.

Под Мервом мы наткнулись на авангард саранчи. Огромная грязно-желтая туча накрыла нас, и кругом, куда только хватало глаз, была саранча. Мы ехали со скоростью семидесяти километров в час, и два с половиной часа мы провели под этим страшным облаком.

Наше удивление сменилось ужасом. Мы были потрясены.

Всю весну проводили мы посевную кампанию, выполнили повышенный план посева пшеницы и намного перевыполнили план по хлопку. На равнинах Туркменистана должна была заколоситься пшеница, и лучшие сорта

хлопка мы уже обещали текстильным фабрикам Союза. Дикie степи мы превратили в обработанные поля, а на орошенных лугах бегали уже выращенные нами первые лошади. Дехкане принимали большое участие в нашей работе, и их поля, впервые обработанные по новому методу, обещали высокий урожай.

Мы были горды тем, что в соревновании между республиками Советский Туркменистан займет почетное место и сдаст государству хорошую продукцию. Это был первый год нашей пятилетки.

А теперь на нас напал неожиданный враг. Мы видели уже пшеницу, погубленную этими мелкими вредителями, и нежные ростки хлопка, обкусанные их челюстями. В Ашхабад приходили отчаянные известия. Саранча покрыла Мерв, покрыла все побережье Аму-Дарьи, проникла даже до Бухары. Но мы не хотели сдаваться.

Мы верили, что победим желтую саранчу, так же как победили некогда красную. Самолеты Осоавиахима и Красной Армии взлетели над тучами саранчи. Саранча прижималась к земле, но тотчас снова поднималась, как бы издеваясь над ними. Несколько баллонов отравляющих газов было выпущено против свирепых агрессоров. Полтора часа продолжалось наше ликование по поводу нашей догадливости. Полтора часа — ни минуты больше — лежала саранча, опьяненная газом, затем поднялась и полетела дальше. Газ, который мог бы умертвить даже человека, саранчу привел только в хорошее настроение. Мы попытались ее жечь. Израсходовали несколько цистерн керосина, уничтожили миллиарды саранчи, но наше смертоносное наступление не дало ожидаемых результатов. Мы мобилизовали все яды и отравляющие вещества. Со всех сторон к нам съезжались энтомологи. Надежда сменялась безнадешностью.

Все ясней выступал тот факт, что мы рискуем первым годом нашей пятилетки.

А тут из нескольких писем мы узнали о втором враге. Муллы и ишаны, столпы магометанской церкви, заявляли магометанскому населению Туркменистана: «Верующие, великий аллах послал наказание на эту землю. Много воды утекло в Аму-Дарье, много раз зеленело священное дерево над храмом веры в древней Бухаре, и никогда еще очи верующего в Туркменистане не видели желтых небес и не слышали жалоб камней. Желтая

саранча пала на землю как гнев аллаха. Почему, спрашивает пророк, вы продали свою землю неверующим? Почему вы изменили вере отцов своих ради исконных врагов наших? Великий аллах послал наказание на землю, которую вы выдали большевикам...»

Письма были ясные и недвусмысленные. Магометанские муллы угрожали в них гражданам Туркменистана страшными опустошениями, которые принесет саранча, посланная аллахом за то, что Туркменистан стал советским. Письма, писанные арабской вязью, и устные проповеди требовали изгнания советских работников из Туркменистана, ну, а если уж не изгнания, то, по крайней мере, такой мелочи, как возвращения земли, которая была конфискована у имущих и разделена между безземельными. Муллы и ишаны грозили тем, кто пользуется этой богом им данной землей, что саранча уничтожит у них все — и урожай, и дом, и семью.

Аллах немилосерден, это было ясно, и если он когда-нибудь и смягчится, то только не по отношению к большевикам. Муллы и ишаны усердно старались оповестить всех о его всемогущей злобе.

Нужно было вести борьбу на два фронта. Муллы явно были в союзе с саранчой.

Слова мулл проникали в душу простых жителей, взволнованных нашествием саранчи. Мы не могли долго раздумывать. То, что в этот тяжелый момент делали магометанские муллы, было прямым вредительством — и несколько мулл и ишанов оказались за решеткой.

Остальные, испугавшись решительности наших мер, быстро изменили тактику. Они предполагали, что ущерб, нанесенный саранчой, уже сам по себе достаточно подорвет советскую власть. Поэтому они агитировали только против борьбы с саранчой!

Чтобы спастись от саранчи, мол, правоверный магометанин должен покропить свои поля кровью овцы, которая потом достанется мулле, а убивать кого бы то ни было, кроме как в жертву аллаху, ни один верующий не имеет права. Никто не должен забывать об этом законе веры. Следовательно, убивать саранчу запрещалось.

Опять пришлось принять меры. Тогда муллы и ишаны выдумали новое дело. Согласились, что в исключительных случаях, особенно при защите, магометанин

еще может убить, однако не больше 999 штук. Если он убьет больше, у него отсохнет рука или он ослепнет.

Так! Миллиарды саранчи падают на поля верующих, и ты, верующий, считай себе до 999. Это было издевательством над всеми нашими стараниями.

Мы мобилизовали всех партийных работников и в самое короткое время провели столько собраний, сколько не проводили никогда, даже во время революции. Все население Туркменистана должно было быть заинтересовано в успешном уничтожении саранчи. Нам пришлось убеждать население, завоевывать его на свою сторону.

Мы проводили эту информационную и агитационную кампанию три дня. Наши специалисты, отказавшись от всех существующих до сего времени средств борьбы с саранчой, придумали способ, который мог стать действенным. Этот новый способ исходил из поведения самой саранчи. Раз саранча идет, не сворачивая, все время вперед, эту особенность саранчи можно использовать против нее. По пути движения саранчи просто следует установить препятствие, о которое бы она разбила голову. Просто! Просто было только сказать. Но как это осуществить!

Однако идея появилась, и к концу того же дня она была разработана. В конечном счете она сводилась к следующему: по всей линии средней и отчасти нижней Аму-Дарьи будут выкопаны канавы перпендикулярно к тому направлению, по которому будет двигаться саранча.

Но так как во многих местах саранча сумеет прорваться, то следует выкопать три линии канав; та часть, которой все же удалось бы перейти первую линию, была бы остановлена во второй или третьей.

Для того чтобы осуществить весь этот гигантский план защиты, нужно было выкопать более десяти тысяч километров таких канав. А сколько месяцев у нас на это было? Мы должны были вести расчет не на месяцы, даже не на дни, а на часы. С того момента, когда у нас уже был план, и до той самой минуты, когда молодая саранча вылезет из земли и окрепнет настолько, чтобы отправиться в поход, оставалось всего восемнадцать дней.

Что это означало? Это означало, что нужно тут же мобилизовать все население на работу. «Все на рытье

окопов!»— так должен был звучать призыв. Мы знали, что в капиталистической стране было бы просто утопией выдвигать такой лозунг. И только там, где все население принимает активное участие в управлении государством, можно было это сделать.

Конечно, мы не вполне были уверены в успехе, так как агитация мулл и ишанов, несмотря на все наши контрмеры, могла оказать свое влияние на некоторую часть населения. Произвести мобилизацию на такую работу, на какую мобилизовали мы, — это был вопрос большого доверия. Политического доверия советской власти.

Видите, товарищ, что и саранча и борьба против нее — все это, в конце концов, политические вопросы.

Принялись мы за дело с огромным воодушевлением. Это была уже не только борьба против саранчи, не только борьба за первый год нашей пятилетки, это была борьба за авторитет советской власти в Туркменистане.

В течение двух дней мы получали сообщения в наш «генеральный штаб». Хорошие и плохие. Кое-где колебались. Но огромное большинство населения через два дня было на своих местах. В южной части вышли все, но все равно людей не хватало. Там небольшая плотность населения.

Мы послали туда из Ашхабада комиссию узнать, что требуется.

Одиннадцатого мая ночью пришла телеграмма: «Нужно две тысячи человек».

Двенадцатого мая в шесть часов вечера на ашхабадском вокзале стояли две тысячи триста рабочих, главным образом молодежь, готовых к отъезду. С некоторых заводов ушло до двадцати — двадцати пяти процентов рабочих. Остальные рабочие обязались за время их отсутствия работать так, чтобы производительность завода не пострадала.

И раньше чем саранча двинулась в путь, нам рапортовали: «Все канавы выкопаны! Мы готовы. Готовы к борьбе!»

Две недели продолжалась эта борьба. Две недели стояли все туркменские граждане у канав и делали свое дело. Две недели лихорадочного боевого напряжения!

Хотите знать результаты в цифрах?

Вот в Персии и Афганистане, где не вели и не могли вести борьбу против саранчи по нашему способу, она уничтожила тридцать — сорок пять процентов пшеницы и семьдесят — сто процентов хлопка. У нас в Советском Туркменистане хлопок пострадал только оттого, что во время борьбы с саранчой мы не могли посвящать ему достаточного внимания (это очень чувствительное растение, требующее заботливого ухода), да и то только на девять с половиной процентов. А пшеница вообще не пострадала.

Наш первый год пятилетки был спасен!»

Работник Ашхабадского областного комитета Коммунистической партии закончил свой рассказ. Об одном только он не сказал. Но об этом мы узнали сами. В результате всей этой кампании не только поднялся авторитет советской власти в Туркменистане, но и глубоко пал авторитет мулл и ишанов как представителей религии. Ряд мечетей их посетители переделали в клубы и кино. Тысячи туркменских женщин сняли паранджу. Тысячи туркменских граждан подали заявление о приеме в партию.

Говорили мы с одним из таких граждан о саранче и враждебной агитации мулл и ишанов. Смеялся. Весело смеялся, глядя на нас своими умными глазами, и говорил: «Ну, возможно, муллы и говорили правду, что аллах послал на нас тяжелое наказание за то, что мы идем с большевиками. Но большевики выиграли борьбу. Значит, они сильнее, чем аллах. И они не наказывают, а помогают. И вот теперь я хочу идти не только рядом с большевиками, а вместе с большевиками».



Жан Грива

Этот рассказ современного латышского писателя Ж. Гривы взят из его книги «По ту сторону Пиренеев», описывающей борьбу Испанской республики против сил германского и испанского фашизма в 1936—1938 годах.

Католическая церковь была на стороне реакции, помогая восставшим фашистским мятежникам в их борьбе против героических защитников республики, против испанского народа.

Действие рассказов Ф. Гра и Ж. Гривы отделено промежутком почти в полтора столетия. Однако мы видим, как католическая церковь и католическое духовенство играли ту же реакционную роль при всех решающих революционных событиях во Франции и Испании.

СЛУГА ГОСПОДЕНЬ

Утром 18 июня 1936 года священник Сан-Хуана — Чамора, узнав о фашистском мятеже против Испанской республики, приказал своей служанке Каталине принести из погреба самое выдержанное церковное вино. Падре Чамора с большим удовольствием откупоривал

потускневшие от подвальной сырости бутылки; наполнив два бокала, он поднял один из них.

— Пусть пресвятая дева Мария поможет нам победить! — воскликнул он и поднес вино к губам. — Выпей, милая Каталина, это святой напиток.

Каталина, всю жизнь покорно исполнявшая все желания своего хозяина, не противилась и на этот раз. Роскошную гостиную, где из позолоченных рам глядели невинные глаза святой Марии, огласил звон хрусталя, от которого в темных углах в испуге забегали по запыленной паутине пауки.

— Да поможет нам небо! — ответила Каталина, восторженным взглядом следя за тем, как ее повелитель откупорил третью бутылку.

— Моя милая, выпей еще один бокал и позови звонаря. Я хочу совершить богослужение.

Каталина побежала за звонарем. Когда Чамора почти осушил третью бутылку, она вернулась, ведя звонаря за руку.

— Падре, — шептала она, — подумайте только, этот грешник не хотел исполнить ваше приказание!

Чамора торжественно поднялся, простер руки и, чтобы не сбиться, заговорил как можно медленнее:

— Сын мой, что я слышу! Ты не хотел исполнить мое приказание? Поднимись сейчас же на колокольню и звони так, как никогда еще не звонил. Я хочу провести богослужение в честь нового порядка. Помолимся, чтобы бог дал силы генералу Франко победить. Иди, мой сын, и не возражай, если хочешь в рай попасть.

Звонарь помял своими малоподвижными пальцами широкополую шляпу, как бы желая возразить. Но падре Чамора поднял руку, не желая слушать его, и продолжал:

— Не возражай! Я вижу, что ты одержим греховными мыслями. Иди и звони, чтобы весь приход собрался в церковь!

— Я не буду звонить, — сказал звонарь. — Я никогда больше не буду звонить! Мои руки одеревенели от жестких веревок колоколов. До свиданья, святой отец. Наш приход сейчас штурмует армейские казармы, в которых укрылись восставшие против республики. Вы, падре, не хотите ли помочь нам?

— Прочь, нечестивец! — воскликнул падре. — Я сам

соберу сейчас всех в церковь. Кто не придет на богослужение, того покарает праведный суд господний!

Звонарь повернулся и поспешно ушел. Падре Чамора выпил последний глоток вина и спокойно сказал:

— Милая Каталина, принеси пистолет! Я чувствую, что сегодня одним лишь словом господним мне не обойтись.

Чамора надел сутану и спрятал в карман пистолет.

— Теперь я могу идти молиться. Пресвятая дева Мария, — приблизившись к изображению богородицы и сложив руки, шептал он, — прости, если твой верный слуга кого-нибудь из своих прихожан отправит сегодня на тот свет. И благослови тех, кто, нарушив греховные законы республики, обратил оружие против тех, кто больше не боится ни бога, ни господ. Если овцы не слушаются пастыря, он вправе их поразить...

Пастырь, пошатываясь, направился к церкви. За ним следовала верная и послушная Каталина, звеня связкой ключей.

Заскрипел замок. Двери церкви раскрылись...

Первый раз в своей жизни падре поднимался по узкой, крутой лестнице колокольни. За ним, как тень, следовала Каталина. Они карабкались, тяжело дыша. Вороны большими стаями поднимались с колокольни и, зловеще каркая, кружились вокруг них. Летучие мыши отрывались от стен лестничной клетки и ударялись о тяжелый люк колокольни. Падре Чамора поднимался вверх, считая ступени. Одышка сжимала ему горло. С побледневшего лба струился пот. Наконец он достиг колокольни, где с позеленевших медных колоколов свисали, как серые крысиные хвосты, веревки.

Со стороны казарм раздавались выстрелы. Группа вооруженных рабочих в эту минуту взламывала дубовые ворота.

Чамора перевел дух, посмотрел на осаждающую казармы толпу, осенил себя крестным знаменем и начал раскачивать языки больших колоколов:

— Господи, помоги нам, ибо не ведают они, что творят!

Каталина последовала примеру своего господина, начав раскачивать языки меньших колоколов.

«Бим-бом! Бим-били-бом!» — поплыло над крышами.

Удивленный народ смотрел в сторону церкви и не по-

нимал, в чем дело. Все боеспособные жители штурмовали казармы. Дома остались только маленькие дети и старики. Некоторые из них поспешили на необычное богослужение. Кто знает, может быть падре хочет помолиться за республику и ее защитников! Но, войдя в церковь и увидев разъяренного падре, который только что скатился по ступеням колокольни и вошел в алтарь, они поняли, что ошиблись. Многие сразу же вернулись домой, а кое-кто остался послушать проповедь падре Чаморы.

Падре взял молитвенник и начал проповедь. Проклятья и самые страшные угрозы сыпались из его уст. Голод и мор, геенну огненную сулил он тем, кто станет защищать республику и противиться генералу Франко и его сторонникам. Церковь постепенно опустела, и под ее сумрачными сводами остались только падре и его верная служанка. Падре Чамора упал на колени перед изображением святой Марии и зашептал:

— Зришь ли ты, пресвятая Мария, как народ нас ненавидит и служит сатане? Доколе ты будешь допускать подобное неверие и запустение храма твоего!

Вдруг послышался взрыв. Падре вскочил на ноги и побежал к окну. Большое облако пыли окутало казармы. Когда оно рассеялось, толпа, прятая за стенами, через взломанные дубовые ворота хлынула в казармы. Падре закрыл глаза руками, чтобы не видеть этой картины. Очнулся он только тогда, когда на улице под окнами церкви раздались шаги. Это шли прихожане с оружием. Впереди всех шагала звонарь с поднятой над головой винтовкой.

Стволom пистолета падре выбил стекло, прицелился и выстрелил. Звонарь упал. Остальные в недоумении остановились.

К падре подбежала Каталина, шепча:

— Он это заслужил! Пусть они знают, что бог не оставит ненаказанным ни одного непослушного. Уничтожьте их всех! Тогда они научатся понимать гнев господний.

Но падре не надо было подстрекать. Он опять просунул пистолет в окно, прицелился и выстрелил. Рядом со звонарем на пыльную дорогу упал еще один человек и... больше не поднялся. Остальные спрятались за кипарисами и открыли огонь по окнам церкви,

Чамора отпрянул, подбежал к алтарю и содрал с него изображение девы Марии. Ногой прижав библию к плитам пола, он вырвал из нее пожелтевшие листы. Побросав все в кучу, он зажег спичку и поднес ее к куче сухой бумаги.

— Что ты разинула рот! — закричал падре на служанку. — Не смотри, а помогай! Пусть все думают, что божий храм подожгли республиканцы, и ты увидишь — все верные католики восстанут против них.

Каталина мгновение подумала, потом уперлась ногой в позолоченное дубовое распятие и, вцепившись в него руками, изо всей силы потянула вниз.

Костер разгорался. Высокое помещение затянуло дымом. Языки пламени жадно извивались вокруг реликвий и пожирали их одну за другой.

Под завесой дыма падре Чамора и Каталина выскользнули из церкви. В тот момент, когда верная служанка святого отца закрывала дверь церкви, за ее спиной раздался выстрел, и она опустилась на землю. Чамора боязливо осмотрелся, спрятал еще дымящееся оружие и проговорил:

— Ступай с богом, Каталина. Иначе я не мог... Ты свои обязанности выполнила покорно до конца. Мне ты больше не нужна. Что сказали бы люди, увидев меня, спасающегося вместе с тобой? В глазах людей я хочу остаться чистым, не заподозренным в житейских слабостях — этого требует моя служба богу и генералу Франко!

Падре Чамора осторожно пробрался вдоль каменного забора в сторону леса. С наступлением темноты он добрался до одного из больших мужских монастырей и присоединился к вооруженным монахам. Ночью они ворвались в ближайшее селение и напали на защитников республики.



В. Г. Короленко

Рассказ известного русского писателя В. Г. Короленко (1853—1921) «На затмении» описывает одно из солнечных затмений, происходившее в начале XX века. Вместе с тем этот рассказ может быть понят и символически: тьма, надвигающаяся на землю во время полного затмения солнца, так же мрачна, как тьма нелепых суеверий, предрассудков, которыми были забиты головы описанных в рассказе неграмотных стариков и старух, ждущих конца мира, дрожащих в страхе перед непонятными для них силами природы, как дрожали когда-то перед молнией и громом их отдаленные предки.

Этим людям противопоставлены в рассказе люди науки, астрономы, спокойно и уверенно изучающие явления природы, показывающие силу человеческого разума и предвидения.

Рассказ печатается с сокращениями.

НА ЗАТМЕНИИ

Часу в четвертом мы сошли на берег и направились к городу. Серело, тучи не расходились. У пристаней грузными темными пятнами стояли пароходы. На них не заметно было никакого движения. Только наш начинал «шуровать», выпускал клубы дыма и тяжело сопел, лениво собираясь в ранний путь.

Берег был еще пуст...

...Я нарочно свернул в переулок, чтобы пойти по окраине. Кое-где в лачугах у подножия горы виднелись огоньки. В одном месте слабо сияла лампада, и какая-то фигура то припадала к полу, то опять подымалась, очевидно встречая день знамения господня молитвой. В двух-трех печах виднелось уже пламя.

Вот скрипнула одна калитка; из нее вышел древний старик с большой седой бородой, прислушался к благовесту, посмотрел на меня, когда я проходил мимо, суровым, внимательным взглядом и, повернувшись лицом к востоку, где еще не всходило солнце, стал усердно креститься.

Открылась еще калитка. Маленькая старушка торопливо выбежала из нее, шарахнулась от меня и скрылась под темную линию забора.

— А, Семеныч! Ты, что ли, это? — вскоре услышал я ее придавленный голос. — Правда ли, нынче, будто, к ранней обедне пораньше ударят? Сказывали, до этого чтоб отслужить... Батюшки-светы! Глянь-ко, Семеныч, это кто по горе экую рань ходит?

Часть пароходной публики, вероятно, от скуки взобралась на гору. Фигуры рисуются на светлеющем небе резко и странно. Одна, вероятно стоящая много ближе других на каком-нибудь выступе, кажется неестественно громадною. Все это в ранний час этого утра, перед затмением, над испуганным городом производит какое-то резкое, волшебное, небывалое впечатление...

— Носит их, супостатов! — угрюмо ворчит старик. — Приезжие, надо быть...

— И то, сказывали вчерась: на четырех пароходах иностранные народы приедут. К чему это, родимый, как понимать?

— Власть господня, — угрюмо говорит Семеныч и, не простившись, уходит к себе.

Старуха остается одна на пустой улице.

— Господи-и-и, батюшко! — слышу я жалостный, испуганный старческий голос, и торопливые шаги стихают где-то в тени по направлению к церкви...

...Я пошел вдоль волжского берега.

Небольшие домишки, огороды, переулки, кончавшиеся на береговых песках, — все это выступает яснее в белевой утренней мгле. И всюду заметно робкое движение,

чувствуется тревожная ночь, проведенная без сна. То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка, то сгорбленная фигура плетется от дома к дому по огородам. В одном месте, на углу, прижавшись к забору, стоят две женщины. Одна смотрит на восток слезящимися глазами и что-то тихо причитает. Дряхлый старик, опираясь на палку, ковыляет из переулка и молча присоединяется к этой группе. Все взгляды обращены туда, где за меланхолическою тучей предполагается солнце.

— Ну что, тетушка, — обращаюсь я к плачущей, — затмения ждете?

— Ох, не говори, родимый!.. Что и будет! Напуганы мы, милый, то есть до того напуганы... Ноченьку всё не спали.

— Чем же напуганы?

— Да все планидой этой.

Она поворачивает ко мне лицо, разбухшее от бессонницы и искаженное страхом. Воспаленные глаза смотрят с оттенком какой-то надежды на чужого человека, спокойно относящегося к грозному явлению.

— Сказывали вот тоже: солнце с другой стороны поднимется, земли будет трясение, люди не станут узнавать друг дружку... А там и миру скончание...

Она глядит то на меня, то на древнего старца, молчаливо стоящего рядом, опираясь на посох. Он смотрит из-под насупленных бровей глубоко сидящими угрюмыми глазами, и я сильно подозреваю, что это именно он почерпнул эти мрачные пророчества в какой-нибудь древней книге в изъеденном молью кожаном переплете. Половина пророчества не оправдалась: солнце поднимается в обычном месте. Старец молчит, и по его лицу трудно разобрать, доволен ли он, как и прочие бесхитростные люди, или, быть может, он предпочел бы, чтобы солнце сошло с предначертанного пути и мир пошатнулся, лишь бы авторитет кожаного переплета остался незабываемым. Все время он стоял молча и затем молча же удалился, не поделившись более ни с кем своею дряхлою думой.

— Полноте, — успокаиваю я напуганных до истерики женщин, — только и будет, что солнце затмится.

— А потом... что же, опять покажется, или уж... вовсе?..

— Конечно, опять покажется.

— И я думаю так, что пустяки говорят всё, — замечает другая, побойчее. — Планета, планета, а что ж такое? Все от бога. Бог захочет — и без планеты погибнем, а не захочет — и с планетой живы останемся.

— Пожалуй, и пустое все, а страшно, — слезливо говорит опять первая. — Вот и солнышко в своем месте вошло, как и всегда, а все-таки же... Господи-и... Сердешное ты наше-е-е. На зорьке на самой не весело подымалось, а теперь, гляди, играет, роди-и-имое...

Действительно, из-за тучи опять слабо, точно улыбка больного, брызнуло несколько золотых лучей, осветило какие-то туманные формы в облаках и погасло. Женщины умиленно смотрят туда, с выражением какой-то особенной жалости к солнцу, точно к близкому существу, которому грозит опасность. А невдалеке трубы и колеса стоят в ожидании, точно приготовления к опасной операции...

Я углубляюсь в улицы, соседние с площадью.

На перилах деревянного моста сидит бородатый и лохматый мещанин в красной рубахе, задумчивый и хладнокровный. Перед ним старец вроде того, которого я видел на берегу, с острыми глазами, сверкающими из-под совиных бровей какою-то своею, особенною, злобною думой. Он трясет бородой и говорит что-то сидящему на перилах великану, жестикулирует и волнуется... Так как в это утро сразу как будто разрушились все условные перегородки, отделяющие в обычное время знакомых от незнакомых, то я просто подхожу к беседующим, здороваюсь и перехожу к злобе дня.

— Скоро начнется...

— Начнется? — вспыхивает старик, точно его ужалило, и седая борода трясется сильнее. — Чему начинаться-то? Еще, может, ничего и не будет.

— Ну, уж будет-то — будет наверное.

— Та-ак!.. А дозвоьте спросить, — говорит он уже с плохо сдерживаемым гневом, — нешто можно вам власть господню узнать? Кому это господь-батюшка откроет? Или уж так надо думать, что господь с вами о своем деле совет держал?..

— Велико дело господне!.. — как-то «вообще», грудным басом произносит великан, глядя в сторону. — Было, положим, в пятьдесят первом году. Я мальчишком был малым, а помню. Так будто затемнело, даже петухи

стали кричать, испугалась всякая тварь. Оно и того... Оно и опять объявилось. А теперь, вишь ты... Конечно, что... затей всё.

— Д-да! — отчеканивает старец решительно и зло. — Власть господню не узнать вам, это уж вы оставьте!.. Дуракам говорите, пожалуйста! «Затмение, планета»! Так вот по-нашему и будет...

Он смотрит на берег, где устроены балаганы, искоса и сердито...

...В училище, служащем временным приютом для приезжих ученых, открывается окно верхнего этажа, и в нем появляется длинная трубка, нацелившаяся на небо... «Астрономы» проходят один за другим к балагану.

Старик-немец несет инструменты, с угрюмым и недовольным видом поглядывая на облака...

...Впрочем, облака редуют, ветер все гонит их с севера: нижние слои по-прежнему почти неподвижно лежат на горизонте, но второй слой движется теперь быстрее, расширяя все более и более просветы. Кое-где уже синее лазурь. Клочки ночного тумана проносятся реже и видимо тают. Солнце ныряет, то появляясь в вышине, то прячась.

Трубы установлены, с балаганов сняты брезенты, ученые пробуют аппараты. Лица их проясняются вместе с небом. Холодная уверенность этих приготовлений, видимо, импонирует толпе.

— Гляди-ка, батюшки, сама вертится!.. — раздается вдруг удивленный голос.

Действительно, большая черная труба с часовым механизмом, пущенным в ход, начинает заметно поворачиваться на своих странных ногах, точно невиданное животное из металла, пробужденное от долгого сна. Ее останавливают после пробы, направляют на солнце и опять пускают в ход. Теперь она автоматически идет по кругу, тихо, внимательно, зорко следя за солнцем в его обычном мгlistом пути. Клапаны сами открываются и закрываются, зияя матово-черными краями. Немец опять говорит что-то быстро, ворчливо, непонятно, будто читает лекцию или произносит заклинания.

Толпа удивленно затихает.

Минутная тишина. Вдруг раздается звонкий удар маятника метронома, отбивающего секунды.

— Часы бьют. Должно, шесть часов.

Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, — нет, не часы... Что такое?!

— Началось!.. — догадывается кто-то в толпе, видя, что астрономы припали к трубам.

— Вот те и началось, ничего нету, — небрежно и уверенно произносит вдруг в задних рядах голос старого скептика, которого я видел на мосту.

Я вынимаю свое стекло с самодельною ручкой. Оно производит некоторую ироническую сенсацию, так как бумагу, которой оно обклеено, я прилепил к ручке сургучом.

— Вот так машина! — говорит кто-то из моих соседей. — За семью печатями...

Я оглядываю свой инструмент. Действительно, печатей оказывается ровно семь — цифра в некотором роде мистическая. Однако некогда заниматься кабалистическими соображениями, тем более что моя «машина» служит отлично. Среди быстро пробегающих озаренных облаков я вижу ясно очерченный солнечный круг. С правой стороны, сверху, он будто обрезан чуть заметно.

Минута молчания.

— Ущербилось! — внятно раздается голос из толпы.

— Не толкуй пустого! — резко обрывает старец.

Я нарочно подхожу к нему и предлагаю посмотреть в мое стекло. Он отворачивается с отвращением.

— Стар я, стар в ваши стекла глядеть. Я его, родимое, и так вижу, и глазами. Вон оно в своем виде.

Но вдруг по лицу его пробегает, точно судорога, не то испуг, не то глубокое огорчение.

— Господи Иисусе Христе, царица небесная...

Солнце тонет на минуту в широком мглистом пятне и показывается из облака уже значительно ущербленным. Теперь уже это видно простым глазом, чему помогает тонкий пар, который все еще курится в воздухе, смягчая ослепительный блеск.

Тишина. Кое-где слышно нервное, тяжелое дыхание, на фоне напряженного молчания метроном отбивает секунды металлическим звоном, да немец продолжает говорить что-то непонятное, и его голос звучит как-то чуждо и странно. Я оглядываюсь. Старый скептик шагает прочь быстрыми шагами, с низко опущенной головой...

...День начинает заметно бледнеть. Лица людей принимают странный оттенок, тени человеческих фигур лежат на земле бледные, неясные. Пароход, идущий вниз, проплывает каким-то призраком. Его очертания стали легче, потеряли определенность красок. Количество света видимо убывает; но так как нет сгущенных теней вечера, нет игры отраженного на низших слоях атмосферы света, то эти сумерки кажутся необычными и странными. Пейзаж будто расплывается в чем-то: трава теряет зелень, горы как бы лишаются своей тяжелой плотности.

Однако пока остается тонкий серповидный ободок солнца, все еще царит впечатление сильно побледневшего дня, и мне казалось, что рассказы о темноте во время затмения преувеличены. «Неужели, — думалось мне, — эта остающаяся еще ничтожная искорка солнца, горящая, как последняя, забытая свечка в огромном мире, так много значит?.. Неужели, когда она потухнет, вдруг должна наступить ночь?»

Но вот эта искра исчезла. Она как-то порывисто, будто вырвавшись с усилием из-за темной заслонки, сверкнула еще золотым брызгом и погасла. И вместе с этим пролилась на землю густая тьма. Я уловил мгновение, когда среди сумрака набежала полная тень. Она появилась на юге и точно громадное покрывало быстро пролетела по горам, по реке, по полям, обмахнув все небесное пространство, укутала нас и в одно мгновение сомкнулась на севере. Я стоял теперь внизу, на береговой отмели, и оглянулся на толпу. В ней царило грубое молчание. Даже немец смолк, и только метроном отбивал металлические удары. Фигуры людей сливались в одну темную массу, а огни пожарища на той стороне опять приобрели прежнюю яркость...

Но это не была обыкновенная ночь. Было настолько светло, что глаз невольно искал серебристого лунного сияния, пронизывающего насквозь синюю тьму обычной ночи. Но нигде не было сияния, не было синевы. Казалось, тонкий, не различимый для глаза пепел рассыпался сверху над землей или будто тончайшая и густая сетка повисла в воздухе. А там, где-то по бокам, в верхних слоях чувствуется озаренная воздушная даль, которая сквозит в нашу тьму, смывая тени, лишая темноту ее формы и густоты. И над всею смущенною природою чудною панорамой бегут тучи, а среди них происходит

захватывающая борьба... Круглое, темное, враждебное тело, точно паук, впилося в яркое солнце, и они несутся вместе в заоблачной вышине. Какое-то сияние, льющееся изменчивыми переливами из-за темного щита, придает зрелищу движение и жизнь, а облака еще усиливают эту иллюзию своим тревожным, бесшумным бегом.

— Владычица святая, господи-батюшко, помилуй нас, грешных!

И какая-то старушка набегает на меня, торопливо спускаясь с холма.

— Куда ты, тетка?

— Домой, родимый, домой: помирать, видно, всем помирать с детками с малыми...

Вдоль берега, в сумраке, надвигается к нам какое-то темное пятно, из которого слышен смешанный, все усиливающийся голос. Это кучка фабричных. Впереди, размахивая руками, шагает огромный атлет — рабочий, который сидел со мной на мосту. Я иду к ним по отмели навстречу.

— Нет, как он мог узнать, вот что! — останавливается он вдруг против меня, по-видимому узнавая во мне недавнего собеседника. — Говорили тогда ребята: раскидать надо ихние трубы... Вишь, нацелились в бога!.. От этого всей нашей стране может гибель произойти. Шутка ли: господь знамение посылает, а они в небо трубами... А как он, батюшко, прогневается да вдруг сюда, в это самое место, полыхнет молнией?..

— Да ведь это сейчас пройдет, — говорю я.

— Пройдет, говоришь? Должны мы живы остаться? — Он спрашивает как человек, потерявший план действий и тяготеющий ко всякому решительно высказываемому убеждению.

— Конечно, пройдет, и даже очень скоро.

— А как?

Я смотрю на часы.

— Да, должно быть, менее минуты еще.

— Меньше минуты? И это узнали! Ах ты, господи боже!

Прошло не более пятнадцати секунд. Все мы стояли вместе, подняв глаза кверху, туда, где еще продолжалась молчаливая борьба света и тьмы, как вдруг вверху, с правой стороны, вспыхнула искорка, и сразу лица моих собеседников осветились. Так же внезапно, как прежде

он набежал на нас, мрак убегает теперь к северу. Темное покрывало взметнулось гигантским взмахом в определенных пространствах, пробежало по волнистым очертаниям облаков и исчезло. Свет струился теперь, после темноты, еще ярче и веселее прежнего разливаясь победным сиянием. Теперь земля оделась опять в те же бледные тени и странные цвета, но они производят другое впечатление: то было угасание и смерть, а теперь наступило возрождение...

Солнце, солнце!.. Я не подозревал, что и на меня сего новое появление произведет такое сильное, так облегчающее, такое отрадное впечатление, близкое к благоговению, к преклонению, к молитве... Что это было: отзвук старого, залегающего в далеких глубинах каждого человеческого сердца преклонения перед источником света, или, проще, я почувствовал в эту минуту, что этот первый проблеск прогнал прочь густо столпившиеся призраки предрассудка, предубеждения, вражду этой толпы?.. Мелькнул свет — и мы стали опять братьями... Да, не знаю, что это было, но только и мой вздох присоединился к общему облегченному вздоху толпы... Мрачный великан стоял с поднятым кверху лицом, на котором различалось отражение рождавшегося света. Он улыбался.

— Ах ты, б-боже мой!.. — повторил он уже с другим, благодушным выражением. — И до чего только, братцы, народ дошел. Н-ну!..

Конец страхам, конец озлоблению. В толпе говор и шум.

— Должны мы господа благодарить... Дозволил нам живым остаться, батюшка!..

— А еще хотели остроумов бить. То-то вот глупость...

— А разве правда, что хотели бить? — спрашиваю я, чувствуя, что теперь можно уже свободно говорить это, без прежней напряженной неловкости.

— Да ведь это что: от питья это, от винного. Пьяненький мужичок первый и взбунтовался... Ну, да ведь ничего не вышло, слава те господи!

— А у нас, братцы, мужики и без остроумов знали, что будет затмение, — выступает внезапно мужичок из-за Пучежа. — Ей-богу... Потому старики учили: ежели, говорят, месяц по зорям ходит — непременно к затмению...

Ну, только в какой день — этого не знали... Это, нечего хвастать, было нам неизвестно.

— А они, видишь, как рассчитали. В аккурат! Как ихний маятник ударил, тут и началось...

— Премудрость...

— Затем и разум даден человеку...

— Вишь, и опять выиграло... Гляди, как разгорается,

— Содвигается тьма-то!

— Теперь сползет небось!

— Содвинется на сторону — и шабаш.

— И опять радуется всякая тварь...

— Слава Христу, опять живы мы...

— А что, господа, дозвольте спросить у вас... — благодушно подходит в это время кто-то к самой ограде.

Но ближайший из наблюдателей нетерпеливо машет рукой: он смотрит и считает секунды.

— Не мешай! — останавливают из толпы. — Чего левешь — не видишь, что ли? Еще ведь не вовсе кончилось.

— Отдай, отдай назад! Осади! — вполголоса, но уж без всякой внушительности произносят городовые.

Солдаты, ружья к ноге, носы кверху, с наивною неподвижностью тоже следят за солнцем. Гриша, торжествующий, смешался с толпой и имеет такой вид, как будто готов принимать поздравления с благополучным окончанием важного дела. Астрономическая наука приобрела в его лице ревностного адепта. Окруженный любопытными, от которых еще недавно слышал язвительные насмешки, он теперь объясняет им что-то очень авторитетно:

— Труба... она вещь не простая. Содвинь ее, уж она не действует. Она по звезде теперича ставится. Все одно, ружейный прицел.

— Как можно содвинуть, вещь понятная! — ласково и как будто заискивающе поддакивает собеседник.

— Тонкая вещь!

— А не грех это, братцы? — раздается сзади нерешительный вопрос, оставшийся без отклика.

Солнце играет все сильнее; туман все более и более утончается, и уже становится трудно глядеть невооруженным глазом на увеличивающийся серп солнца. Чирикают примолкшие было птицы, луговая зелень на заречной стороне проступает все ярче, облака расцветиваются... В настроении толпы недоверие, вражда и

страхи умчались куда-то далеко вместе с пеленой полной тени, улетевшей в беспредельное пространство.

Я ищу старика скептика. Его нигде нет. Между тем кое-где открываются окна, до тех пор закрытые ставнями или тщательно задернутые занавесками. Давешняя старушка робко отпирает свою закупоренную хибарку, высовывает сначала голову, оглядывается вдоль улицы, потом выходит наружу. К ней подбежала девочка лет двенадцати:

— Бабушка, бабушка, а я вот все видела!

— Ты зачем убежала, греховодница, когда я не приказывала тебе?

Но девочка не слушает и продолжает с веселым возбуждением:

— Все видела, как есть. И никаких страстей не было. По небу стрелы пошли, и потом солнышко, слышь, темнеит, темне-и-ит...

— Ну?

— Ну и все потемнело. Задернулось вот все одно... чугунным листом. Ей-богу, правда, как вот заслонка-те перед солнцем и стоит. А потом с другой-те стороны вдруг прыснуло и пошло выходить, и пошло тебе выходить, и опять рассветало.

Бабушка ворчит что-то, но старое брюзжание звучит уступчиво и тихо, а детский голос звенит с молодым торжеством.



А. М. Горький

В очерке «Праздник шиитов», опубликованном в 1898 году, М. Горький ярко описал виденные им в Тифлисе сцены чудовищного религиозного фанатизма и изуверства. Шииты — мусульманская секта; Али и Али-Хусейн — их святые. Дикое самоистязание шиитов — нечто вроде религиозно-драматических представлений, которые доводят их до иступления, а зачастую до смерти. Фанатизм шиитов нередко используется врагами демократического движения на Востоке.

Очерк печатается с сокращениями.

ПРАЗДНИК ШИИТОВ

Я жил в доме, который стоит над Курой, на высокой скале, и из окон моих видел весь Авлабар, раскинувшийся на противоположном берегу реки. Там ломаные линии домов, разделенных узкими, извилистыми и крутыми улицами, стоят чуть не на крышах друг у друга, поднимаясь от реки до вершины горы, и все они так хаотически скучены, так грязны и неуклюжи, что кажутся громоздким мусором, сброшенным с верха горы и при падении вниз в страхе и без порядка прилипшим к ее каменным ребрам.

...Вечером 17 мая этот двор чисто вымели, полили водой, а при наступлении ночи — осветили массой фонарей. Среди двора поставили высокий железный треножник и на нем медный сосуд, в котором красным пламенем горела тряпка или пакля, пропитанная нефтью. Ночью окна домов Авлабара ярко осветились, и по улицам, с пением, шумом и воем, с факелами в руках, пошли процессии шиитов. В густой тьме душной ночи огни факелов то исчезали в извилинах улиц, бросая трепещущий отблеск на стены домов, то снова являлись пред глазами, образуя живые и причудливые узоры из пылающих точек, или, вытягиваясь в длинную линию, они золотой змеей ползли по горе и освещали ножи, белыми молниями разрывавшие воздух над головами людей, охваченных восторженным безумием. Гул голосов, сливаясь с рокотом бешеных волн Куры, носился в воздухе таким могучим звуком — точно вместе с кающимися людьми вся гора вздыхала и стонала. Около полуночи процессия разбилась на отдельные группы, и они разошлись по всем улицам, всюду сея огни и холодный блеск ножей.

И вот одна часть процессии пришла на двор перса, против моего окна. Ее ждали; на балконе дома стояли старики в длинных темных одеждах и высоких клобуках, вроде тех, в каких изображают царей Вавилона и Ассирии. У ног стариков сидели два мальчика, одетые в белое. Когда процессия вошла во двор — она прекратила свое пение и образовала круг, в центр которого явилось четверо людей, обнаженных до пояса. Они встали по двое друг против друга около треножника, облившего их красным пламенем, а правоверные, сопровождавшие их, подняв факелы высоко вверх, окружили их кольцом огней. Затем наступило молчание, и с минуту все стояли неподвижно.

И вот, среди напряженной тишины, раздался детский голос, слабый, дрожащий, но чистый и звонкий, как стекло. Он пел, или, вернее, он певуче жаловался на что-то; он то замирал, бессильный и тоскливый, то, вскрикивая жалобно и кротко, поднимался высоко к небу, в ту ночь скрытому черными тучами, и, дрожащий, робкий, но всегда по-детски милый и красивый, обрывался, падал вниз и замирал на ноте, едва слышной, на звуке, до того легком и бессильном. что, казалось, он был бы не способен изменить полет пушинки...

— А-а..., о... э-а-а..., о-о-э-а... — носилась в воздухе плачевная мелодия, и, когда утомленный голос обрывался, толпа что-то дружно и глухо гудела, как бы виновато отвечая ему. Потом запел второй детский голос, более мужественный и сильный, но также полный красивых и печальных металлических вибраций, и, когда звуки его замерли, раздался громкий, гортанный возглас одного из стариков. Он долго и внятно читал что-то на ломком языке, звуки которого, резкие и краткие, сыпались в тишину, как зерна.

— Али! Хуссейн! — грянула толпа, и что-то странно звякнуло. Толпа громко запела дикую и воинственную мелодию, и я увидел, как четверо полуобнаженных людей, взмахнув чем-то в воздухе, с силой ударили себя по спинам, отчего раздался железный лязг... В руках у них были довольно толстые и длинные цепи, сложенные втрое; держа их обеими руками, эти люди с размаху, враз били ими себя по спинам, стараясь так выгибать тело под удар, чтоб на него легло возможно больше цепи. Поощряя их, толпа хлопала в ладоши и пела, потом вдруг задавала им какой-то торжествующий вопрос. Бичующиеся на время прерывали свое самоистязание и отвечали им хриплыми голосами, после чего по грозному возгласу толпы цепи снова взлетали в воздух и снова рвали тело.

— Али-и-и! — одобряюще выла толпа, и удары становились крепче и сильнее. Скоро это был уже противный, хлюпающий, лязгающий звук, точно пучком железных прутьев ударяли по густой грязи. Некоторые из толпы начинали бить себя кулаками правой руки в левую сторону груди. Они размахивались широко, с ожесточением, и каждый удар заставлял их пошатываться. Факелы в их руках дрожали, и я видел, как капли смолы и искры падали на обнаженные плечи истязавшихся. Но они, должно быть, не чувствовали этой боли: они всё бичевали себя, и, когда их усталые руки уже не могли наносить сильных ударов, они, сами возбуждая себя, громко ревели:

— Али-и!

И снова железо цепей противно лязгало о вспухшие, изорванные спины, облитые кровью и красноватым светом факелов. Так продолжалось долго, до поры, пока пение толпы, удары кулаков и цепей и все другие звуки

не заглушил протяжный, воющий стон. Это один из бичующихся не выдержал более пытки, покачнувшись назад и с воплем плашмя рухнул на землю. Над ним склонились правоверные, чтобы омочить руки в его крови, — может быть, это будет святая, очищающая кровь, ибо человек, который умрет в этот день от истязания, свят.

Замучившегося подняли на руки и с громким пением понесли со двора. Его положат в мечети, а ежели окажется, что он еще в состоянии выздороветь, — может быть, его отправят в больницу, — может быть, потому что лечить священные раны позорно и постыдно.

Всю ночь до рассвета по горе бегали огни, то рассыпаясь на мелкие группы, то снова соединяясь в одну широкую, сияющую полосу и образуя собою горящие венцы, из которых к темному небу снова неслись крики, свист бичей, мягкие шлепки ударов и лязгание цепей. Но вот взошло солнце, и при первых лучах его весь этот фантастический кошмар исчез вместе с тучами, скрывавшими небо. Днем измученные шииты отдыхали в своих грязных домах с плоскими кровлями, на террасах, висящих в воздухе над Курой, на горе, около развалин крепости, в темных улицах, засоренных гниющими отбросами, полных тяжелого азиатского запаха. Вечером все сцены истекшей ночи повторились в грандиозном размере и с массой новых, поразительных деталей. В долине, у крепости, собралась огромная толпа. Тут были сотни людей разных племен Кавказа и Закавказья; все они, нетерпеливо глядя на Авлабар, ждали начала процессии. На сером фоне глыбы известняка, гигантской лестницей вздымавшейся к небу, отчетливо рисовались яркие цвета одежд: белые, желтые, синие и черные пятна усеяли гору. Женщины-магометанки, закутанные в широкие зеленые и белые покрывала, столпились в отдельную плотную группу, как овцы в жаркий день, и, безжизненные, обезображенные бесчисленными складками своих одежд, точно приросли к земле, уподобляясь неподвижной и безмолвной толпе привидений, созданных фантазией безумного. Дети птицами летали по горе, то и дело подвергаясь преследованию и внушениям со стороны храбрых полицейских, изнывавших под гнетом духоты, пыли и своих обязанностей. Все это казалось ве-

слюй и яркой картиной большого, праздничного гуляния...

Но вот из улиц Авлабара начали являться колонны шиитов.

— Али! Хус-сейн! — раздался в воздухе ритмичный крик, а его сопровождал дружный топот ног по камню и все эти противные звуки истязания тела. Каждая колонна имела сегодня свою особенность и в одежде и в способе пытки. Бичующиеся были одеты, как и вчера, — в черные хитоны, с вырезами на спинах, те, что резались ножами, — в длинные белые рубахи; головы первых были повязаны черными тряпками, вторые — обнажили свои синие, бритые, изрубленные черепа, и белая ткань их одеяния была вся в красных пятнах и полосах. На многих спинах и плечах сорванные кожа и мясо висели темными, запекшимися клочьями, и из них сочилась кровь. Но лица, почерневшие от боли, были облагорожены восторгом мученичества, ясно светившимся в широко раскрытых глазах.

Эти две колонны выстроились друг против друга и стали маршировать, то наступая, то отступая, грозя одна другой орудиями истязания, но не забывая увечить себя и все вскрикивая в такт своему маршу:

— Али! Хус-сейн!

Иногда один из шиитов выступал вперед и наносил себе страшный удар, от которого все его тело вздрагивало и как изломанное падало на землю, под ноги товарищей, встречавших его подвиг ревом похвал... А из города на долину уже выходила еще одна колонна человек в шестьдесят. Они были одеты в широкие белые юбки, прикрывавшие их тело от пояса до колен. Груды их были открыты и представляли собой образцы утонченных пыток.

Некоторые из этих людей, оттянув и прорезав себе кожу около сосцов, пропустили в образовавшуюся двойную рану дужки больших замков и заперли замки. Эти куски железа, весом, наверное, более фунта, висели на живом мясе, оттягивая его книзу. Другие воткнули глубоко под кожу груди ряд кинжалов, расположенных веером и дрожавших при каждом шаге. Какой-то юноша-атлет расшил себе грудь медной проволокой, иные, собрав кожу на щеках, защемили ее в тяжелые железные щипцы, к щекам других были привешены фунтовые гири,

державшиеся на железных крючках, пронзавших щеку. Высокий стройный красавец перс, с роскошной черной бородой, испортил свое бронзовое упругое тело массой машинных гвоздей, воткнув их в грудь и плечи... И положительно невозможно передать все разнообразие мучений, которым подвергали себя эти люди. Каждый шаг, даже каждый вздох должен был причинять невыносимую боль, ибо — их вздох колебал эти куски железа, воткнутые в живое тело. Но лица этих подвижников не выражали ничего иного, кроме упоения своими муками. Их появление было встречено радостным, одобрительным воем шиитов и глухим гулом голосов пораженной публики. Многие ушли от этой картины, иные — ругались, женщины — плакали, а ребяташки (их было много!), идя с боков колонны, со страхом и любопытством, большими глазами заглядывали на окровавленные, израненные груди. Посреди зрителей были также взгляды и лица, выражавшие благоговейное сострадание, трогательное чувство умиления, а многие, может быть, даже зависть чувствовали к силе веры этих людей, победивших себя ради славы своего бога...

...В то время, как я пишу эти строки, по горе опять идет процессия. Но уже небольшая — человек сто. В центре ее несут на плечах продолговатый предмет, завернутый в коричневую материю, а впереди развевается зеленое знамя. Это значит, что один из шиитов, участвовавших в процессии прошлых дней, удостоился славной смерти мученика, и вот единоверцы несут труп его, чтобы зарыть в землю, и завидуют ему, ибо он теперь упивается неземными ласками гурий в раю своего пророка. И в то время, как он там блаженствует, — здесь тоже чтут подвиг его — вот священное знамя пророка развевается над его истерзанным пытками прахом — и это великая честь человеку!

...Не один правоверный шиит ежегодно после этого страшного праздника отправляется под зеленым знаменем в свой веселый рай...



А. П. Чехов

В юмористических рассказах знаменитого русского писателя А. П. Чехова (1860—1904) запечатлены столь характерные для дореволюционной России тупость и пошлость мещанского существования людей самых различных профессий и положений. Тоскливое, темное, убогое существование замечательно воплощено в известном рассказе «Канитель», где дячок и бедная старушка равно опутаны привычными церковными обычаями и традициями, давно уже лишенными всякого смысла.

В рассказе «Тайна» та же необычайная тупость, готовность поддаться любым нелепым суевериям показана на людях высшего чиновничества.

А. М. Горький видел в юмористических рассказах А. П. Чехова сострадание «к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство». Это человеческое достоинство несовместимо с темными суевериями, страхом перед «таинственными силами», с темнотой и забитостью, унижающими людей.

На клиросе стоит дьячок Отлукавин и держит между вытянутыми, жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная с розового и кончая темно-синим. Перед ним на рыжем переплете Цветной Триоди¹ лежат две бумажки. На одной из них написано «о здравии», на другой — «за упокой», и под обоими заглавиями по ряду имен... Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и с котомкой на спине. Она задумалась.

— Дальше кого? — спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом. — Скорей, убогая, думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану.

— Сейчас, батюшка... Ну, пиши... О здравии рабов божиих: Андрея и Дарьи со чады... Митрия, опять Андрея, Антипа, Марьи...

— Постой, не шибко... Не за зайцем скачешь, успеешь.

— Написал Марию? Ну, таперя Кирилла, Гордея, младенца новопреставленного Герасима, Пантелея... Записал усопшего Пантелея?

— Постой... Пантелей помер?

— Помер... — вздыхает старуха.

— Так как же ты велишь о здравии записывать? — сердится дьячок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку. — Вот тоже еще... Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой?

— За упокой? Сейчас... постой... Ну, пиши... Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора... Запиши... воина Захара... Как пошел на службу в четвертом годе, так с той поры и не слышать...

— Стало быть, он помер?

— А кто ж его знает! Может, помер, а может, и жив... Ты пиши...

— Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой, коли жив, то о здравии... Пойми вот вашего брата!

— Гм!.. Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему все равно, как его ни

¹ Цветная Триодь — книга с изложением церковных служб.

записывай: непутящий человек... пропащий... Записал? Таперь за упокой Марка, Левонтия, Арину... ну, и Кузьму с Анной... болящую Федосью...

— Болящую-то Федосью за упокой? Тю!

— Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли?

— Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла, а нечего в заупокой лезть! Путаешь тут! Изволь вот теперь Федосью херить и в другое место писать... всю бумагу изгадил! Ну, слушай, я тебе прочту... О здравии Андрея, Дарьи со чады, паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новопреставленного младенца Гер... Постой, как же сюда этот Герасим попал? Новопреставленный, и вдруг — о здравии! Нет, запутала ты меня, убогая! Бог с тобой, совсем запутала!

Дьячок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел.

— Слушай! О здравии Марии, Кирилла, воина Захарии... Кого еще?

— Авдотью записал?

— Авдотью? Гм! Авдотию... Евдокию... — пересматривает дьячок обе бумажки. — Помню, записывал ее, а теперь шут ее знает... никак не найдешь... Вот она! За упокой записана!

— Авдотью-то за упокой? — удивляется старуха. — Году еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь! Сам бог, сердешный, путаешь, а на меня злобишься. Ты с молитвой пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебя бес хороводит да путает.

— Постой, не мешай...

Дьячок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листке Авдотью. Перо на букве «д» взвизгивает и дает большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок.

— Авдотью, стало быть, долой отсюда... — бормочет он смущенно, — а записать ее туда... Так? Постой... Ежели ее туда, то будет о здравии, ежели же сюда, то за упокой... Совсем запутала баба! И этот еще воин Захария встрял сюда... Шут его принес... Ничего не беру! Надо сызнова...

Дьячок лезет в шкафчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги.

— Выкинь Захарию, коли так... — говорит старуха.—
Уж бог с ним, выкинь...

— Молчи!

Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый листок.

— Я их всех гуртом запишу, — говорит он, — а ты неси к отцу дьякону... Пушай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый; он в семинарии обучался, а я этих самых делов... хоть убей, ничего не понимаю.

Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные полторы копейки и семенит к алтарю.



А. И. Чехов

ТАЙНА

Вечером первого дня пасхи действительный статский советник Навагин, вернувшись с визитов, взял в передней лист, на котором расписывались визитеры, и вместе с ним пошел к себе в кабинет. Разоблачившись и выпив зельтерской, он уселся поудобней на кушетке и стал читать подписи на листе. Когда его взгляд достиг до середины длинного ряда подписей, он вздрогнул, удивленно фыркнул и, изобразив на лице своем крайнее изумление, щелкнул пальцами.

— Опять! — сказал он, хлопая себя по колену. — Это удивительно! Опять! Опять расписался этот, черт его знает, кто он такой, Федюков! Опять!

Среди многочисленных подписей находилась на листе подпись какого-то Федюкова. Что за птица этот Федюков — Навагин решительно не знал. Он перебрал в памяти всех своих знакомых, родственников и подчиненных, припоминал свое отдаленное прошлое, но никак

не мог вспомнить ничего даже похожего на Федюкова. Страннее всего было то, что этот инкогнито-Федюков в последние тринадцать лет аккуратно расписывался каждое рождество и пасху. Кто он, откуда и каков он из себя — не знали ни Навагин, ни его жена, ни швейцар.

— Удивительно! — изумлялся Навагин, шагая по кабинету. — Странно и непонятно! Какая-то кабалистика! Позвать сюда швейцара! — крикнул он. — Чертовски странно! Нет, я все-таки узнаю, кто он! Послушай, Григорий, — обратился он к вошедшему швейцару, — опять расписался этот Федюков! Ты видел его?

— Никак нет...

— Помилуй, да ведь он же расписался! Значит, он был в передней? Был?

— Никак нет, не был.

— Как же он мог расписаться, если он не был?

— Не могу знать.

— Кому же знать? Ты зеваешь там в передней! Припомни-ка, может быть, входил кто-нибудь незнакомый! Подумай!

— Нет, вашество, незнакомых никого не было. Чиновники наши были, к ее превосходительству баронесса приезжала, священники с крестом приходили, а больше никого не было...

— Что же, он невидимкой расписался, что ли?

— Не могу знать, но только Федюкова никакого не было. Это я хоть перед образом...

— Странно! Непонятно! Удивительно! — задумался Навагин. — Это даже смешно. Человек расписывается уже тринадцать лет, и ты никак не можешь узнать, кто он. Может быть, это чья-нибудь шутка? Может быть, какой-нибудь чиновник вместе со своей фамилией подписывает, ради курьеза, и этого Федюкова?

И Навагин стал рассматривать подпись Федюкова.

Размашистая, залихватская подпись на старинный манер, с завитушками и закорючками, по почерку совсем не походила на остальные подписи. Находилась она тотчас же под подписью губернского секретаря Штучкина, запуганного и малодушного человечка, который наверное умер бы с перепугу, если бы позволил себе такую дерзкую шутку.

— Опять таинственный Федюков расписался! — ска-

зал Навагин, входя к жене. — Опять я не добился, кто это такой!

М-те Навагина была спириткой¹, а потому все понятные и непонятные явления в природе объясняла очень просто.

— Ничего тут нет удивительного, — сказала она. — Ты вот не веришь, а я говорила и говорю: в природе очень много сверхъестественного, чего никогда не постигнет наш слабый ум. Я уверена, что этот Федюков — дух, который тебе симпатизирует... На твоём месте я вызвала бы его и спросила, что ему нужно.

— Вздор, вздор!

Навагин был свободен от предрассудков, но занимавшее его явление было так таинственно, что поневоле в его голову полезла всякая чертовщина. Весь вечер он думал о том, что инкогнито-Федюков есть дух какого-нибудь давно умершего чиновника, прогнанного со службы предками Навагина, а теперь мстящего потомку; быть может, это родственник какого-нибудь канцеляриста, уволенного самим Навагиным, или девицы, соблазненной им...

Всю ночь Навагину снился старый, тощий чиновник в потертом вицмундире, с желто-лимонным лицом, щетилистыми волосами и оловянными глазами; чиновник говорил что-то могильным голосом и грозил костлявым пальцем.

У Навагина едва не сделалось воспаление мозга. Две недели он молчал, хмурился и все ходил да думал. В конце концов он поборол свое скептическое самолюбие и, войдя к жене, сказал глухо:

— Зина, вызови Федюкова!

Спиритка обрадовалась, велела принести картонный лист и блюдечко, посадила рядом с собой мужа и стала священнодействовать. Федюков не заставил долго ждать себя...

— Что тебе нужно? — спросил Навагин.

— Кайся... — ответило блюдечко.

— Кем ты был на земле?

— Заблуждающийся...

— Вот видишь! — шепнула жена. — А ты не верил!

¹ Спиритизм — нелепое учение, основанное на вере в «духов» и загробную жизнь, а также в возможность общения живых с умершими.

Навагин долго беседовал с Федюковым, потом вызвал Наполеона, Ганнибала, Аскоченского, свою тетку Клавдию Захаровну, и все они давали ему короткие, но верные и полные глубокого смысла ответы. Возился он с блюдечком часа четыре и уснул успокоенный, счастливый, что познакомился с новым для него, таинственным миром. После этого он каждый день занимался спиритизмом и в присутствии¹ объяснял чиновникам, что в природе вообще очень много сверхъестественного, чудесного, на что нашим ученым давно бы следовало обратить внимание. Гипнотизм, медиумизм, бишопизм, спиритизм, четвертое измерение и прочие туманы овладели им совершенно, так что по целым дням он, к великому удовольствию своей супруги, читал спиритические книги или же занимался блюдечком, столоверчением и толкованиями сверхъестественных явлений. С его легкой руки занялись спиритизмом и все его подчиненные, да так усердно, что старый экзекутор² сошел с ума и послал однажды с курьером такую телеграмму: «В ад, казенная палата. Чувствую, что обращаюсь в нечистого духа. Что делать? Ответ уплачен. Василий Кринолинский».

Прочитав не одну сотню спиритических брошюр, Навагин почувствовал сильное желание самому написать что-нибудь. Пять месяцев он сидел и сочинял и в конце концов написал громадный реферат под заглавием: «И мое мнение». Кончив эту статью, он порешил отправить ее в спиритический журнал.

День, в который предположено было отправить статью, очень памятен. Навагин помнит, что в этот незабвенный день у него в кабинете находились секретарь, переписывавший набело статью и дьячок местного прихода, позванный по делу. Лицо Навагина сияло. Он любовно оглядел свое детище, потрогал меж пальцами, какое оно толстое, счастливо улыбнулся и сказал секретарю:

— Я полагаю, Филипп Сергеевич, заказным отправить. Этак вернее... — И, подняв глаза на дьячка, он сказал: — Вас я велел позвать по делу, любезный. Я отдаю младшего сына в гимназию, и мне нужно метрическое свидетельство, только нельзя ли поскорее.

¹ Присутствие — место службы.

² Экзекутор — в царской России смотритель, заведующий хозяйственной частью учреждения.

— Очень хорошо-с, ваше превосходительство! — ска-
зал дьячок кланяясь. — Очень хорошо-с! понимаю-с...

— Нельзя ли к завтраму приготовить?

— Хорошо-с, ваше превосходительство, будьте по-
койны-с! Завтра же будет готово! Извольте завтра при-
слать кого-нибудь в церковь перед вечерней. Я там буду.
Прикажете спросить Федюкова, я всегда там...

— Как?! — крикнул генерал бледнея.

— Федюкова-с.

— Вы... вы Федюков? — спросил Навагин, тараща на
него глаза.

— Точно так, Федюков.

— Вы... вы расписывались у меня в передней?

— Точно так, — сознался дьячок и сконфузился. —
Я, ваше превосходительство, когда мы с крестом ходим,
всегда у вельможных особ расписуюсь... Люблю это са-
мое... Как увижу, извините, лист в передней, так и тя-
нет меня имя свое записать...

В немом оупении, ничего не понимая, не слыша,
Навагин зашагал по кабинету. Он потрогал портьеру
у двери, раза три взмахнул правой рукой, как балетный
jeune premier¹, видящий ее, посвистал, бессмысленно
улыбнулся, указал в пространство пальцем.

— Так я сейчас пошлю статью, ваше превосходитель-
ство, — сказал секретарь.

Эти слова вывели Навагина из забытья. Он тупо
оглядел секретаря и дьячка, вспомнил и, раздраженно
топнув ногой, крикнул дребезжащим, высоким тенором:

— Оставьте меня в покое! А-ас-тавь-те меня в покое,
говорю я вам! Что вам нужно от меня, не понимаю?

Секретарь и дьячок вышли из кабинета и были уже
на улице, а он все еще топал ногами и кричал:

— Ас-тавьте меня в покое! Что вам нужно от меня,
не понимаю? А-ас-тавьте меня в покое!

¹ Первый танцовщик.



А. С. Серафимович

В рассказе «Чудо» известный советский писатель А. С. Серафимович (1863—1949) показывает, как церковь и духовенство разжигали суеверия в темном, неграмотном крестьянстве царской России.

Ч У Д О

В январскую стужу, привалившись к задку саней, ехал казак Наумыч в станицу.

Заиндевевшая лошадь бежит споро. Кругом пустая степь, занесенная снегом. Нанскосок, через дорогу, тянет злая поземка. Верст семнадцать осталось.

Вдруг Наумыч натянул вожжи. Лошадь стала.

— Что за притча?..

Шагах в десяти от дороги пар шел. Слез Наумыч, идет, проваливается по сугробам. Чудеса! В ложбине чернеет живая вода, снег кругом мокрый, а в воде лягушонок плавает — оттаял.

— Али наваждение?.. — перекрестился Наумыч.

Знает — кругом верст на двадцать капли воды нет,

стопь сухая, как кирпич, и от мороза даже воздух оледенел.

Побежал назад, ввалился в сани и погнал лошадь. А в станице — прямо к попу.

— Так и так, батюшка, нонче мне наваждение в степе было, благословите. Двадцать годов езжу по этому самому месту, капли-росинки никогда там не бывало, и называется Сухой Лог, кругом мороз, а тут прямо живая вода, а в ей лягушонок плавает.

Поп сунул ему в губы волосатую руку, выслушал да как заревет боровом:

— Мать, дай ему стакан водки! Да вели Николаю запрягать вороных. Пошли за дьяконом, за дьячком, приготовьте облачение... А ты, мать, полезь на подловку, там в углу навалены иконы, выбери какую постарей божью мать, почерней какую. Да сама полезь, а то Палашка не сумеет. Да не забудь... того... — крикнул он вдогонку, — энтого... бутылочку в сани поставить, — мороз больно здоров.

Попадья, вся в паутине, слезла с подловки и подала почернелую доску:

— На вот. Только нос у ней маленько сколопнут.

Через полчаса поп в новой енотовой шубе, с ним здоровенный, похожий на быка дьякон — в волчьей, и в пальтишке не попадавший зуб на зуб дьячок — быстро ехали на паре сытых вороных в степь.

Вот и ложок, и пар от него идет. Глядь, а с другой стороны на паре гнедых тоже трое жарят: поп с дьяконом и с дьячком из хутора, — пронюхали, каналы.

Подскакали разом; выскочили попы да к воде с иконами. И стали друг дружку пихать.

— Ты что же это в чужой приход, сивый мерин? А?!

— Врешь, бабьятник, наш, хуторской, тут юрт.

Вцепились друг другу в бороды. Дьяконы из саней на помощь поспешают. А у дьячков свое — кадило в сторонке раздувают.

Станичный дьякон скинул с правой руки волчину да, не крестясь, не молясь, ка-ак ахнет хуторского батюшку, — тот и ушел головой в снег.

Взревел по-бабьи хуторской дьякон:

— А-а, так ты нашего!..

Скинул тулуп, размахнулся — господи, благослови. И задрал ноги станичный поп, зад весь в снегу показал.

Сошлись дьяконы, оба ражие, откормленные, с бычьими шеями, и голоса рыкающие, — быть бы большому бою, да бегут кучера, кричат:

— Батюшки!.. Батюшки!.. Народ едет...

А народ действительно ехал: со всех сторон зачернели сани. И как это быстро весть о чуде облетела станицу и хутора!

Попы, крича, поднялись, и пошло: «господи помилуй», и «аллилуя», и «радуйся, невесто невестная»...

На другой день народу привалило еще больше. Везут безруких, хромых, слепых, иссохших, измученных, падучих, порченных, кликуш. И все с умилением, со слезами пьют святую воду и прикладываются к явленным, быстро стынувшим на воздухе: морозно — прилипают губы, больно отдирать. А кругом вздохи, крики, плач, визг. Кликуши голосят:

— Матушки, царицы небесные! Да как же вы нас сподобили, недостойных?! Хучь бы одна, а то сразу две — преподобная Одигитрия ды Казанская божая мать...

А около попов растут кучи денег, печеного хлеба, яиц, сала, овчины, мешки с пшеницей. Пара вороных и пара гнедых не успевают отвозить.

Так тянулось целых четыре дня. Измучились попы, до седьмого поту трудятся. По области, по станицам, по хуторам слава пошла о двух явленных и как они исцеляют болящих. И те, кто приезжал, своими глазами видели явленные иконы в живой воде, как для болящих царицы небесные воду всё прибавляют — стало уж маленькое озерце и не мерзнет.

Удивляется народ, в страхе и умилении пьет воду, набирает в пузырьки, в бутылки и развозит по всей области.

На пятый день приехали на двух санях рабочие, хмурые, черные от вьевшегося металла и масла. Вылезли, достали инструменты, подошли.

— Ну, будет вам тут турысы разводить...

Вскинулись попы и молящиеся:

— Вам чего надо? Тут явленные матушки, царицы небесные — Одигитрия да Казанская...

— Ма-атушки!.. Ишь, сколько воды нашло. В станице, почитай, водопровод стал, без воды все сидят.

Труба лопнула, а вы воду лакаете, да еще с водосвя-
тием. Ну, пускайте, некогда нам тут с вами...

И принялись за работу. Развели костры, оттаяли
землю, вырыли колодцы; открыли водопроводную трубу,
заменяли лопнувшую часть новой, опять засыпали зем-
лей и уехали.

Вскоре поднялась метель, все бело сравняло, и опять
в степи стало тихо, безлюдно.



А. С. Серафимович

ДВЕ БОЖЬИ МАТЕРИ

На окраине огромного города, высоко над рекой, красиво белел большой дом. Внизу, на берегу, черно дымила фабрика. В третьем этаже белого дома, в громадных комнатах, залитых солнцем, жил хозяин фабрики с семьей. В полутемном подвале жил ткач с ткачихой той же фабрики.

У фабрикантши родилась дочка. У ткачихи тоже родилась маленькая.

В великолепной спальне висел образ божьей матери в золотой ризе. Барыня верила в бога, но знала, что божья мать хорошо нарисована на доске, а толку от нее никакого не будет, если у человека нет денег. У ткачихи в запаутиненном углу тоже висела икона с почернелым ликом. Ткачиха с глубокой верой молилась, думала, что на нее смотрит сама божья мать живая.

У фабрикантши были вокруг ребенка няньки, мамки,

горничные, и кормила молодуха, которая из-за нищеты с тоской бросила свое дитя в деревне умирать на кислой соске, набитой ржаным хлебом.

Ребенок ткачихи целый день, надрываясь, кричал, голодный, в мокрых вонючих пеленках, некому приглядеть: мать и отец целый день за гремучим станком на фабрике, — и ни на минуту не замирала тоска по своему маленькому.

Дочка фабрикантши расцветала, как цветок, — розовая, с перетянутыми ниточками ручками и ножками. И смотрели на нее нарисованные на доске глаза в золотой оправе. Дочка ткачихи — желтенькая, со старушечьим личиком, кривыми ножками, как пожелтевшая травка в темноте погребка. И смотрело на нее почерневшее лицо, нарисованное на потрескавшейся доске.

Заболела дочка фабрикантши. Налетели со всех сторон самые знаменитые доктора, профессора, платили им большие тысячи — и выпользовали девочку. Опять она, розовая и живая, щебетала, как птичка. И смотрела на нее божья мать в золотой оправе.

Заболела дочка ткачихи — стало ей сводить ручки и ножки, почернело маленькое личико, повело посиневший ротик. Билась головой о доски измученная мать, рвала волосы, кидалась на колени и страстно молилась, мучительно сжимая грудь костлявыми руками и иступленно глядя на почерневшую икону полными муки, слез, надежды, отчаяния глазами:

— Мати пресвятая, пречистая, заступница! Спаси ты мне дочечку... вызволи ты мне дочечку... пушай поздоровет моя девочка... поставь ты ее на ножки... За что так она мучится?! Мати пресвятая...

Гудит гудок, бросает ткачиха, глотая слезы, больную крошку, бежит работать на фабрикантово семейство. Уходит и ткач на работу, а в глазах — тоска.

Умерла маленькая и лежала, как желтенький свернувшийся листик, а в углу висела черная доска.

Поп торопливо похоронил, стараясь поскорей отделаться и скороговоркой приговаривая:

— Пути господни неисповедимы... зато ей там хорошо будет... на том свете.

— Хоть бы она на этом, хоть бы часочек, один бы часочек как следует пожила, — захлебываясь, выговорила мать.

Поп прикрикнул:

— Не гневи господя! Господь каждому дает крест, и каждый должен нести его. А то гореть тебе в печи огненной.

Росла и расцветала дочка у фабрикантши; у ткачихи тлела в могиле; и никогда не заживала тоска у замученной женщины.

По-прежнему висели две божьи матери: одна наверху, в вызолоченной оправе, хорошо нарисованная, другая — в полутьме подвала, старая, полопавшаяся.



А. С. Серафимович

В рассказе «В семье адвоката» автор высмеивает нелепые предрассудки и суеверия, жившие и в так называемой «культурной среде» — в среде буржуазной интеллигенции.

В СЕМЬЕ АДВОКАТА

Это была интеллигентная семья. Он — известный адвокат, с хорошо вычищенными ногтями. Она когда-то год или два была на курсах. Хорошая квартира, высокие потолки, громадные окна, тяжелые портьеры, дорогие картины на стенах. Мальчуган у них восьми лет, способный. Надо отдавать в гимназию. Наняли учителей, хорошо подготовили.

— Иван Александрович, — сказала жена, — завтра Сереже на экзамен, мне бы хотелось пригласить отца Николая, чтобы молебен отслужил, бог его знает, как экзамен...

— Э-э, да будет тебе, терпеть не могу запаха ладана — так и несет покойником.

Мальчик хорошо сдал экзамен. Адвокат вернулся бледный, с вздрагивающими щеками.

— Что с тобой?

— Можешь себе представить... ты знаешь, знаешь... Александр Александрыч, прокурор...

— Ну, ну?..

— Мертвый на перекрестке...

— Да что ты?!

— Ехал на автомобиле, лопнула шина, он вышел, а тут рысак наскочил, сбил, копытом в висок, готов... Сейчас повезли...

Она глядела округлившимися глазами. А у того все вздрагивала бледная, отекаящая щека.

— Никогда не уверен, что с тобой самим не случится каждую минуту, каждую секунду...

— Это ужасно! — сказала жена.

Он закурил, стараясь овладеть собою, и небрежно уронил:

— Ты там хотела... молебен, ну что ж, устрой...

— Да ведь Сережа выдержал экзамен.

— Что ж, отлично, можно отца Николая пригласить... к обеду.

— Так я благодарственный устрой. Будет директор. Такой милый к Сереже.

Громадный стол белел ослепительными приборами в столовой, отделанной темным дубом. В гостиной стоял сдержанный говор в синих слоях сигарного дыма. Директор гимназии с холеной, на две половины бородой, поп с золотым наперсным крестом, в котором, как росинки, блестели бриллианты. Были учителя, судебные деятели, приятели хозяина, жены их. Поп, заправив шелковые рукава, начал молебен; дьякон, такой же чистый и шелковый, помогал. Адвокат снисходительно и стыдливо поматывал рукой около живота, как бы давая понять: «Знаете, женщины... с ними не поспоришь... жена все завела...» А у самого все стоял прокурор с синим пятном на виске и где-то глубоко спрятанное ощущение, что это пение, поблескивающий крест, это мотание около живота как-то отгораживает его от прокурора, от того ужасного, что с прокурором случилось.

Подошла жена и незаметно тронула. Глянул — у нее, побледневшее лицо. Он шепотом:

— Что такое?

— Это невозможно... понимаешь, ужасно, — прошептала она.

— Да что такое?

— Понимаешь, Сергей Федорович не пришел, я сейчас подсчитала — нас тринадцать за стол сядет.

— ...господу по-мо-о-лимся...

— Так что же делать? За обед, что ли, не садиться?.. — прошептал он раздраженно и торопливее замотал около живота: что-то екнуло — вспомнился прокурор.

— Я посажу портниху за прибор, скажу: дальняя родственница приехала из провинции.

Он поморщился:

— Как знаешь...

Отец Николай, придерживая широкий рукав, благословил пития и яства. Повеселели, разогрелись. Адвокат рассказывал, с заблестевшими глазами, анекдоты из судебной практики, все хохотали, а он поглядывал иногда на портниху: «Ну и кикимора! А хорошо жена сделала, что посадила, — неприятна была бы эта чертова дюжина».

Адвокат любил, когда его маленький Сережа в гимназической курточке приходил в кабинет, забирался с ногами на диван и начинал разговоры.

— Папа, откуда горы взялись?

— Что же, у вас в гимназии разве не учат?

— У нас в географии сказано, что горы оттого, что земля сморщилась.

— Ну, сморщилась, значит сморщилась, раз в географии сказано.

— А батюшка говорит, горы и всё бог сотворил.

— Ну, раз батюшка говорит — значит, бог создал.

— А в географии сказано, что сморщилась...

— Гм...

Отец пускает кольцами сигарный дым и слегка барабанит пальцами по столу.

— А? папа, а? Ну скажи, а?

— Да что ты пристал, скверный мальчишка?! Ступай к матери, мне заниматься надо.

У Сережи наливаются слезами глаза.

— Ты злой, папка!

Слезает с дивана и, торопливо смаргивая слезы длинными ресницами, уходит.

— Ты что, Сережа, — говорит мать, прижимая его голову к груди, — дорогой мой мальчик? Чего ты плачешь?

— Папа — злой. Я говорю — сморщилась, то есть в географии сморщилась, а батюшка — бог создал, а папа меня прогнал...

— Да что такое, не понимаю.

— Да горы — в географии оттого, что сморщилась земля, а батюшка — оттого, что бог создал, — а папа сердится.

— Видишь, Сережа, батюшку надо слушаться, а бога любить. Господь бог наш Иисус Христос — нам отец, он о всех нас заботится...

— Я знаю, мама, и я молюсь, только в географии...

— Географию, конечно, надо учить, и ты должен порадовать нас с папой, принести четверку за четверть...

— Мамочка, я учу, я стараюсь, и выучил в географии, что горы сморщились, а батюшка...

— Ну что ж такого? Маленькие горы, как в географии сказано, сморщились, а большие бог создал...

— Мама, а в географии сказано, всякие — оттого, что земля сморщилась...

— Фу, Сережа, какой ты несносный мальчик! Иди погуляй с гувернанткой, а то у тебя голова разболится...

Сережа уходит с грустными глазами.



И. И. Скворцов-Степанов

В рассказе «Торбеевский идол» автор стремится объяснить, как создается вера в богов и кому она выгодна.

Разумеется, этот символический рассказ не может серьезно вскрыть все социальные корни религии, но он подводит к мысли о том, что в классовом обществе «страх создает богов», что на дарах верующих наживаются жрецы и церковники.

А между тем в ярком свете весеннего дня Костин идол оказался просто трухой. И в ярком свете нового мира, в свете современной науки все эти идолы и боги оказываются нелепыми измышлениями, суевериями, которые рассыпаются в прах.

ТОРБЕЕВСКИЙ ИДОЛ

Это было давно, много-много лет назад.

Но и теперь так бывает.

Мы жили дружной гурьбой: шести-семилетние малыши и ребята десяти и двенадцати лет.

Все мы порядочно побаивались Кости, сына торбеевского протопопа¹. Мы его старались задобрить и давали ему то конфетку, то пряник.

¹ Протопоп — священник.

Он относился к нам свысока, как к неразумным созданиям. В наши игры он не мешался, но иногда откалывал с нами злостные шутки.

Особенно памятен мне один случай.

Это было на исходе зимы. Снег начинал таять. Мы разделились на партии и осыпали друг друга жестоким градом снеговых бомб. Общими силами скатывали снег в огромные глыбы. Пытались лепить фигуры людей и животных.

Это дело шло плохо: у нас не хватало выдержки и искусства. Мы не успели слепить ни одного порядочного истукана. Только что сделаем грубые ноги, туловище, руки и голову — как уж кто-нибудь налетит и одним ударом лопаты разрушит наше творение.

Костя, посмеиваясь, остановился против нас и о чем-то задумался. А потом начал командовать нами.

Мы расчистили место перед крыльцом. Затем скатали две снеговые тумбы и поставили их на расчищенном месте. На эти тумбы с великим трудом, пригласив на помощь соседей, водрузили громадный снеговой ком. Костя работал с лопатой, прилепывал, прихлопывал, отбивал в одном месте, надбавлял снегу в другом. И скоро мы увидели, что получилось большее человеческое туловище на коротких и толстенных ногах. Затем к нему были приделаны руки, шея, голова. Вместо глаз Костя вставил угольки, из мелких же угольков сделал огромные черные брови дугой.

Я не знаю, где теперь злой Костя. Но я еще и теперь сохраняю глубокое уважение к его ваятельским способностям. Ни раньше, ни позже я не видел такого ужасного и великолепного в своей чудовищности истукана. И ни одно скульптурное произведение других стран и народов не производило на меня такого жуткого и неизгладимого впечатления, как статуя, воздвигнутая Костей при нашем содействии. И, хотя я в свои поздние годы видел статуи и месопотамских, и персидских, и египетских, и занзибарских богов, я до сих пор не могу отделаться от мысли, что еще никогда и никому не удавалось создать такого исполинского и грозного бога.

В правой руке у истукана была увесистая дубинка, которую где-то разыскал Костя. Левая рука с растопыренными пальцами была угрожающе протянута вниз и вперед. Каждый раз, когда я проходил мимо статуи,

мне казалось, что эта рука тянется ко мне и вот-вот схватит за воротник.

Но самое страшное в истукане была его ужасная пасть: широкая, глубокая — казалось, в нее ушла бы вся моя головенка. Из нее торчали ужасные зубы. Впоследствии я понял, что Костя где-то разыскал челюсти дохлой коровы или лошади, а может быть, собаки и с большим искусством приладил их к своему истукану. Но тогда я не знал, откуда взялись зубы, и в страхе думал, что они выросли у статуи так же, как у маленького Шурика прорезались мелкие зубки.

Когда все было готово, Костя с таинственным видом сказал, что теперь надо опрыскать идола живой и мертвой водой. Мы быстро наносили живой воды из колодца. А за мертвой водой Костя отправил нас под горку, где был родник, не замерзавший зимой. Мы взяли санки, привязали к ним ушат и, налив его до самого верха, общими силами привезли к истукану. Костя, вооружившись веником и ковшом, с мрачно-серьезной и торжественной физиономией обрызгивал и обливал истукана. Вечерний мороз превратил его в сплошной кусок льда.

Наступила самая торжественная минута. Костя построил нас в два ряда перед статуей и, приказав повторять все его движения, стал впереди нас. Затем он молитвенно поднял руки, потом приложил их к груди, а в заключение простер к истукану и возгласил: «О бог, о царь этих мест! Будь к нам милосерд! Призри на наше смирение! Прими наши жертвы и осени успехом и счастьем всякий наш шаг!» Он закончил свое моление низким поклоном и долго стоял, склонившись в благоговейном молчании.

Я весь трепетал, подавленный величием церемонии. И жутко и боязно было у меня на душе, и сильно кололось мое сердчишко, когда я осмеливался бросить робкий взгляд на идола, который свирепо смеялся страшными челюстями собаки или коровы.

Костя порылся у себя в кармане и, отыскав завалявшийся мятный пряник, положил его на дощечку, прилаженную перед чудовищной пастью. Все мы должны были принести в жертву что у кого было: конфетку, грецкий орех, горсточку подсолнухов. Когда я приблизился напоследок и протянул ручонку, в которую собрал все, что у меня было в кармане: две конфетки,

гречкий орех и медовый пряник, — на душе у меня захолонуло: а вдруг страшные челюсти схватят и оттяпают руку? Никогда еще не переживал я такой страшной минуты.

Костя возвестил, что каждый раз, как мы выходим из дому, мы должны приносить подобающую жертву. Тогда у нас во всем будет удача. Иначе не избежать нам страшной мести грозного царя села Торбеева и окрестностей.

Впоследствии я вспомнил, что как-то раз у Кости из кармана вывалилась конфета, которую я за полчаса перед тем принес идолу. Вспомнил я также, что у Кости часто происходили какие-то таинственные совещания с Митей и Славой. Но тогда я твердо верил, что сам идол, оставшись один, пожирает все жертвы.

Зима была затяжная. Весна долго не разворачивалась. Ненасытное идолище крепко стояло на своем месте. В следующие дни дубинка в руке заменилась длинным копьём. На голове появился грозный шлем: старый, проржавевший железный таз. В дырку таза воткнули хвост коровы, которая оторвала его, захлестнувшись им за сучок.

Я все не мог освоиться с идолom. Всякое новое украшение и всякое новое изменение возрождало и увеличивало мой страх. Другие малыши были в таком же угнетенном настроении, как и я.

Пошли рассказы о чудесных происшествиях. Слава рассказывал, что он три дня кряду отдавал идолу все лакомства, которые добывал, и зато на третий день поймал снегиря. А Митя, который как-то раз вышел к нам прихрамывая и с ободренным носом, поведал, что вчера он пострадал за свое нечестие. Выходя из дому, он ничего не положил на жертвенник торбеевского царя. Но зато, как только он покатился с горки, санки перевернулись, Митя перекинулся, зашиб ногу и разодрал нос. А когда он к ночи возвращался домой, он видел, как огоньками сверкали глаза идола, и слышал, как идол хриплым басом сказал: «Покайся, грешник!».

Костя присутствовал при этих рассказах и своим мрачным видом подтверждал их достоверность.

Так прошло, должно быть, не меньше недели. А затем все закончилось страшным для меня происшествием.

В то утро я проснулся веселый и бодрый. Дома мне

не сиделось. Я быстро съел кусок хлеба, выпил молока с пряником и помчался на улицу. Пробежав мимо истукана, я вдруг вспомнил: второпях я съел решительно все, что передо мной было, и ничего не оставил для умиловительной жертвы. Вначале эта мысль неотступно преследовала меня. Но затем я увлекся сооружением снеговой крепости и развернувшимся сражением против наступающего противника. Все шло превосходно. Мы отбили вражескую армию, и я не был ранен ни разу.

Это подбодрило меня. А уже в то время у меня начали являться подозрения, что Костя со своими союзниками нас одурачивает. Я весело пошел домой, ухарски размахивая руками, и смело проскочил под самым носом страшного истукана. Ничего со мною не случилось.

Удивительно быстро нарастает вольномыслие! Я очень хорошо пообедал и дерзнул сам съесть все свои лакомства. Я не забывал об истукане. Как раз наоборот: я все время помнил о нем и, уничтожая конфетки и пряники, про себя подсмеивался над снеговым царем Торбеева.

Начав свое освобождение от цепей веры, я почувствовал величайший подъем духа. Смелый, дерзновенный, готовый вступить в борьбу со всеми злыми силами, я выскочил на улицу и, приплясывая, пошел к истукану. Когда я взглянул на него, мне вдруг стало смешно: хвост, который у коровы прикрывал эвона какую часть тела, украшает голову торбеевского царя. Смешной идол! Я сам скатывал снег, из которого ты сделан, я и другие малыши воздвигли тебя! И я ни капельки, ни чуточки не боюсь тебя!

Пожалуй, я чересчур расходился. Уж очень легко почувствовал я себя, когда моя мысль сделала первый шаг в освободительной борьбе. Я залихватски поднял голову, издевательски высунул язык и показал нос истукану, который представлялся мне теперь таким жалким и смешным.

Но в тот же самый момент я увидел Костю, которого до того времени не замечал. Он стоял в нескольких шагах от меня и суровым взором смотрел на начавшееся низвержение богов.

Костя не сказал ни слова. Он только мрачно и многозначительно покачал головой. Мое недавнее бодрое настроение разом упало.

Костя, конечно, разом понял, что этого дела нельзя так оставить: мое вольнодумство могло бы заразить других малышей, и наступил бы конец господству жреческого сословия.

Костя действовал очень тонко. Очевидно, он быстро договорился с Митей и Славой. И вот, когда мы все собрались за сараем, начались рассказы, один чудеснее и страшнее другого. В соседнем Бунькове мальчик показал истукану пряник и потом, издеваясь, сам съел его. Зато ночью, когда он пошел в чулан, в сенях кто-то невидимый подставил ему ногу, повалил на землю и захохотал страшным хохотом. А другой нечестивец был наказан тем, что под ним опрокинулась скамейка, когда он катился с горы. Свалившись, он вышиб себе два зуба и расквасил нос.

Рассказы непрерывно шли один за другим. Костя, Митя и Слава не умолкали. Едва кончал один и слушатели не успевали оправиться от произведенного впечатления, как другой уже начинал: «А вот еще был такой случай». Пошли рассказы о домовых, о леших, о ведьмах, о русалках. Наши жрецы увлеклись. Я теперь думаю, что они не просто выдумывали, не просто запугивали нас, но и сами верили многому из того, что они нам рассказывали, и сами содрогались от тех ужасов, о которых нам говорили. По крайней мере, Слава попросил Костю, чтобы тот проводил его до дому.

За рассказами и за страхами мы не заметили, как надвинулась темная ночь. Надо было возвращаться домой. Я жил почти на другом конце деревни. Нас осталось всего четверо: Костя, Слава, я и моя сестренка, которая была двумя годами старше меня. За несколько дворов до нашего дома Костя и Слава повернули в свой переулочек, и мы с Катей остались одни.

Я чувствовал себя скверно-прескверно. Мне все время казалось, что кто-то идет за мной по следам и, если я побегу, произойдет что-то страшное: «он» сейчас же схватит меня. И мне казалось, что его рука уже занесена надо мной и вот-вот опустится на спину. Каждый шаг доставлял величайшую муку. Идти тихо — попытка долго не кончится, побежать — кто-то разом догонит и схватит.

Не думаю, чтобы Катя чувствовала себя лучше меня. Так мы и шли, боязливо держась за руки и прижав-

шлись друг к другу, боясь проронить хоть одно слово и потревожить безмолвие ночи.

Я еще и теперь помню, что где-то вдали отчаянно и протяжно завывала собака и в соседнем дворе бесконечно уныло ей подвывала другая. Казалось, тоска, бесконечная тоска повисла в воздухе и хватала за сердце. На небе — ни звездочки. Мы с Катей одни бредем в пустынном и опустевшем мире, а за нами кто-то крадется, крадется... Мы с Катей одни во всем мире, а кроме нас, еще только торбеевский царь. И этот царь наполнил весь мир. Я знаю, что он стоит вот здесь, справа от нас и немного впереди. Но он сзади нас, и с боков, и сверху, и мы никогда и никуда не уйдем от него и всегда будем чувствовать на себе его ужасную руку. Во всем мире и во мне самом — торбеевский царь.

Я вспомнил о мести этого царя всем непокорным. И я сам, маленький и бессильный Вася, сегодня издевался над этим грозным и вездесущим существом...

Те полсотни шагов, которые оставалось нам сделать после того, как мы расстались с Костей и Славой, показались мне вечностью: им конца не будет, я никогда не дойду до своего дома...

Вдруг с той стороны, где стояло неумолимое и гневное божество, послышалось ужасающее рычание и хрипящий могильный голос заговорил: «Великий грешник Вася, покайся!»

Я ничего дальше не помню. Совсем не помню, как пронеслись мы до крыльца, как миновали темные сени и ворвались в дом.

Помню только, что я не мог произнести ни слова и, подпрыгивая перед перепуганной матерью, сам не свой кричал: «У-у-у!..» Катя сначала не могла вымолвить ни звука, а затем, трясаясь всем телом, начала пронзительно плакать.

Я не помню, как меня уложили. Потом я узнал, что я часто вскрикивал во сне, бормотал: «Никогда больше не буду», плакал и всхлипывал. Просыпаясь, я опять начинал тянуть свое «у-у-у». Хотели послать за доктором.

Когда Катю удалось успокоить, от нее после долгих расспросов узнали обо всем, что случилось.

К рассвету я успокоился. Проснулся очень поздно, перед обедом. Около кровати сидела мать и тревожно

смотрела на меня. Когда я, выпростав ручонки из-под одеяла, потянулся к ней, она радостно улыбнулась.

По стенам прыгали зайчики от графина с водой. Подбежав к окну, я увидел, что по тропинкам бегут веселые ручейки. Чирикание воробьев и задорный крик синиц были так громки, что прорывались через двойные рамы. В одну ночь прикатила весна.

За обедом я сидел рядом с отцом. Он поглаживал меня по спине. И так хорошо было чувствовать его спокойную, сильную и в то же время ласковую руку.

— Глупый, — проговорил он, обращаясь ко мне, — неужели ты сразу не понял, что все это — Костины фокусы?

После обеда мы с отцом пошли разбрасывать снег. Он взял меня за руку и, не говоря ни слова, направился к истукану.

Светило солнце, задержанное легкой облачной дымкой. Воробьи и синицы, казалось, с ума сошли от радости. Из соседней рощи доносился крик грачей, приступивших к постройке и возобновлению гнезд. Один грач залетел в нашу сторону, сел на плетень, неторопливо поворочал головой и опять полетел к роще.

Свег разогнал ночные страхи. А тут еще спокойная и крепкая рука отца. Думаю, что и ночью я понял бы, что, как ни силен торбеевский царь, все же он побоялся бы напасть на отца.

Торбеевский царь порядочно пострадал от бурного весеннего дня. Челюсть перекинулась и беспомощно торчала из пасти. Коровий хвост взмок, по нему струились и падали капля за каплей. Все туловище осело и покачнулось.

Отец весело взглянул на меня и, взмахнув ломом, ударил по ногам-тумбам. Истукан разом рухнул на землю. Голова свалилась в одну сторону, ржавый таз — в другую.

— Ну-ка, помогай, принимайся за работу! — сказал отец и быстрыми взмахами лопаты стал по кускам отбрасывать тело несчастного торбеевского царя на дорогу, покрытую оттаявшим навозом.

Никогда еще не работал я с таким бодрым и горячим рвением и никогда еще так не гордился своим отцом.

Когда мы отдыхали, я вдруг увидел Костю, который

выглядывал из-за угла. Своей фигурой он почему-то напомнил мне на этот раз истукана, наполовину разрушенного весной. Жалкий и сконфуженный был у него вид.

Не успел я показать его отцу, как он уже спрятался...

Вечером я опять сидел около отца, и он опять поглаживал меня рукой по плечу. Во всем теле чувствовалась приятная усталость. Я дремал под тихую песенку самовара. Но уходить в постель мне не хотелось. Было на редкость уютно, и так же тихо и уютно было у меня на душе. В голове бродили клочки мыслей и воспоминаний. Придет — и уйдет. И уже через минуту забываешь, о чем думал и что вспоминал.

Вдруг в моей голове что-то мелькнуло, светлое и ясное. Я встрепенулся и, широко открыв глаза от удивления перед своей догадкой, сказал:

— А знаешь, папа? Тот царь небесный, которого поминает бабушка, и те иконы, которым она молится, ведь все это, пожалуй, Костин папа выдумал? Все это, пожалуй, его фокусы?

Отец ничего не ответил. Он только быстро переглянулся с мамой и посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. Мне только показалось, что его рука еще ласковее стала поглаживать меня по спине...



А. М. Горький

Рисуя портрет американского миллионера — короля стали или нефти, А. М. Горький в своем памфлете «Мои интервью» создает обобщенный образ капиталиста. Этот король, делающий деньги ради денег, хочет иметь покорное правительство, поддерживающее его «порядок», и покорное население, уважающее его «законы». Христианская религия наряду с военной силой помогает миллионеру в этом, отвлекая внимание людей от тяжести их земной жизни, внушая, что существует какой-то загробный мир, рай, где бедняки будто бы равны с богатыми. Королям стали и нефти нужны терпение и покорность народных масс. Им нужна религия как средство управления трудящимися. Вот почему капитализм неизменно обращается к религии, противопоставляя ее революционным идеям равенства всех людей здесь, на земле.

Печатаем отрывок из написанного в 1906 году памфлета А. М. Горького.

ОДИН ИЗ КОРОЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

...Стальные, керосиновые и все другие короли Соединенных Штатов всегда смущали мое воображение. Людей, у которых так много денег, я не мог себе представить обыкновенными людьми.

Мне казалось, что у каждого из них по крайней мере три желудка и полтора ста штук зубов во рту. Я был уверен, что миллионер каждый день с шести часов утра и до двенадцати ночи все время без отдыха — ест. Он истребляет самую дорогую пищу: гусей, индеек, поросят, редиску с маслом, пудинги, кэки и прочие вкусные вещи. К вечеру он так устает работать челюстями, что приказывает жевать пищу неграм, а сам уж только проглатывает ее. Наконец он совершенно теряет энергию, и, облитого потом, задыхающегося, негры уносят его спать. А наутро, с шести часов, он снова начинает свою мучительную жизнь.

Однако и такое напряжение сил не позволяет ему проесть даже половину процентов с капитала.

Разумеется, такая жизнь тяжела. Но — что же делать? Какой смысл быть миллионером, если ты не можешь съесть больше, чем обыкновенный человек?

Мне казалось, он должен носить белье из парчи, каблуки его сапог подбиты золотыми гвоздями, а на голове вместо шляпы что-нибудь из бриллиантов. Его сюртук сшит из самого дорогого бархата, имеет не менее пятидесяти футов длины и украшен золотыми пуговицами в количестве не меньше трехсот штук. По праздникам он надевает сразу восемь сюртуков и шесть пар брюк. Но, будучи таким богатым, нельзя же одеваться как все...

Карман миллионера я понимал как яму, куда свободно можно спрятать церковь, здание Сената и все, что нужно... Однако, представляя емкость живота такого джентльмена подобной трюму хорошего морского парохода, — я не мог вообразить длину ноги брюк этого существа. Но я думал, что одеяло, под которым он спит, должно быть не меньше квадратной мили. И если он жует табак, то, разумеется, самый лучший и фунта по два сразу. А если нюхает, так не меньше фунта на один прием. Деньги требуют, чтобы их тратили...

Пальцы его рук обладают удивительным чутьем и волшебной силой удлиняются по желанию: если он, сидя в Нью-Йорке, почувствует, что где-то в Сибири вырос доллар, — он протягивает руку через Берингов пролив и срывает любимое растение, не сходя с места.

Странно, что при всем этом я не мог представить, какой вид имеет голова чудовища. Более того, голова казалась мне совершенно лишней при этой массе мускулов и кости, одушевленной влечением выжимать из всего золото. Вообще, мое представление о миллионере не имело законченной формы. В кратких словах, это были прежде всего длинные эластичные руки. Они охватили весь земной шар, приблизили его к большой темной пасти, и эта пасть сосет, грызет и жует нашу планету, обливая ее жадной слюной, как горячую печеную картофелину...

Можете вообразить мое изумление, когда я, встретив миллионера, увидел, что это самый обыкновенный человек.

Передо мной сидел в глубоком кресле длинный, сухой старик, спокойно сложив на животе нормального размера коричневые сморщенные руки обычной человеческой величины. Дряблая кожа его лица была тщательно выбрита, устало опущенная нижняя губа открывала хорошо сделанные челюсти, они были усажены золотыми зубами. Верхняя губа — бритая, бескровная и тонкая — плотно прилипла к его жевательной машинке, и, когда старик говорил, она почти не двигалась. Его бесцветные глаза не имели бровей, матовый череп был лишен волос. Казалось, что этому лицу немного не хватало кожи, и все оно — красноватое, неподвижное и гладкое — напоминало о лице новорожденного ребенка. Трудно было определить — начинает это существо свою жизнь или уже подошло к ее концу...

Одет он был тоже как простой смертный. Перстень, часы и зубы — это все золото, какое было на нем. Взятое вместе, оно весило, вероятно, менее полуфунта. В общем, этот человек напоминал собою старого слугу из аристократического дома Европы...

Обстановка комнаты, в которой он принял меня, не поражала роскошью, не восхищала красотой. Мебель была солидная, вот и все, что можно сказать о ней.

Вероятно, в этот дом иногда заходят слоны — вот какую мысль вызывала мебель.

— Это вы.. миллионер? — спросил я, не веря своим глазам.

— О да! — ответил он, убежденно кивая головой.

Я сделал вид, что верю ему, и решил сразу вывести его на чистую воду.

— Сколько вы можете съесть мяса за завтраком? — поставил я ему вопрос.

— Я не ем мяса! — объявил он. — Ломтик апельсина, яйцо, маленькая чашка чая — вот всё...

Его невинные глаза младенца тускло блестели передо мной, как две большие капли мутной воды, и я не видел в них ни одной искры лжи.

— Хорошо! — сказал я в недоумении. — Но будьте искренни, скажите мне откровенно — сколько раз в день едите вы?

— Два! — спокойно ответил он. — Завтрак и обед — это вполне достаточно для меня. На обед тарелка супа, белое мясо и что-нибудь сладкое. Фрукты. Чашка кофе. Сигара...

Мое изумление росло с быстротой тыквы. Он смотрел на меня глазами святого. Я перевел дух и сказал:

— Но, если это правда, — что же вы делаете с вашими деньгами?

Тогда он немного приподнял плечи, его глаза пошевелились в орбитах, и он ответил:

— Я делаю ими еще деньги...

— Зачем?

— Чтобы сделать еще деньги...

— Зачем? — повторил я.

Он наклонился ко мне, упираясь локтями в ручки кресла, и, с оттенком некоторого любопытства, спросил:

— Вы — сумасшедший?

— А вы? — ответил я вопросом.

Старик наклонил голову и сквозь золото зубов протянул:

— Забавный малый... Я, может быть, первый раз вижу такого...

После этого он поднял голову и, растянув рот далеко к ушам, стал молча рассматривать меня. Судя по спокойствию его лица, он, видимо, считал себя вполне нормальным человеком. В его галстук я заметил булавку,

с небольшим бриллиантом. Имей этот камень величину каблука, я еще понял бы что-нибудь.

— Чем же вы занимаетесь? — спросил я.

— Делаю деньги! — кратко сказал он, подняв плечи.

— Фальшивый монетчик? — с радостью воскликнул я; мне показалось, что я приближаюсь к открытию тайны. Но тут он начал негромко икать. Все его тело вздрагивало, как будто невидимая рука щекотала его под мышками. Его глаза часто мигали.

— Это весело! — сказал он, успокоясь и обливая мое лицо влагой довольного взгляда. — Спросите еще что-нибудь! — предложил он и зачем-то надул щеки.

Я подумал и твердо поставил ему вопрос:

— Как вы делаете деньги?

— А! Понимаю! — сказал он, кивая головой. — Это очень просто. У меня железные дороги. Фермеры производят товар. Я его доставляю на рынки. Рассчитываешь, сколько нужно оставить фермеру денег, чтобы он не умер с голоду и мог работать дальше, а все остальное берешь себе, как тариф за провоз. Очень просто.

— Фермеры довольны этим?

— Не все, я думаю! — сказал он с детской простотой. — Но, говорят, все люди ничем никогда не могут быть довольны. Всегда есть чудаки, которые ворчат...

— Правительство не мешает вам? — скромно спросил я.

— Правительство? — повторил он и задумался, потирая пальцами лоб. Потом, как бы вспомнив что-то, кивнул головой. — Ага... Это те... в Вашингтоне? Нет, они не мешают. Это очень хорошие ребята... Среди них есть кое-кто из моего клуба. Но их редко видишь... Поэтому иногда забываешь о них. Нет, они не мешают, — повторил он и тотчас же с любопытством спросил: — А разве есть правительства, которые мешают людям делать деньги?

Я почувствовал себя смущенным моей наивностью и его мудростью.

— Нет, — тихо сказал я, — я не о том... Я, видите ли, думал, что иногда правительство должно бы запрещать явный грабеж...

— Н-но! — возразил он. — Это идеализм. Здесь это не принято. Правительство не имеет права вмешиваться в частные дела...

Моя скромность увеличивалась перед этой спокойной мудростью ребенка.

— Но разве разорение одним человеком многих — частное дело? — вежливо осведомился я.

— Разорение? — повторил он, широко открыв глаза. — Разорение — это когда дороги рабочие руки. И когда стачка. Но у нас есть эмигранты. Они всегда понижают плату рабочим и охотно замешают стачечников. Когда их наберется в стране достаточно для того, чтобы они дешево работали и много покупали, — все будет хорошо.

Он несколько оживился и стал менее похож на старика и младенца, смешанных в одном лице. Его тонкие темные пальцы зашевелились, и сухой голос быстрее затрещал в моих ушах.

— Правительство? Это, пожалуй, интересный вопрос, да. Хорошее правительство необходимо. Оно разрешает такие задачи: в стране должно быть столько народа, сколько мне нужно для того, чтобы он купил у меня все, что я хочу продать. Рабочих должно быть столько, чтобы я в них не нуждался. Но — ни одного лишнего! Тогда — не будет социалистов. И стачек. Правительство не должно брать высоких налогов. Все, что может дать народ, — я сам возьму. Вот что я называю — хорошее правительство.

«Он обнаруживает глупость — это несомненный признак сознания своего величия, — подумал я. — Пожалуй, он действительно король...»

— Мне нужно, — продолжал он уверенным и твердым тоном, — чтобы в стране был порядок. Правительство нанимает за небольшую плату разных философов, которые не менее восьми часов каждое воскресенье учат народ уважать законы. Если для этого недостаточно философов — пускайте в дело солдат. Здесь важны не приемы, а только результаты. Потребитель и рабочий обязаны уважать законы. Вот и все! — закончил он, играя пальцами.

«Нет, он не глуп, едва ли он король!» — подумал я и спросил:

— Вы довольны современным правительством?

Он ответил не сразу.

— Оно делает меньше, чем может. Я говорю: эмигрантов нужно пока пускать в страну. Но у нас есть

политическая свобода, которой они пользуются, — за это нужно заплатить. Пусть же каждый из них привозит с собой хотя бы 500 долларов. Человек, у которого есть 500 долларов, в десять раз лучше того, который имеет только 50... Дурные люди — бродяги, нищие, больные и прочие лентяи нигде не нужны.

— Но ведь это сократит приток эмигрантов... — сказал я.

Старик утвердительно кивнул головой.

— Со временем я предложу совершенно закрыть для них двери в страну... А пока пусть каждый привезет немного золота... Это полезно для страны. Потом, необходимо увеличить срок для получения гражданских прав. Впоследствии его придется вовсе уничтожить. Пусть те, которые желают работать для американцев, — работают, но совсем не следует давать им права американских граждан. Американцев уже довольно сделано. Каждый из них сам способен позаботиться о том, чтобы население страны увеличивалось. Все это — дело правительства. Его необходимо поставить иначе. Члены правительства все должны быть акционерами в промышленных предприятиях, — тогда они скорее и легче поймут интересы страны. Теперь мне нужно покупать сенаторов, чтобы убедить их в необходимости для меня... разных мелочей. Тогда это будет лишнее...

Он вздохнул, дрыгнул ногой и добавил:

— Жизнь видишь правильно только с высоты горы золота.

Теперь, когда его политические взгляды были достаточно ясны, я спросил его:

— А как вы думаете о религии?

— О! — воскликнул он, ударив себя по колену и энергично двигая бровями. — Очень хорошо думаю! Религия — это необходимо народу. Я искренно верю в это. И даже сам по воскресеньям говорю проповеди в церкви... да, как же!

— А что вы говорите? — спросил я.

— Все, что может сказать в церкви истинный христианин, все! — убежденно сказал он. — Я проповедую, конечно, в бедном приходе — бедняки всегда нуждаются в добром слове и отеческом поучении... Я говорю им...

Лицо его на минуту приняло младенческое выражение, но вслед за тем он плотно сжал губы и поднял

глаза к потолку, где амуры стыдливо закрывали обнаженное тело толстой женщины с розовой кожей иоркширской свиньи. Бесцветные глаза его отразили в своей глубине пестроту красок на потолке и заблестели разноцветными искрами. Он тихо начал:

— Братья и сестры во Христе! Не поддавайтесь внушениям хитрого дьявола зависти, гоните прочь от себя все земное. Жизнь на земле кратковременна: человек только до сорока лет хороший работник, после сорока — его уже не принимают на фабрики. Жизнь — не прочна. Вы работаете, — неверное движение руки — и машина дробит вам кости, — солнечный удар — и готово! Вас везде стерегут болезни, всюду несчастья! Бедный человек подобен слепому на крыше высокого дома, — куда бы он ни пошел, он упадет и разобьется, как говорит апостол Иаков, брат апостола Иуды. Братья! Вы не должны ценить земную жизнь, она — создание дьявола, похитителя душ. Царство ваше, о милые деги Христа, не от мира сего, как и царство отца вашего, — оно на небесах. И если вы терпеливо, без жалоб, без ропота, тихо окончите ваш земной путь, он примет вас в селениях рая и наградит вас за труды на земле — вечным блаженством. Эта жизнь — только чистилище для ваших душ, и чем больше вы страдаете здесь, тем большее блаженство ждет вас там, — как сказал сам апостол Иуда.

Он указал рукою в потолок, подумал и продолжал холодно и твердо:

— Да, дорогие братья и сестры! Вся эта жизнь пуста и ничтожна, если мы не приносим ее в жертву любви к ближнему, кто бы он ни был... Не отдавайте сердца во власть бесам зависти! Чему вы можете завидовать? Земные блага — это призраки, это игрушки дьявола. Мы все умрем — богатые и бедные, цари и углекопы, банкиры и чистильщики улиц. В прохладных садах рая, быть может, углекопы станут царями, а царь будет сметать метлой с дорожек сада опавшие листья и бумажки от конфет, которыми вы будете питаться каждый день. Братья! Чего желать на земле, в этом темном лесу греха, где душа плутает, как ребенок? Идите в рай путем любви и кротости, терпите молча все, что выпадет вам на долю. Любите всех и даже унижающих вас...

Он вновь закрыл глаза и, покачиваясь в кресле, продолжал:

— Не слушайте людей, которые возбуждают в сердцах ваших греховное чувство зависти, указывая вам на бедность одних и богатство других. Эти люди — посланники дьявола, господь запрещает завидовать ближнему. И богатые бедны, они бедны любовью к ним. Возлюбите богатого, ибо он есть избраннык божий! — воскликнул Иуда, брат господень, первосвященник храма. Не внимайте проповеди равенства и других измышлений дьявола. Что значит равенство здесь, на земле? Стремитесь только сравняться друг с другом в чистоте души перед лицом бога вашего. Несите терпеливо крест ваш, и покорность облегчит вам эту ношу. С вами бог, дети мои, и больше вам ничего не нужно!

Старик замолчал, расширив рот и, блестя золотом зубов, с торжеством посмотрел на меня.

— Вы хорошо пользуетесь религией! — заметил я.

— О да! Я знаю цену ей, — сказал он. — Повторяю вам — религия необходима для бедных. Мне она нравится. На земле все принадлежит дьяволу, говорит она. О, человек, если хочешь спасти душу, не желай и ничего не трогай здесь на земле. Ты насладишься жизнью после смерти — на небе все для тебя! Когда люди верят в это — с ними легко иметь дело. Да. Религия — масло. Чем обильнее мы будем смазывать ею машину жизни, тем меньше будет трения частей, тем легче задача машиниста...

«Да, он король», — решил я и почтительно спросил у этого недавнего потомка свинопаса:

— А вы себя считаете христианином?

— О да, конечно! — воскликнул он с полным убеждением. — Но, — он поднял руку кверху и внушительно сказал: — я в то же время американец и, как таковой, я строгий моралист...

Его лицо приняло выражение драматическое: он оттопырил губы и подвинул уши к носу.

— Что вы хотите сказать?.. — понизив голос, осведомился я.

— Пусть это будет между нами! — тихо предупредил он. — Для американца невозможно признать Христа!

— Невозможно? — шепотом спросил я после паузы.

— Конечно, нет! — подтвердил он тоже шепотом.

— А почему? — спросил я, помолчав.

— Он — незаконнорожденный! — Старик подмигнул мне глазом и оглянулся вокруг. — Вы понимаете? Незаконнорожденный в Америке не может быть не только богом, но даже чиновником. Его нигде не принимают в приличном обществе. За него не выйдет замуж ни одна девушка. О, мы очень строги! А если бы мы признали Христа — нам пришлось бы признавать всех незаконнорожденных порядочными людьми... даже если это дети негра и белой. Подумайте, как это ужасно! А?

Должно быть, это было действительно ужасно — глаза старика позеленели и стали круглыми, как у совы. Он с усилием подтянул нижнюю губу кверху и плотно приклеил ее к зубам. Вероятно, он полагал, что эта гримаса сделает его лицо внушительным и строгим.

— А негра вы никак не можете признать за человека? — осведомился я, подавленный моралью демократической страны.

— Вот наивный малый! — воскликнул он с сожалением. — Да ведь они же черные! И от них пахнет. Мы линчуем негра, лишь только узнаем, что он жил с белой как с женой. Сейчас его за шею веревкой и на дерево... без проволочек! Мы очень строги, если дело касается морали...

Он внушал мне теперь то почтение, с которым невольно относишься к несвежему трупу. Но я взялся за дело и должен его исполнить до конца. Я продолжал ставить вопросы, желая ускорить процесс истязания правды, свободы, разума и всего светлого, во что я верю.

— Как вы относитесь к социалистам?

— Они-то и есть слуги дьявола! — быстро отозвался он, ударив себя ладонью по колену. — Социалисты — песок в машине жизни, песок, который, проникая всюду, расстраивает правильную работу механизма. У хорошего правительства не должно быть социалистов. В Америке они рождаются. Значит — люди в Вашингтоне не вполне ясно понимают свои задачи. Они должны лишать социалистов гражданских прав. Это уже кое-что. Я говорю — правительство должно стоять ближе к жизни. Для этого все его члены должны быть набираемы в среде миллионеров. Так!

— Вы очень цельный человек! — сказал я.

— О да! — согласился он, утвердительно кивая головой. Теперь с его лица совершенно исчезло все детское, и на щеках появились глубокие морщины.

Мне захотелось спросить его об искусстве.

— Как вы относитесь... — начал я, но он поднял палец и заговорил сам:

— В голове социалиста — атеизм, в животе у него — анархизм. Его душа окрылена дьяволом, крыльями безумия и злобы... Для борьбы с социалистом необходимо иметь больше религии и солдат. Религия — против атеизма, солдаты — для анархии. Сначала насыпьте в голову социалиста свинца церковных проповедей. Если это не вылечит его — пусть солдаты набросают ему свинца в живот!..

Он убежденно кивнул головой и твердо сказал:

— Велика сила дьявола!

— О да! — охотно согласился я.

Впервые наблюдал я силу влияния Желтого Дьявола — Золота — в такой яркой форме. Сухие, просверленные подагрой и ревматизмом кости старика, его слабое, истощенное тело в мешке старой кожи, вся эта небольшая куча ветхого хлама была теперь воодушевлена холодной и жестокой волей Желтого Отца лжи и духовного разврата. Глаза старика сверкали, как две новые монеты, и весь он стал крепче и суше. Теперь он еще больше походил на слугу, но я уже знал, кто его господин...



Н. Васильев

В книге Н. Васильева «Америка с черного хода» описано религиозное исступление, подобное тому, которое когда-то описал Золя в романе «Лурд». В Нью-Йорке, среди чудес техники XX века, с помощью газет, радио, телефонов и телеграфа подчас создаются «чудеса», подобные рассказанной здесь истории мальчика Джо. Что из того, что «священный» источник так и не забил! Исступленные толпы фанатиков валили на пустырь, оставляя там свои деньги. Подобные жульничества возможны именно потому, что реакционные круги заинтересованы в покорности и отуплении населения. Они поддерживают католическую церковь, поощряют религиозное ханжество и любые формы религиозного мракобесия.

ЛУРД ПОД СЕНЬЮ НЕБОСКРЕБОВ

Когда на страницах одной из газет впервые появилось сообщение о Джо Витоло, маленьком мальчике из Бронкса, я не придал ему никакого значения. Но Джо

Витоло не канул в Лету¹ после первого сообщения, как это обычно случается с героями быстротечных американских сенсаций. На другой день его имя фигурировало уже во многих газетах. Затем появились большие статьи, подкрепленные иллюстрациями, и наконец Джо Витоло проник на первые страницы газет, в том числе и тех, которые почитались серьезными и солидными.

Было ясно, что какие-то неведомые силы стремятся сосредоточить на мальчике Джо общественное внимание, сделать его видной фигурой.

Вот что газеты писали о Джо Витоло.

Семья итальянского иммигранта Витоло, давно осевшего в Бронксе, до сих пор жила впроголодь. Глава семьи работал шофером на грузовой машине и на свою скудную заработную плату не мог прокормить большую семью. Жена Витоло вынуждена была прирабатывать, изготавливая на дому искусственные цветы. Но и при этом семья Витоло едва-едва сводила концы с концами.

Девятилетний Джо ходил в школу, а вечерами играл со сверстниками на соседнем пустыре. По воскресеньям, после посещения церкви, ему иногда удавалось пойти в кино. Незадолго до того, как Джо превратился в знаменитость, он видел новый боевик — «Песнь Бернадетты». Этот фильм, насквозь проникнутый идеями католицизма и религиозными суевериями, произвел на мальчика громадное впечатление. Содержание фильма составляла новая версия так называемого лурдского «чуда». В свое время вблизи затерянного в Пиренеях французского местечка был открыт «священный источник», якобы обладавший чудодейственной целительной силой. В американском боевике источник обнаруживался благодаря богородице, которая являлась благочестивой крестьянской девушке Бернадетте.

Джо был потрясен тем, что он увидел, а через несколько дней богородица «явилась» ему самому. Даже авторы католического боевика, среди которых не последнюю роль играли представители Ватикана, вряд ли могли рассчитывать на столь поразительный эффект.

Туманным осенним вечером Джо, как всегда, отпра-

¹ То есть не был забыт (Лета — река забвения в античной мифологии).

вился на свой пустырь. Разложив костер из сухих листьев, он сидел возле него и задумчиво глядел в огонь. В эту-то минуту ему и «явилась» дева Мария. Джо запомнил, что небожительница была в том же самом облачении, в котором он видел ее на экране. Больше он ничего не мог рассказать — его фантазия не шла дальше голливудских стандартов... Но уже на другой день после разговора Джо с родителями и патером из местного католического прихода миф приобрел более отчетливые очертания.

Оказалось, что богородица, как послушный дух на спиритическом сеансе, снова явилась мальчику. На этот раз небожительница была весьма словоохотливой. Она сказала, что если Джо будет каждый вечер приходить на пустырь и усердно молиться, то в конце концов произойдет чудо — на пустыре забьет священный источник. Богородица точно определила, что это случится на семнадцатый день. Прощаясь с мальчиком, она обещала регулярно являться ему во время молитв.

После этого миф о чудесных видениях Джо стал твориться буквально на наших глазах, причем такими темпами, которые даже и не снились древним мифотворцам. В процесс современного мифотворчества были включены такие могучие средства, как пресса и радио, телефон и телеграф. Неудивительно поэтому, что уже через несколько дней вся Америка говорила о «чудесном мальчике», или «Джозефе-чудотворце», как его теперь называли.

По совету патера, Джо перестал ходить в школу: у него появились новые, более возвышенные обязанности. Захудалый домишко в Бронксе, Вилла-авеню, 3194, превратился в место массового паломничества. Заброшенный и грязный пустырь осаждался толпами людей, особенно в вечерние часы, когда Джо выходил молиться. К «чудесному» мальчику приносили больных детей, калек, инвалидов. От него требовали, чтобы он помолился за них или прикоснулся к ним.

В толпе молившихся и жаждавших чудесного исцеления постоянно сновали католические священники и монахи. Все это «предприятие» — для истории с Джо трудно подобрать другое название — с самого начала было монополизировано католической церковью и интенсивнейшим образом ею эксплуатировалось.

Несмотря на сырую ноябрьскую погоду, скопление паломников приняло такие размеры, что для соблюдения порядка (а может быть, и должного благочестия) управлению нью-йоркской полиции пришлось ежедневно выделять наряд в несколько десятков полисменов. Среди паломников были не только нью-йоркские жители. Слава о «Джозефе-чудотворце» распространилась далеко за пределами Нью-Йорка. Вблизи пустыря можно было видеть специально зафрахтованные автобусы с пилигримами из Нью-Джерси, Филадельфии и даже отдаленного Кливленда.

Бедный Джо, видимо, не был в восторге от внезапно свалившейся на него славы «чудотворца». В газетах проскальзывали намеки на то, что мальчик устал от непомерного бремени, которое возложили на него ловкие эксплуататоры религиозных чувств и суеверий. Сообщалось вскользь, что ему надоели чудеса, паломники, фотографирование. Но американская пресса, кроме левых газет, даже и не подумала выступить с разоблачением этой неслыханной мистификации, этого бесстыдного надувательства, совершавшегося в крупнейшем городе Соединенных Штатов.

Чтобы дать некоторое представление о том, что происходило в эти дни в квартире Витоло, приведу краткую, но весьма характерную выдержку из пространного, занимающего целую газетную полосу очерка о Джо. Корреспондент большой нью-йоркской газеты так описывает одну из сценок, ежедневно разыгрывавшихся в квартире, где жил «Джозеф-чудотворец»:

«Джозеф лежал на широкой кровати. Это был рябоватый, с оливковой кожей, маленький, хрупкий мальчик. Он смотрел хмуро и беспокожно. «Чудесный мальчик» выглядел как любой другой девятилетний мальчуган в плохом настроении.

В комнату вошла монахиня в сопровождении молодой женщины с трехлетним ребенком на руках.

— Являлась ли вчера пречистая дева Мария? — спросила монахиня старшую сестру мальчика, Ирэн.

— Да. Она разговаривала с ним.

— О чем?

— О многом. Она сказала Джозефу, чтобы репортеры больше не фотографировали его.

Монахиня склонилась над Джозефом:

— Джозеф, прикоснись, пожалуйста, к ребенку. Он калека.

Джозеф насупился и ничего не ответил.

— Прошу тебя, Джозеф. — Глаза молодой матери наполнились слезами. — Прошу тебя, Джозеф, — повторила она, как эхо. — Только разочек.

Присутствовавшие в комнате родные также стали уговаривать Джозефа. Молодая мать протянула своего ребенка к мальчику, по-прежнему лежавшему на кровати. Джозеф прислонился к спинке кровати, хмурый и молчаливый. Внезапно он вскочил, равнодушно прикоснулся рукой к ноге ребенка и выбежал в соседнюю комнату. На лице молодой матери появилась счастливая улыбка».

Как видно из этого проникнутого упомрачительной серьезностью отрывка, чудеса так опротивели бедному Джо, что было нелегко заставить его в тысячный раз прикоснуться к чужому искалеченному телу.

Возникновение Лурда со всеми его аксессуарами, да не когда-нибудь, а в наши дни, и в Нью-Йорке, под сенью небоскребов, заинтересовало меня. Я решил хотя бы бегло посмотреть, что это такое.

Невзрачный поезд невзрачного метро с лязгом и грохотом мчит меня из сердца Манхэттена в Бронкс. Выйдя из метро, я нанимаю такси. Когда я называю шоферу Вилла-авеню, он понимающе смотрит на меня и восклицает:

— А, вам к святыне! Вы у меня не первый сегодня.

Машина идет по кварталам, населенным нью-йоркской беднотой. По обеим сторонам улиц тянутся деревянные и каменные дома, по преимуществу небольшие, старые, давно не ремонтировавшиеся. То тут, то там встречаются еще не застроенные участки, заросшие сорняками, а иногда заваленные потемневшими от времени бревнами и кирпичами. На улицах или во дворах протянуты веревки для сушки белья — свидетельство того, что обитатели этого района не пользуются хваленными благами американского механизированного сервиса.

Несмотря на ненастный вечер, на Вилла-авеню вокруг пустыря стоит толпа в несколько сот человек. В толпе снуют полицейские. Мужчины стоят с обнажен-

ной головой, хотя холодный осенний дождь не прекращается ни на минуту.

Я стараюсь продвинуться ближе к объекту всеобщего внимания. Медленно и с большим трудом мне удастся занять позицию, с которой виден небольшой, метра в два-три высотой бугор возле дома Витоло. Бугор окружен изгородью, наспех сколоченной из ящичных досок. Между изгородью и бугром оставлено нечто вроде загона. Там тоже толпятся люди. Это уже не просто богомольцы, а люди, жаждущие исцеления. Среди них видны калеки на костылях и слепые.

На бугре возятся какие-то юноши с лопатами. Оказывается, они копают землю, мокрые комья которой тут же старательно собираются набожными богомольцами в носовые платки или в ладанки. За каждый комок грязи со священного бугра необходимо заплатить одному из юношей, очевидно кассиру этого своеобразного золотого прииска. «Святыня» существует уже двенадцатый день, реклама у нее поистине сногшибательная. Поэтому импровизированное предприятие торгует довольно бойко. Никакой определенной таксы на отпускаемый «товар», видимо, не установлено. Но ведь и «товар» таков, что при его продаже любое доброхотное даяние, даже самое незначительное, является прибылью.

Кроме юношей, торгующих землей, вокруг бугра стоит стража из нескольких подростков, охраняющая «святыню» от возможных хищнических покушений.

Это проявление мелкой «частной инициативы» — лишь паразитический нарост на теле более обширного и хорошо организованного предприятия, которое покупается не только на кошельки, но и на души своих клиентов.

Вершины бугра почти не видно. Вся она уставлена статуэтками богородицы, распятиями, завалена букетами цветов. Из земли всюду торчат свечи. Как только дождь прекращается, коленопреклоненные богомольцы зажигают их одну за другой.

«Чудесного мальчика» пока еще нет. Он появится несколько позже, около семи часов вечера, в обычный час моления.

Неподалеку от меня стоят две пожилые женщины. Указывая на группу пилигримов, толпящихся за изгородью, одна из них говорит соседке:

— Посмотри, Бэтти, вон на ту седую даму. Я говорила с ней вчера, она из Буффало. Рядом с ней в передвижном кресле — ее дочка, она уже несколько лет больна детским параличом. Мать перепробовала все средства лечения, но ни одно не помогло. Теперь она привезла дочку сюда, в надежде на помощь Джозефа.

— Ну и что же?

— Ей не везет. Вот уже третий раз она приходит сюда — и хоть бы раз Джозеф обратил на нее внимание. Все проходит мимо. Сегодня она сговорилась с папашей Витоло, который обещал помочь ей.

Бэтти сочувственно кивает своей собеседнице. Их разговор прерывается выходом Джо. «Чудесный мальчик» появляется очень странным способом. В доме Витоло неожиданно распаивается окно первого этажа, и на подоконник вскарабкивается Джо. Это не по годам маленький и тщедушный мальчик, без шапки и в слишком широком, видимо с чужого плеча, пиджаке. С минуту он стоит на подоконнике, глядя поверх толпы, затем спрыгивает на землю и, по-прежнему ни на кого не глядя, шагает прямо к бугру.

Мальчишеская выходка «Джозефа-чудотворца» свидетельствует о том, что ему до смерти надоело благолепие, подобающее его новому положению. Но это несколько не смущает экзальтированных богомольцев.

Кто-то возбужденно вскрикивает:

— Вот он! Идет к святыне...

Все напряженно следят за тем, как Джо взбирается на бугор и останавливается перед статуэтками. Стоящий поблизости репортер пытается сфотографировать мальчика, но тот закрывает лицо руками. Я вспоминаю газетное сообщение о том, что богородица недавно запретила мальчику фотографироваться. На репортера шипят и шикают со всех сторон.

Из стоящей за изгородью толпы богомольцев несутся возгласы:

— Прикоснись ко мне, Джозеф!

— Дотронься до моего ребенка, Джозеф!

— Помолись за меня, святой человек!

— Да благословит тебя бог, Джозеф!

Не обращая никакого внимания на эти возгласы, Джо становится на колени, молитвенно склоняет голову и пребывает в такой позе примерно полчаса. Все это

время публика смотрит на него с необычайным благоговением. Многие молятся вслух или про себя. По окончании молитвы Джо поднимается, выхватывает из земли несколько свечей и бросает их в толпу. Это повторяется каждый день. Богомольцы бросаются к свечам. При этом происходит свалка, чуть не переходящая в потасовку. Джо с видимым интересом наблюдает эту сцену. Желая повторить удовольствие, он выдергивает еще несколько свечей и снова бросает их в толпу. Возникает новая свалка, с трудом прекращаемая полисменами. Я вижу, как здоровенный «коп» — так здесь иронически называют полисменов — сам поднимает свечку и с довольной улыбкой прячет ее во внутренний карман мундира. Другие счастливы, завладевшие священными реликвиями, прижимают их к груди или набожно целуют.

С детской непосредственностью позабавившись над толпой взрослых фанатиков, Джо быстро возвращается в дом. На этот раз он проходит мимо паломников, стоящих в привилегированном загоне, небрежно касаясь протянутых к нему рук. Дома ему предстоит «исцелить» группу больных, допущенных туда по особой протекции и, уж конечно, за особую мзду...

Публика провожает Джо горящими глазами. Ото всюду несутся приветственные возгласы. Несмотря на то что Джо скрылся и уже начинает смеркаться, толпа не трогается с места. Предполагается, что Джо появится еще раз. Тем временем юные коммерсанты возобновляют свою торговлю землей.

Все это выглядит как убийственный гротеск, как злейшая пародия на цивилизацию...

Мне не пришлось присутствовать при последнем акте представления, который состоялся через несколько дней. Срок, установленный богородицей для совершения чуда, истек. Наступил день, когда на пустыре должен был открыться чудотворный источник.

Задолго до наступления знаменательного часа тысячи легковых машин и автобусов загрохотали по шоссе, ведущую к пустырю. Образовалась такая пробка, что полиция прекратила движение. Все близлежащие кварталы тоже были забиты машинами. К вечеру на улицах, примыкавших к пустырю, собралось по меньшей мере тридцать

тысяч человек. В публике находилось множество католических священников и монахов.

В семь часов вечера Джо вышел из дому, сопровождаемый родителями, братьями и сестрами. Семью Витоло окружали полицейские. В припадке религиозного экстаза толпа фанатиков могла нечаянно растерзать маленького «чудотворца» вместе с его присными. Кроме «личной гвардии» Джо, на пустыре было еще около сотни полисменов, с трудом сдерживавших напор толпы.

Джо преклонил колена перед статуей богородицы. Пока он молился, богомольцы, не обращая внимания на дождь и пронизывающий ветер, пели «Ave Maria» и, в свою очередь, читали молитвы.

Через полчаса Джо прекратил молитву, но никакого чуда, разумеется, не произошло. Недра земли не разверзлись, чтобы источить чудодейственную влагу. Произошел постыдный конфуз. Старший брат на руках унес домой растерявшегося мальчика. Сотни почитателей ринулись вслед за ним. Когда мальчик попытался ответить на сыпавшиеся со всех сторон вопросы, его сестра Тереза зло прикрикнула на него:

— Замолчи, Джо!

Затем она громко заявила:

— Дева Мария сказала Джо, что больше не придет, ибо она завершила свой труд. Дева Мария запретила ему отвечать на вопросы...

Между тем толпа не расходилась. Люди стремились протолкаться к дому Витоло. Возникла неимоверная давка. Несколько человек были сбиты с ног и смяты, шесть женщин и двое мужчин потеряли сознание. У нескольких богомольцев начались сердечные припадки. Одна женщина впала в истерику. Патер, успокаивавший ее, сообщил потом, что она «увидела пречистую мать, которая сказала ей, что она мать божья». Так в момент катастрофического провала одного «чуда» стали пробиваться ростки другого.

Толпа начала расходиться лишь после того, как полиция, опасаясь новых эксцессов, передала через рупоры своих машин короткое сообщение: «Джо Витоло не покажется больше ни сегодня, ни в другие дни. Предлагается всем разойтись по домам». Но сотни людей еще много часов спустя продолжали стоять перед «святыней».

Больше того, несмотря на позорный провал всей этой авантюры и бесследное исчезновение Джо, которого образумившиеся родители поспешили увезти в другой город, паломничество к пустырю прекратилось далеко не сразу. Еще долгое время сотни людей продолжали собираться вокруг злополучного бугра, становились на колени и слезно молили небо о ниспослании чуда...

Скандалный провал затеи с «Джозефом-чудотворцем» принес немало неприятностей тем, кто собирался нажиться на этом большой религиозный капитал. Черные вороны католической реакции почувствовали облегчение лишь полгода спустя, когда новая сенсация затмила неумело проведенную затею с чудотворным источником на пустыре.

Для того чтобы рассказать об этой сенсации, нужно начать издалека.

В жаркий летний день 1850 года в селении Сент-Анджело, вблизи итальянского города Лоди, в Северной Италии, жена крестьянина Агостино Кабрини родила дочку. Девочку назвали Франческой. Казалось, что в этом событии не было ничего необыкновенного. Однако проницательный наблюдатель уже и тогда заметил бы по меньшей мере два обстоятельства, предвещавшие, что это событие имеет основания стать не вполне обычным. Во-первых, роды произошли на два месяца раньше срока, а во-вторых, в тот момент, когда маленькая Франческа появилась на свет, над домом Агостино кружилась стайка белых голубей...

И оказывается, этот проницательный наблюдатель был бы прав. Почти через сто лет выяснилось, что болезненная девочка Франческа Кабрини предназначалась всевышним на роль «святой», и не где-нибудь в захолустной Европе, изобилующей всевозможными «святыми», а в Соединенных Штатах. Правда, Франческа Кабрини, ставшая монахиней и переселившаяся в Америку для совершения религиозных подвигов, при жизни не пользовалась никаким почетом. «Отцы» и «матери» католической церкви нещадно помыкали ею. Но после смерти ее дела внезапно пошли в гору.

Дело в том, что католическая церковь в Соединенных Штатах до последнего времени недопустимо отставала от европейской. В ее активе не было ни одного, даже самого захудалого «святого», ни одного «чуда»,

если не считать скандального провала с Джо Витоло. Такое положение было нетерпимо. Надо было во что бы то ни стало найти кандидата в «святые», мало-мальски пригодного для канонизирования. Тут-то и пригодилась незадачливая «мать Кабрини».

По канонам католической церкви, причисление к «лику святых» является делом сугубо официальным. Подобный акт, согласно этим канонам, может состояться только через пятьдесят лет после смерти кандидата в «святые». Но в случае с «матерью Кабрини» все происходило ускоренным темпом. Ватикан, разумеется, пошел навстречу своим друзьям с Уолл-стрита и пренебрег некоторыми условностями. В результате католическая иерархия на скорую руку приписала покойной Франческе Кабрини два чуда: заочное исцеление слепоты у ребенка и излечение рака желудка у монахини.

Седьмого июня 1946 года, задолго до истечения необходимого в таких случаях стажа, «ввиду потребности в мощном духовном движении» (так говорилось в официальной мотивировке Ватикана), «мать Кабрини» была торжественно провозглашена «первой американской святой», а ее «мощи», хранившиеся в часовне на Манхэттене, отныне стали «чудотворными».

Католическая реакция взяла реванш: провалилась «святыня» в Бронксе, зато есть «святыня» в Манхэттене.

История с «матерью Кабрини» служит лишь одним из проявлений «плодотворного» сотрудничества Уолл-стрита и Ватикана. Это сотрудничество с каждым днем становилось все более тесным. Многие мероприятия Ватикана в Европе и Америке осуществляются за счет американских монополий. Майрон Тэйлор, считавшийся личным представителем президента в Ватикане, в действительности представлял там прежде всего Уолл-стрит, ибо являлся председателем финансового комитета мормоновской монополии «Стальной трест Соединенных Штатов». Благодаря этому сотрудничеству католическая церковь систематически укрепляет свои позиции в Америке. Вагиканская коллегия кардиналов, расширенная в декабре 1945 года до семидесяти членов, включает сейчас четырех американцев. Двое из них — Спеллман и Стрич — снискали скандальную известность своей антисоветской деятельностью и выступлениями в защиту фашизма.

Влияние католической церкви в Америке очень велико уже и сейчас. Оно осуществляется самыми различными путями. Назначаемая непосредственно римским папой, иерархия католической церкви состоит в США, помимо кардиналов, примерно из тысячи архиепископов и епископов и свыше тридцати тысяч пасторов.

...Католическая церковь действует также через всевозможные религиозные ордена и общества, насчитывающие до пяти миллионов членов («Общество святого духа», «Общество воздержания» и т. д.). В Америке есть, наконец, и реакционные политические организации, лишь слегка замаскированные религиозной вывеской. К ним относится в первую очередь полуфашистский «Орден рыцарей Колумба» с шестьюстами тысячами членов. Деятельность всех католических организаций направлена против общественного и научного прогресса, против демократического движения трудящихся, в защиту господства эксплуататоров.

В этой своей деятельности католическая церковь, разумеется, далеко не одинока. Пожалуй, ни в одной стране мира нет такого изобилия религиозных сект, верований и культов, как в Соединенных Штатах. Большие города переполнены храмами и молельнями самых распространенных вероисповеданий и церквей: католической, епископальной, пресвитерианской, методистской, баптистской и многих других. В провинции же существует и множество других, менее распространенных религиозных культов.



В. Тендряков

Действие повести советского писателя В. Тендрякова «Чудотворная», отрывок из которой мы публикуем, происходит в наши дни. В повести рассказывается, как деревенский мальчуган Родька нашел на берегу реки давным-давно пропавшую икону, считавшуюся «чудотворной», и какие «чудеса» произошли в результате этого происшествия в простой и ясной мальчишеской жизни. Это — повесть о борьбе новой, коммунистической морали с отсталыми настроениями и мракобесием.

МЕДНЫЙ КРЕСТИК

Утром Родька, как всегда, собирался в школу: завязал книги и тетрадки в старый мамин платок, надел пионерский галстук, и, долго слюнявя ладони, разглаживал мятые концы на груди (вчера после школы весь день таскал его скомканным в кармане), потом метнулся к столу:

— Давай, бабушка, есть. Не то опоздаю.

Бабка, вместо того чтобы проворчать обычное: «Успеешь еще натрескаться...», разогнулась у печки, ушла за переборку, быстро вернулась, пряча что-то в вытянутом кулаке.

— Ну-ко, дитятко... — позвала она.

Родька с подозрением покосился на ее осторожно сжатый, словно державший в себе горсть живых тараканов кулак.

— Вот, надень, золотце, на доброе здоровье. Хватит уж нехристом-то бегать.

Перед Родькиным носом закачался на толстой шелковой нитке маленький медный крестик. Родька с минуту отупело моргал, потом залился краской от шеи до кончиков ушей, втянул голову в плечи:

— Еще чего выдумала! На кой мне...

— Нельзя, родненький, ты теперь у бога на примете. Не мне небось, не бабке Жеребихе, чудотворная-то открылась, и не выдумывай, ягодка, господа-то гневить непослушанием. Ну-кося, на тебя с молитвою...

Родька еще больше съежился, отступил назад:

— Не надену!

— Экой ты... — Бабка протянула руку; Родька отскочил, светлые с грачихинской желтизной глаза блеснули затравленно. — Ну, чего козлом прыгаешь?

— Умру — не надену! Ребята узнают — начисто засмеют.

— Чего ради хвалиться-то тебе перед ними? Каждый всяк по себе живет, всяк свою душу спасает. Храни себе потаенно и радуйся.

Вошла мать в туго повязанном платке, старые сапоги забрызганы грязью — видно, только что с бороньбы или от парников, вся розовая от быстрой ходьбы по славному утреннему холодку, в прищуре глаз под белесой занавесочкой ресниц — доброта.

— Опять с бабушкой не поладил?

Родька бросился к ней:

— Мам, скажи, чтоб не надевала! На кой мне крест! Что я, старуха?.. Узнают вот в школе...

Мать нерешительно отвела глаза от бабки:

— А может, и вправду не надевать? Сама знаешь — в школе не похвалят.

Бабка разогнулась, подобрала губы, сжала в коричневый кулак крестик.

— Оберегаешь все! Ты ему душу береги. Гнев-то божий, чай, пострашнее, чем учительша вымочку даст.

— Не гневался же, мать, господь на него до сих пор. Даже милостью своей отметил,

— Ой, Варька, подумай — милость эта не остережение ли? Пока Родька ходил без отлички, ему все прощалось. А ныне просто срам парню креста на шее не носить.

Мать сдавалась:

— Право, не знаю. Какой спрос с малого да несмысленного?

— Для господа что мал, что стар — все ровни, все одинаково рабы божьи. Вот свалится беда, запоешь тогда по-другому, вспомнишь, что сущую безделицу для бога отказала. Да и что толковать-то, тьфу! Крест на шею сыну повесить совестно!

И мать сдалась:

— Надень, Роденька, крестик, надень, будь умницей.

— Сказал — не надену!

— Вот бог-то увидит твое упрямство.

— Знал бы, так эту икону и вырывать из земли не стал, я бы ее в речку бросил.

— Окстись! Окстись, поганец! — зыкнула бабка. — Типун тебе на язык! Вот оно, Варька, поганье-то...

На щеках матери выступили лиловые пятна, широко расставленные глаза сузились в шелки, руки поднялись к груди, быстро перебрали пальцами все пуговицы на старенькой кофте.

— Добром тебя просят. Ну!.. Мать, дай-ко мне крест. Я-то надену на неслуха.

— Нет, пусть он себя крестным знаменем осенит! Нет, пусть он у бога прощения попросит! Пусть-ко скажет сначала: «Прости, господи, мои прегрешения».

На стене под фотографиями в картонных рамочках висел старый солдатский ремень, оставшийся от отца. Мать сняла его с гвоздя, впилась в Родьку прищуренными глазами, устрашающе переложила ремень из руки в руку:

— Слышал, что тебе старшие говорят?

Сжавшись, подняв плечи, выставив вперед белобрысые вихры, глядя исподлобья, как волчонок, настороженно блестящими глазами, Родька тихо-тихо поддвигался к двери, наворачывая на палец конец красного галстука:

— Прав... прав не имеете!

— Вот я скину штаны и распишу права...

— Верно, Варенька, верно. Ишь, умничек!..

— Вот я в школе скажу все...

— Пусть-ко сунутся — я учителям твоим глаза все повыцарапаю. Небось не ихнее дело... Кому говорят?!

— Верно, Варенька, верно.

Родька сжался сильнее, с ненавистью стреляя глазами то в бабу, то в мать, чуть приметно двинул плечом в сторону дверей.

— Скидывай сапоги! Ну, быстро!.. Ни в какую школу не пущу. Ну! — Рука матери больно дернула за вихры. — Крестись, пащенок!

— Скажу вот всем! Скажу!.. Ой!..

Удар ремня пришелся по плечу.

— Скидывай сапоги! Живо!.. Нету тебе школы! Нету тебе улицы! На замок запру!

Второй удар, третий... Родька отчаянно басом взревел, рванулся к двери, но бабка с непривычной для нее резвостью перегородила дорогу, схватила за ухо:

— Ишь ты, лукавый! Нет, миленок, нет, встань-ко сюда.

У матери же было красное, расстроенное лицо, на глазах тоже слезы.

— И что мне за наказание такое? Вырос на мою голову вражонок! Когда только я над тобой управу возьму? Долго будешь еще упрямиться, мучитель мой?

Родька всхлипывал, вздрагивал телом, размазывал слезы рукавом чистой, надетой для школы рубахи. Его правое ухо пламенело, казалось тяжелым, как налитый кровью петушиный гребень.

— Оставь его, Варька, — заявила бабка. — Не хочет, как знает. А есть не получит и в школу не пойдет. Скажи тебе, скидывай сапоги!

Родька молчал, продолжая всхлипывать, упершись глазами в пол.

— Добром же тебя просят... О-о, господи! — с отчаянием воскликнула мать. — Просят же, прося-ат! Долго ль торчать над тобой, идол ты, наказание бесово!

По-прежнему упершись в пол взглядом, Родька несмело поднял руку, дотронулся щепотью до лба и немело перекрестился.

— Чего сказать надо?

— Прос... прости... госпо-ди...

— Только-то и просили.

— Когда лоб крестят, в пол не глядят, — сурово поправила бабка. — Ну-кося, на святую икону перекрестись. Еще раз, еще! Не бойсь, рука не отсохнет.

Родька поднял глаза на угол и увидел сквозь слезы сердитые белки, уставившиеся на него с темной доски.

А на улице с огородов пахло вскопанной землей. Солнце обливало просохшие тесовые крыши. Сквозь желтую прошлогоднюю траву пробились на свет нежные, казалось бы беспомощные, зеленые стрёлки и сморщенные листочки.

Зрелая пора весны. Через неделю люди привыкнут к припекающему солнышку, к яркой зелени, появится пыль на дорогах. Через неделю, через полторы от силы весна перевалит на лето.

Сколько маленьких радостей сулит этот ясный день!

После уроков можно убежать в луга. Там от разлива остались озерца-ляжины с настоявшейся на прели водой, темной, как крепкий чай. Можно выловить матерую, перезимовавшую лягушку, привязать к ее лапке нитку, пустить в озерцо, глядя, как уходит она, обрадовавшаяся свободе, вглубь, во мрак непрозрачной воды, а потом взять да вытащить обратно — шалишь, голубушка, ты теперь у нас работаешь водолазом, расскази-ка, что видела в воде.

Можно достать пригоршней мутновато-прозрачную лягушачью икру, пересчитать черные точки-ядрышки, а каждое ядрышко — будущий головастик.

А лужицы помельче?.. А глубокие колесные колеи в низинках, залитые после половодья и еще не высохшие? В них гуляют попавшие в неволю крошечные серебристые головастики, отливающие зеленью шурята, красноглазые сорожки — замути воду, и их легко можно поймать прямо руками.

И чем веселее день, тем тяжелее на душе у Родьки. Под рубашкой, под выцветшим пионерским галстуком жжет кожу на груди медный крестик. Сиди на уроках и помни, что ни у кого из ребят нет его. Играй на переменках, помни: если будешь возиться, чтоб не расстегнулась рубаша: увидят — засмеют... Вот он зудит сейчас, его надо прятать, как нехорошую болячку на теле..

Пусть не увидят, пусть не узнают, но все равно чувствуешь себя каким-то нечистым. Наказание это! За что? За то, что вырыл проклятую икону. И кто знает, что за втра бабка с матерью выдумают?

На улице никого. Только у дома Васьки Орехова развалилась свинья, выставила на солнце розовые соски на широком брюхе...

Ежели снять этот крест да в карман. Бросить нельзя. После школы бабка уж обязательно заглянет под рубаху. Если не окажется креста, взбучку даст, хоть из дому беги.

В карман? А карманы неглубокие, легко может выпасть, а то и сам ненароком вытащишь вместе с ножиком или резинкой. Лучше всего в щель куда припрятать, а на обратном пути надеть, честь честью явиться перед бабкой.

Родька остановился, торопливо принялся расстегивать ворот под галстуком. Но из дома Ореховых вышел Васька, Родькин дружок. Под бумажным затертым пиджаком у него новая рубаха; яркая, канареечного цвета, с другой не спутаешь. Даже галстук, много раз стиранный, вылинявший, бледней ее.

Васька окликнул:

— Эй, Родька! Сколько времени сейчас? У нас ходики третий день стоят. В школу-то еще не опоздали?

Подошел, поздоровался за руку.

— Ты какую-то икону нашел? Старухи за это тебе кланяться будут. Право слово, мать говорила.

Родька, отвернувшись, ловя под галстуком непослушные пуговицы и пряча покрасневшее от стыда лицо, зло ответил:

— Ты слушай больше бабью брехню!

— Так ты не нашел икону? Врут, значит.

— Подумаешь, какая-то доска... Да что ты ко мне пристал? Вот дам в нос!..

— Но-но, ты не шибко! — На всякий случай Васька отодвинулся подальше.

Спорить с Родькой он боялся. Где уж, когда даже девчонки дают сдачи. Васька низкоросл, узкогруд, маленькие уши с постоянным напряжением торчат на стриженной голове; его подвижное лицо по сравнению с ярко-желтой рубахой кажется сейчас бледным до зелени. Зато он пронырлив, все всегда узнает первым.

Бесь в свою мать, недаром же ту прозвали по Гумнищам Клавкой Сорокой.

Обиженно сопя, Васька зашагал рядом и до самой школы не обронил ни слова.

О кресте Родька скоро забыл. На переменах устраивал «кучу малу», лазил на березку «щупать» галчинные яйца.

Но вот кончился последний урок, по школьному пустырю беспокойными стайками разлетались ребята в разные стороны. Родька снова вспомнил о кресте. Вспомнил, что надо идти домой, что бабка, прежде чем дать поесть, потребует: «Перекрести лоб». Васька Орехов, которому было по дороге, стал вдруг неприятен Родьке: «Опять начнет расспрашивать об иконе, пропади она пропадом! Ему бы найти такое счастье».

...У Родькиного дома на втоптанном в землю крыльчке сидели двое: маленькая, с острым лицом старушка, чем-то смахивающая на болотную птицу, и безногий мужик Киндя — мать и сын, известные и в Гумнищах, и в Гущине, и в районном центре Загарье.

Этот Киндя — Акиндин Поярков — до войны был самым неприметным парнем из деревни Троица. Работал бондарем при сельпо, незамысловато играл на трехрядке, орал «под кулак» песни, вламывался на пляски «бурлом». В войну где-то под Орлом ему перебило обе ноги. Не один Киндя из Троицы вернулся с фронта калекой, но, кроме него, никто не бахвалился своей инвалидностью.

Часто, напившись пьяным, Киндя, сидя на култышках посреди загарьевского базара, рвал на груди рубаху, тряс кулаками, кричал:

— Для меня ныне законов нету! Могу украсть, могу ограбить — не засадят. Я человек неполноценный! Раздолье мне! Эй, вы! Кого убить? Кому пустить кроушку?

И, опираясь сильными руками на утюжки, перекидывая обрубленное тело, бегал за народом, пугал женщин.

Его много раз, связанного, увозили в милицию, но дело до суда не доходило — жалели калеку. Киндя больше всех на свете боялся одного человека — своѐго

мать, ветхую старушку. Были, говорят, случаи, когда та останавливала его буйство одним выкриком: «Отрекусь, нечистый!»

Последнее время безногий Киндя вовсе утихомирился; пил по-прежнему, но не буянил, торговал из-под полы на базаре туфлями, отрезами, таскался вместе с матерью по церквям — то в шелкановскую, то в загарьевскую, то за шестьдесят километров — в соседний район, в Ухтомы.

Об этих делах безногого Кинди, как и все ребята, Родька был наслышан довольно подробно. Тем ужаснее ему показалось, что этот Киндя, красномордый, опухший, с рыжей запущенной щетиной на тяжелом подбородке, мутными глазками и поднятыми выше ушей плечищами мужик, держась за ручки своих обшитых кожей утюжков-подпорок, стал молчаливо с размаху кланяться.

Старушка же с кряхтением поднялась, с натугой разогнулась, по-деревянному переставляя отекие от сидения ноги, двинулась к оторопевшему Родьке. У нее был острый нос, ввалившийся, почти без верхней губы рот углами вниз и голубенькие, по-молодому, пронзительные, словно выскакивающие вперед лица глазки. Сморщенная, темная рука цепко схватила Родькину руку.

— Покажись-ка, покажись, любой, — голос ее, шамкающий, был в то же время громок и скрипуч. — Да чего рвешься-то? Не укушу. Вот, значит, ты каков! Ой, не верю, не верю, что вторым Пантелеймоном-праведником будешь. Нету в твоих глазах благолепия. Ой, нету. В бабуку свою весь, а от грачихинской плоти неча ждать благости... — Она обернулась к своему кланяющемуся сыну: — Ну, хватит ветер лбом раздувать. Ишь, парень-то оробел от твоего дикого виду. Пусти, слышь.

Безногий Киндя покорно перевалился со ступенек на землю. Пока Родька, с испугом косясь, поднимался в дом, тот успел три раза с размаху поклониться, показав Родьке плешивевшую макушку.

Но и дома тоже сидели гости.

Согнутая, словно приготовившаяся сорваться с лавки, нырнуть в дверь, Жеребыха завела свою обычную песню:

— Личико что-то бледненько? Видать, напугали эти

окаянные — ведьма троицкая со своим идолом обрубленным.

Кроме Жеребыхи, Родька увидел еще двоих — Мякишева с женой.

Сам Мякишев, кургузый, маленький, вокруг лысины золотой младенческий пушок, окропленное веселыми веснушками лицо кругло, вечно сияет виноватой улыбкой, как застенчивое зимнее солнышко. Он руководил гумнищинским сельпо, выступал на заседаниях, числился в руководящем активе. Жил он около магазина, в большом пятистенке под зеленой железной крышей. Начальники, приезжавшие из района, останавливались на ночь только у него. За всю свою жизнь Мякишев никого, верно, не обозвал грубым словом, и все-таки многие его не любили. Председатель гумнищинского колхоза Иван Макарович, не скрываясь, обзывал: «Блудливая кошка. Стащит да поластится — глядишь, и с рук сходит».

Увидав у порога Родьку, Мякишев так радостно вытянул шею, что на минуту показалось — вот-вот выскочит из своего просторного с жеваными лацканами пиджака. Не только щеки — даже уши его двинулись от улыбки.

Беременная жена Мякишева уставилась на Родьку выкаченными черными глазами, которые сразу же мокро заблестели.

— Экая ты, Катерина! — с досадой проговорила Родькина бабка. — Что толку волю слезам давать? Бог даст, все образуется. Родишь еще, как все бабы. Мало ли доктора ошибаются.

При виде слез у жены Мякишев сконфуженно заерзал, забормотал:

— В страхе живу, покоя не знаю. — Он с расстроенной улыбкой повернулся к Родьке. — Может, это счастье наше, что ты, миленький, чудотворную-то нашел.

Родька, ошеломленный встречей с безногим Киндей, сейчас затравленно озирался. С ума все посходили? Даже Мякишев и тот к чудотворной пришел. Вдруг да тоже просить будет? Бежать, пока не поздно! А куда?..

Выручила бабка. Она поднялась из-за стола, спросила непривычно ласково:

— Проголодался небось, внученька? Вот яишенку тебе сготовлю... Что-то матери твоей долго нету? Пора-то обеденная... Все в колхозе да в колхозе, от дому отбилась.

Пока бабка орудовала у шестка, жарила на нащепанной лучине яичницу, Родька словно связанный сидел у окна, косил глазом на улицу.

Жена Мякишева тихо плакала, утирала слезы скомканным платочком. Сам же Мякишев с кисленькой, виноватой улыбкой просительным тенорком оправдывался:

— Я так считаю: оттого и непорядки в жизни, что люди от религии отступились. А без веры в душе никак нельзя жить.

— Истинно. Забыли бога, все забыли. По грехам нашим и напасти, — скромненько поддакивала со стороны Жеребыха.

— Вера-то нынче — вроде клейма какого. Меня взять в пример. Мне бы не днем полагалось прийти к вам, а ночью, потаенно, чтобы ни одна живая душа не видела. Человек я на примете, хоть и маленький, но руководитель... Вдруг да потянут, обсуждать начнут, косточки перетирать.

— Ничего, за бога и потерпеть можно, — отозвалась от шестка бабка.

— Так-то так, — не совсем уверенно согласился Мякишев. — Только чего зря нарываться. Уж прошу, добрые люди, лишка-то не треплите языком, что-де я сам жену-то приводил.

Заполнив избу аппетитным запахом, бабка с грохотом поставила на стол сковороду, пригласила Родьку:

— Садись, золотце, ешь на доброе здоровье! — И, повернувшись к гостям, стала расхваливать: — Он у нас не какой-нибудь неслух, чтоб лба не перекрестил, за стол не сядет. Помолись, чадушко, господу.

Бабка мельком скользнула взглядом. Родька лишь на секунду увидел ее желтые, в напряженно собравшихся морщинах глаза, но и этого было достаточно, чтоб понять: ослушаешься — век не будет прощения.

— Ну, чего мнешься, сокол? Садись за стол, коль просят. Ну... Садись да бога помни.

Правая рука Родьки, тяжелая, негнушная, с деревянным непослушанием поднялась ко лбу. За его спиной, громко всхлипнув, запричитала Мякишиха:

— Родненький мой, помолись за меня, грешницу!
По гроб жизни благодарить буду!..
Родька съежился.

Никогда еще так не радовало синее небо, несмелый ветерок с лугов. Вырвался из дому, от бабки, от Жеребыхи, от Мякишихи, от безногого Кинди — подальше от села! Нате вам всем, ищите ветра в поле!

За усадьбами запыхавшийся Родька пошел медленнее.

Теплый, рыжий весенний луг лежал под солнцем. Маслянисто черная дорога, выплясывая по холмам, убегала к лесу. Сам лес пока холодный, лиловый, но там и сям краплен мокрыми семейками темных елей. Он скоро прогреется, наглухо затянется листвой, из его глубины поплывут уныло-нежные «ку-ку».

Нет, нет, не верит Родька, что все изменилось. Мало ли чего не случается дома. День, другой — и все пойдет опять так, как шло прежде. Надо немного потерпеть и побольше думать о другом, приятном...

На днях в клубе покажут новую кинокартину. Афиши уже расклеены — парень в красноармейской шапке, которые носили еще в старую войну, позади него дым и огонь от пожаров, скачут люди на лошадях с шашками. Это кино о Павке Корчагине. Родька знает, что про него написана целая книга. Васька Орехов зимой взял ее в библиотеке и дал Родьке только на три дня. Разве за три дня успеешь прочитать до конца, когда книга-то толще учебника! Сам-то Васька «Робинзон Крузо» целую неделю у себя держал. Родьке из-за него от библиотекаряши попало... Мать всегда дает деньги на кино и теперь не откажет. Это у бабки пятка не выпросишь...

Скоро экзамены. Каждый год после экзаменов в школе бывает вечер самодеятельности. К нему давно уже начали готовиться. Все село приходит смотреть. Юрка Грачев из седьмого класса играет на баяне. Ванька Лупцов и Гришка Самохин покажут смешную пьеску — называется «Хирургия». Гришка дьячка играет, которому зуб рвут клещами. Он может насмешить, иной раз начнет рассказывать — хватайся за животик.

Родьке бы хотелось сыграть матроса, чтобы гранаты

на поясе, винтовка на плече, на голове бескозырка с ленточками. Но таких пьес что-то не отыскивали... Зато он выучил стихотворение: «Смело, братья! Ветром полный парус мой направил я...» Стихотворение подходящее — о море, о буре... Конечно, на вечер придет председатель Иван Макарович, он моряк, ему понравится. Может, у Ивана Макаровича мичманку попросить на выступление? Выйти в матросской фуражке на сцену и прочитать: «Будет буря: мы поспорим и помужествуем с ней!» Только, наверное, мичманка-то Ивана Макаровича будет великовата для Родькиной головы...

Пусть дома икону обхаживают, наплевать на это. Он, Родька, как-нибудь перетерпит, будет меньше дома бывать, да и терпеть-то, наверное, придется не век. День, другой — глядишь, все утрясется, все пойдет по-прежнему.

Далеко, на другом конце луга, Родька увидел несколько маленьких фигурок. По канареечно-желтой рубашке, ясным пятнышком горевшей среди однообразно рыжей земли, он узнал Ваську Орехова. С ним, видно, и Пашка Горбунов, и Венька Лупцов — вечная компания.

Не успев задуматься, что же они там затеяли, какое развлечение ждет его, Родька без дороги, ломая остатки прошлогоднего репейника, попадая ногами в расквашенную весенней водой дерновину, бросился бегом.

Ребята топтались на берегу залитого водой плоского овражка. Двое из них были без рубаш, только Васька Орехов продолжал суетливо прыгать в своей яркой, канареечной. Ах, вот оно что — купаться надумали!

В реке вода еще мутная, неустоявшаяся, наверняка холодная до ломоты, сохранившая даже запах растаявшего снега, — купаться нельзя. Зато высыхающие луговые озерца, оставшиеся после половодья, уже пригреты солнцем.

— Э-э-цей! — закричал Родька. — Че-ерти! Меня обождите!

Длинный Пашка Горбунов стоял у самой воды, втянув голову в плечи; на окрик недовольно оглянулся. Венька Лупцов, выгнув смуглую гибкую спину, сидел на корточках возле одежды, поджидал бегущего Родьку с любопытством и удовольствием. На его чумазой физиономии выражалась надежда — может, Грачонок пер-

вым нырнет? Васька Орехов в своей канареечной рубахе, но без штанов смущенно стоял в стороне, похлопывал себя по лиловым коленкам.

Родька подбежал, бросил с размаху картуз на землю.

— Топчетесь? Небось мурашки едят?

— Сам-то, поди, только с разгону храбрый, — ответил Венька.

— Эх!

Родька скинул пиджак, рывком через голову стащил рубаху, сел на землю, принялся с усилием снимать с ноги мокрый сапог.

— Эх, вы! Ушли и не сказались...

Но тут он заметил, что Пашка Горбунов, слепо шурясь, сделал шаг от воды. Венька Лупцов, впившись в грудь Родьке черными, настороженно заблестевшими глазами, привстал у одежды. У Васьки же удивленно, кругло, глупо открылся рот.

Полустянутый сапог выскользнул из рук — только тут почувствовал Родька висящий на шее крест.

Первым опомнился Венька. Он насмешливо сощурился, показал мелкие, плотные, как горошины в стручке, зубы, спросил:

— Ты для храбрости повесил это или как?

От бросившейся в голову крови зашумело в ушах, перед затуманенными глазами по рыжему лугу поплыло расплывчатое пятно, желтое, под цвет Васькиной рубахи.

Родька не помнил, как вскочил на ноги. Ковыляя на полустянутом сапоге, он двинулся к Веньке. Васька Орехов, стоявший все еще с открытым ртом, взглянул в Родькино лицо; без штанов, в одной рубахе зайцем прыгнул в сторону. Родька увидел, как вытянулась подвижная Венькина физиономия, как в черных глазах заметалась какая-то искорка. Венька не успел подняться. Родька ударил его с размаху прямо в испуганные черные глаза.

— За что? — крикнул тот, падая на спину.

Родька шагнул, запнулся о полустянутый сапог, упал прямо на Веньку, вцепился в него.

Васька Орехов, не отрывая округлившихся глаз от дерущихся, принялся, путаясь и оступаясь, натягивать штаны. Пашка Горбунов бросился к ним, стал хватать длинными цепкими руками за голые плечи.

— Сдурел, Родька, сдурел! Что он тебе сделал?

Вырвавшись из рук Пашки, Родька, не поднимая головы, как-то странно горбятся, подхватил с земли свой пиджак и рубаху и почти бегом, запинаясь о нена-тянутый сапог, заковылял прочь.

Никто из ребят не стал его догонять. Стояли на берегу озера, глядели вслед. Венька Лупцов вытирал кулаком кровь под носом.

Шелковый шнурочек у медного крестика был прочен. Родька рвал его с остервенением, не чувствуя, как вре-зается он в шею. Наконец разорвал, бросил крест в сторону...



Л. Воронкова

Отрывок взят из повести детской писательницы Л. Воронковой «Старшая сестра», в которой большое место уделено вопросу антирелигиозного воспитания в современной советской школе.

БАБУШКА ПОСТИТСЯ

Бабушка за обедом не стала есть мяса. И от молока тоже отказалась.

— Ешьте, ешьте, — необычно кротким голосом сказала она Зине и Антону, — а мне нельзя мяса.

— Ты заболела? — спросил Антон.

Бабушка улыбнулась:

— Нет, глупый. Я пошусь. Мне скоромного нельзя. Я вот кусочек рыбки съем — и довольно с меня.

Антон с любопытством глядел на бабушку:

— А как ты постишься? Покажи, бабушка!

— Ах, глупенький! — Бабушка снисходительно погладила его по голове. — Пошусь — ну, значит, скоромного не ем. Вот мяса не ем...

— А почему?

— Ну, потому что мясо — от убитого животного. А боженька убивать не велел.

— А рыба — не убитая?

Антон хотел понять все и ничего не понимал. Он вопросительно поглядывал на Зину — может, она объяснит? Но Зина молчала. Ей и самой было непонятно: почему это мясо нельзя есть, а рыбу можно? И почему рыбу можно, а молоко нельзя? Да и кому это было понятно?

Бабушка рассердилась бы на Антона, но ей и сердиться в эти дни было нельзя. Вернее, рассердиться-то она рассердилась, но показать этого не показала. Только высоко подняла свои круглые брови и сказала:

— Согрешишь с вами!

А потом оделась во все темное, покрылась черным шерстяным полушалком и отправилась в церковь.

— За Катюшей сходи, — сказала она Зине, — отцу обед разогрей и подай. Я не скоро приду, сегодня служба долгая. Страстная неделя идет.

Бабушка ушла. Зина как-то вдруг встрепенулась. Ушла бабушка — и снова она почувствовала себя дома, как прежде. Вот они, их чистые, милые комнаты. Зина запела веселую песенку, Антон подхватил — правда, неуклюже подхватил, у него не было слуха, — и никто не остановил их, не сказал, что на страстной неделе петь нельзя, потому что грех. Антон, увлекшись песней, задумал дирижировать пеналом, но потерял равновесие и свалился со стула. Он хотел было скривить губы, но Зина принялась так весело хохотать, что и Антон засмеялся. Они смеялись, болтали, ловили друг друга, бегая вокруг стола, — они были дома!

— А если бы страстная неделя тянулась долго-долго, — сказал Антон, — хорошо бы, а? Бабушка все ходила бы и ходила бы в свою церковь. Да?

— Ты глупости, Антон, болтаешь, — ответила Зина. — Давай-ка за уроки садись.

А сама вздохнула и подумала: «Да, хорошо бы!»

Зине нравилась страстная неделя — бабушка очень мало бывала дома, держалась тихо, кротко. Не вспоминала маму недобрыми словами, как привыкла делать в последнее время. Не жаловалась отцу на Зинину грубость, на ее плохой, угрюмый характер. Только одно не нравилось Зине в эти дни: бабушка слишком много говорила о боге. Бог так и вертелся у нее на языке: то

«бог знает», то «бог спасет» (от чего спасет?), то «бог поможет». Так уж божественно она была настроена. И даже когда Зина нечаянно, встретясь в дверях, толкнула бабушку и сказала: «Прости, бабушка!», бабушка не прикрикнула: «Нешто можно так носиться по квартире!», но и тут ответила: «Бог простит».

«Бог простит! — усмехнулась про себя Зина. — А бог-то тут при чем?» И ей никак не понять было: как это бабушка верит в какого-то бога, которого никто никогда не видал и не слышал, и почему-то считает, что этот невидимый бог должен участвовать во всех их делах? Вот он даже и Зину должен прощать за то, что она нечаянно толкнула бабушку!

В пятницу, придя из школы, Зина застала в квартире разгром. Бабушка только что вымыла окна. Таз с грязной водой стоял среди пола. От окон к двери текли ручьи. Коврики собраны в кучу. Все, что обычно висело на стенах — картина с избушкой на морском берегу, фотографии, календарь с левитановской осенью на папке, портреты Ленина и Пушкина, — все лежало на столе. Бабушка щеткой, закутанной в тряпку, обметала потолок.

У Зины чуть не выпали книги из рук:

— Бабушка, что это?

— А вот, — ответила бабушка, — бери тряпку да протирай все картинки. Накопили тут грязи! Нешто можно все так-то оставить к светлому-то Христову воскресению?

Бабушка устала и, забыв, что в эти дни полагается быть кроткой, прикрикнула на Зину. Зина поспешно разделась и, взяв чистую тряпочку, принялась перетирать рамки картин и фотографий.

Вскоре пришел и Антон. Он долго возился в прихожей, потому что пришел весь в снегу и спешил стряхнуть пальто и обмести валенки, пока бабушка не увидела. Он вошел в комнату красный, с красными руками, с живыми искорками смеха, еще дрожащими в его широких глазах. Ребята только что лупили снежками и сажали в сугроб друг друга. Оттого и получилось, что Антон сегодня очень долго шел из школы. И до чего же захотел он есть! Прямо тарелки три супу съел бы и пять чашек молока выпил бы. Но в доме и не пахло обедом.

— У-у!.. — разочарованно протянул Антон. — А обедать когда же?

— Уберемся — и обедать будем. Не помрешь, — ответила бабушка.

— А какой праздник — Первое мая?

— Ох-ох! — вздохнула бабушка. — Растут, как трава в лесу! Какое же Первое мая, когда апрель только еще начался?

Она взяла у Зины тряпку, а ей велела вешать уже протертые фотографии.

— А больше и праздников не знаете? — продолжала бабушка. — Согрешишь с вами! Воскресение Христово, пасху не знают! Христос воскреснет из мертвых после завтра — понимаешь или нет?

Антону стало интересно:

— Бабушка, а как он воскреснет из мертвых? Из гроба?.. А ты пойдешь посмотреть? А не побоишься?..

— Замолол языком! — прервала бабушка и присела отдохнуть. — Нешто он сейчас воскресать будет? Он уже почти две тысячи лет тому назад воскрес. Встал из гроба и вознесся на небо. Понял теперь?

— А Илья с лошадьми на небе? — продолжал спрашивать Антон. Он любил сказки, и то, что рассказала бабушка, было ему интересно, как всякая сказка.

— И Илья-пророк на небе, — уверенно сказала бабушка, будто она сама только оттуда.

— Бабушка, — не выдержала Зина, — а где же это небо? Ведь небо — это воздух, атмосфера. А облака — туман, влага. А где же, на чем эти ангелы-архангелы живут? Неба-то ведь нет!

— А уж это не наше дело знать, где они живут, — отмахнулась бабушка. — Нешто может человек все знать? Ему это не дано.

— Бабушка, а ты завтра тоже в церковь пойдешь? — помолчал, спросил Антон.

Он уже прикинул: если бабушка уйдет, он позовет Петушка из пятой квартиры, и они будут играть в Землю и в Луну. Сегодня учительница в школе показывала им глобус и объясняла, как вертится земной шар вокруг Солнца и как вокруг земного шара вертится Луна. Сначала на глобусе объясняла. А потом всё изображали сами ребята. Костя Апрелин был Солнце, Ваня Мешалкин — земной шар, а он, Антон Стрешнев, представлял Луну. Костя Апрелин стоял среди класса, Ваня тихонько ходил вокруг него, а Антон ходил вокруг Вани и вместе

с ним вокруг Кости. Вот получилось весело! Антону очень хотелось еще раз поиграть в эту игру: пускай Зина посмотрит, и тогда она тоже узнает, как Земля и Луна кружатся вокруг Солнца!

Он жадно ждал, что скажет бабушка. И бабушка, к его удовольствию, ответила:

— Обязательно пойду. Обязательно пойду, Антоша. Исповедаться. Причаститься святых тайн.

— Каких тайн?

— Тела и крови Христовой причаститься.

Антон молча вытаращенными глазами глядел на бабушку.

— Ну, что вытаращился? Очень просто. Батюшка помолится — дух святой и сойдет в чашу. И станет просвирка телом божьим, а вино станет его кровью.

— Значит, ты, бабушка, будешь из этой чаши пить? — со страхом спросил Антон.

— Тьфу, греховодник! — рассердилась бабушка и встала. — В такие дни в грехи вводят! Вешай картинки, — обратилась она к Зине, — а то еще мне пасху делать надо, кулич ставить... Ох, женился бы, что ли, отец!.. Молодая хозяйка все сделала бы, а мне-то уж трудно!..

Зина побледнела. Отец женился бы! Как это — отец женился бы?.. Молодая хозяйка...

— Ну, что ж ты стала? — сказала бабушка. — Помогай же! Вдвоем-то поскорее управимся.

К приходу отца в квартире было все чисто, все блестяло.

Наступил вечер, а у Зины из головы не выходили бабушкины слова — бабушка уже не в первый раз говорит об этом. Зина ждала того часа, когда уляжется бабушка; она непременно должна была узнать у отца: может, он и вправду думает жениться? Зина страдала от этой мысли, она никак не могла себе представить чужую женщину вместо своей милой мамочки.

По задумчивости, по тревожному блеску ее глаз отец видел, что Зине о чем-то надо поговорить с ним. И он не ложился, сел за книгу и ждал, когда все улягутся, а они сядут с дочкой на диван, как садилась с ней когда-то мама, и поговорят по душам.

Зина была благодарна отцу, что он вот так, без слов, понимает ее.

— Папа, — начала она сразу, — ты женишься?

Отец в изумлении откинулся на спинку дивана.

— Значит, нет еще?

— Конечно, нет, — пожал плечами отец. — Откуда это?

— Бабушка сказала, что ей трудно... Что молодая хозяйка нужна... все делать...

Отец улыбнулся:

— Эх, ты! Да что ж я, какой-нибудь царский единокличник — жену в хозяйство для работы брать? Это так раньше бывало: мужик жену в дом приводил — печку топить некому. И лошадь так же покупал — пахать не на ком. Значит, ты думаешь, что и я от того мужика недалеко ушел, а?

Отец засмеялся. Зина засмеялась тоже, у нее отлегло от сердца.

— Может быть, когда-нибудь и женюсь. Чего не бывает! — помолчав, задумчиво сказал отец. — Если встретится хороший человек... Если она моих ребят будет любить. И если мы все друг друга будем любить... Как ты на это смотришь?

— И если она мамочку нашу будет любить, — вздохнув, добавила Зина.

— О, уж это-то обязательно! — подтвердил отец. — Но это, может, будет... а может, и не будет никогда. Вот ты, дочка, вырастешь и узнаешь тогда, что человек человека по заказу не выбирает, а что скажет сердце, то и будет. А сердца-то наши, сама знаешь... ничего прежнего... еще не забыли...

Голос у отца прервался. Он встал и начал ходить по комнате от окна к двери, от двери к окну.

«Опять папку расстроила! — укладываясь спать, сердито пеняла Зина самой себе. — Ничего потерпеть одна не можешь, скорей уж отца расстраивать...»

Но все-таки то, что сказал отец, ее успокоило.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЗИНОЙ

Утром Зина слышала, как бабушка, вставая, охала и кряхтела:

— Ох, ох, батюшки, кровные... Как поясницу-то разломило!

— А не надо было вчера тут целую баню устраивать, — сказал отец. — Замучилась вчера, вот и болеешь! Чего ради?

— Как — чего ради? Ты-то еще, греховодник! Завтра пасха, а он — чего ради!.. Пойти тесто посмотреть — подходит ли.

В школе тоже кое-где бродили разговоры о завтрашнем празднике христианской церкви.

— Девочки, а у Белокуровых пасху справляют! — сообщила курносая, вечно оживленная, вечно все знающая Аня Веткина. — Отец — коммунист, а они пасху справляют!

Тамара услышала.

— Ничего подобного! Мы ничего не справляем, — возразила она. — Просто мама велела сделать пасху и кулич испечь. Что ж такого? Просто вкусные вещи. От чего ж не поесть, если вкусно? Вот еще! Мы же их в церковь не понесем!

— А что, сладкий творог можно только именно в этот день есть? — запальчиво вмешалась в разговор принципиальная Сима Агатова. — А в другие дни нельзя? Вон у нас в молочной очень часто бывает сладкий творог с изюмом — купи да ешь!

— Ну, уж в этот день... — как-то осторожно, поджидаясь, проямлила Ляля Капустина, последнее время так и ходившая по следам Тамары. — В этот день... как все...

— Как все? — вспылила Сима. — Как кто — все?

— Ну, народ... — Ляля взглянула на Тамару. — Подумаешь, какое дело.

— Народ! — вмешалась Маша Репкина. — Народ уже давно никаким богам праздники не справляет. Эх, вы, а еще пионерки!

Маша круто отвернулась от них, взяла под руку Симу, а другой рукой — Зину, которая молча стояла тут же, и они все трое пошли по широкому голубому коридору. В конце коридора сияло огромное, освещенное солнцем окно.

— Пионерки тоже! — повторила Маша. — Им все равно, лишь бы вкусно. Они, если хочешь, и в церковь пойдут!

— Это нечестно — то, что они говорят! — возмущенно сказала Сима. — Пионерки не должны так думать и так говорить!.. Зина, почему ты молчишь?

— Я думаю, — негромко сказала Зина: — а что может Тамара сделать, если ее мама захотела кулич испечь? Ведь она у Тамары не спросилась же!

— Ну и правильно. И конечно, не спросилась. Ну, а у Тамары, у пионерки, должно быть свое отношение к этому? Должно. А у нее нету. Ей лишь бы послаще чего, самое главное! Ее это не волнует даже. По-твоему, это по-пионерски?

— Нет, — согласилась Зина, — конечно, не по-пионерски!

Зина сказала и тут же проверила себя: а она разве бабушкину куличу не радуется? И, к успокоению своему, почувствовала, что нет, не радуется, что бабушка своими церковными разговорами так замучила ее и так устала она бояться, что все эти церковные обряды интересуют и увлекут ребят и они вдруг вместе с бабушкой начнут веровать в бога и молиться! Зина так устала от этого, что и кулич и пасха казались ей чем-то враждебным, как опасная приманка в западне. Нет, Зина ничему этому не радовалась.

Они шли по коридору, а Тамара и Ляля Капустина глядели им вслед, внутренне смущенные. Но смущения своего они даже и друг другу показать не хотели.

— Подумаешь! — сказала Тамара. — Уж очень умные чересчур!

— Подумаешь! — повторила и Ляля, не зная, что бы такое сказать еще. Но ничего не придумала и опять повторила: — Подумаешь!

Зина была согласна и с Симой и с Машей. Пионер должен быть принципиальным всегда и во всем. Но она не знала, какое испытание ждет сегодня ее самое.

Дома по всей квартире плавал запах сдобного теста. В комнатах было празднично прибрано, стол накрыт самой лучшей скатертью, с желтой каймой, — эту скатерть мама стелила только на Новый год, на Первое мая и на октябрьские праздники. В спальне перед бабушкиной иконой горела маленькая зеленая лампадка.

Бабушка лежала на диване.

— Пришла? — окликнула она Зину. — Ох, ох!.. Вот и хорошо. Придется тебе, Зина, мне услужить сегодня... Прямо не разогнись после вчерашней-то уборки. Не знаю, как сегодня заутреню выстою.

— А может, тебе не ходить сегодня в церковь, бабушка? — сказала Зина.

— Что ты! Да нешто можно! — Бабушка села на диване и опять охнула. — Это к заутрене-то! Да ведь «Христос воскрес» будут петь!

— А что надо сделать? — спросила Зина, прикидывая в уме, что такое понадобилось бабушке.

— Сходи, матушка, в церковь, освяти куличик, — ласково сказала бабушка. — Ох... сама никак не могу!

Зина повернулась к бабушке и уставилась на нее изумленными глазами:

— Что?!

— Ну — что, что! — со скрытой досадой сказала бабушка. — Как будто и невесть что говорю! Сходи, говорю, в церковь, тут недалечко, не на край света посылаю, да освяти кулич, вот и все, и ничего больше! Кабы я сама могла, разве бы я просила?

— Я не умею куличи святить, — бледнея от возмущения, ответила Зина и отошла к своему столу.

Еще этого не хватала, чтобы школьница, пионерка пошла в церковь кулич святить!

Но бабушка не собиралась уступать Зине.

— А и уметь-то нечего, — возразила она. — Вот завяжу тебе в платочек, да и отнесешь. А там уж — что люди, то и ты. Поставишь куда надо. Покажут. Батюшка придет, побрызгает святой водой, и все. Возьмешь и обратно принесешь.

— Бабушка, я пионерка, я не могу ходить в церковь, — сказала Зина как могла спокойнее. — Я не могу. Это нечестно!

— Эко выдумки какие! — Бабушка начала понемногу давать волю своему раздражению. — Нечестно своей бабушке услужить! Бабушка-то вон не посчиталась, дом свой бросила да к вам приехала. А вот заболела — и конец. Оставайся без праздника!

— Бабушка, пусть Анна Кузьминична снесет.

— Снесет она, как же, греховодница такая! — Бабушка махнула рукой. — Давай, говорит, я твой кулич из-под крана попрыскаю — поп-то, говорит, нешто не такой же водой прыскает? Всё ведь на смех, вот в Москве народ-то какой! Ну, что ж поделать, без праздничка оставаться. Да, видно, пора и вещички свои собирать, да и отправляться опять из земли Халдейской в землю

Ханаанскую. Домой, восвояси. Там хоть соседи вокруг меня, а тут? Вот и в родной семье, а одним-то одна, некому кулич освятить!

Зина молчала. Слушала. Так и решила отмолчаться. Но заявление бабушки о том, что она уедет восвояси, испугало Зину.

— А папа? — живо сказала она. — Папа тебя не пустит.

Бабушка тотчас поняла, в какую точку надо бить.

— Ну уж нет! — покачала она головой. — Никто меня не удержит. Отцу твоему, конечно, приятности мало. Нешто хорошо? Родную мать из дому выжили. Вот каких деток воспитал! Ну, а мне что? Мне и дома на печи не дуется. Только молчая не уеду, все отцу выложу. Один-то раз, единственный, бабушка попросила — и на тебе, сделать не хочет!

Зина нахмурилась, опустила голову и угрюмо смотрела, как за стеклом падает капель.

«Что же мне делать? — думала Зина. — Ну что же мне теперь делать?»

Если бы можно было сейчас прибежать к Елене Петровне и все, все ей рассказать! Но как же прибежишь? Ведь она еще не в школе, а домой к ней не прибежишь когда вздумается. И, когда же бежать, если бабушка — вот она! — стоит над душой неотступно со своим куличом?

Зина пожалела сейчас, что не рассказала про свои домашние дела Елене Петровне в тот день, когда ходила навещать ее. Зина только сидела и радовалась, что снова видит ее, слушает ласковый, живой разговор, ощущает ее доброе присутствие... Да и как было рассказать? Тут же сидели и другие девочки — Сима, Фатьма, Шура Зыбина. И еще Аня Веткина, которая сейчас же все это и разнесла бы по всему классу. Елена Петровна сказала, что скоро придет в школу... Да, она скоро придет. А вот что же делать Зине сегодня?

Бабушка шумно вздохнула, охнула и поднялась с дивана:

— Ох... Видно, нет у меня никого. Ни внушки, ни сына...

Зина устало отвернулась от окна и поглядела на бабушку. Она уже знала, что будет дома, когда вернется отец: расстроенное лицо бабушки красноречиво

говорило об этом. Зина почувствовала, что у нее больше нет сил выдержать домашний разлад. Воля ее надломилась.

И, как всегда, когда у человека ослабевает воля и когда он устал от сопротивления, начинают появляться откуда-то мелкие компромиссные доводы, которые могут вывести из трудного положения.

«Может, сходить, освятить ей этот кулич? — подумала Зина. — Ну что я, от этого сразу верующая стану, что ли? Ну, она верует, ей это нужно. А если бы она меня за лекарством послала, я ведь пошла бы! Должна же я, правда, делать, если бабушка велит... Она же все-таки моя бабушка. Я обязана...»

Но главная мысль, которая диктовала ей это, была та, что вот сходит она с куличом — и в доме все будет тихо, и никто никуда не уедет, и отец не расстроится.

Бабушка раза два взглянула на Зину и достала из кармана своего фартука носовой платок.

— Ну что ж... значит, я без праздничка... — Бабушка приложила платок к глазам. — Значит, так и останусь...

— Бабушка, я пойду! — остановила ее Зина. — Где твой кулич?

Бабушка всхлипнула еще разок и сразу перестала плакать — как ребенок, которому дали то, что он просил. Кулич уже был приготовлен — высокий, с темными глазками-изюмами и с белой сахарной поливой наверху. На этой поливе лежали две буквы из румяного теста: «Х. В.» — «Христос воскрес».

«Ну зачем это все надо ей, — с тоской думала Зина, принимая белый узелок с куличом, — если никакой Христос никогда и нигде не воскресал! Ведь она уж большая, старая даже, а как же может этому верить?»

— А ты — переулочком, — учила бабушка Зину. — Не ходи по улице-то... Переулочком, а потом проходным двором. Вот тебя и не увидит никто, уж коли тебе известно с куличом идти.

Зина, не отвечая, оделась, засунула поглубже под пальто свой пионерский галстук и, взяв поудобнее белый узелок, вышла из дому.

Зина шла по улице с опущенными глазами, и ей казалось, что все прохожие глядят на нее, качают голо-

вой, улыбаются насмешливо или осуждающе сдвигают брови. Сверкало солнце в лужах, чирикали воробьи, где-то звонко лаяла собака, смеялись мальчишки, гукали автобусы, покрикивал на заводском дворе маленький паровозик... Весна, заполняя улицы, делала их шумными и веселыми.

Зина, ничего не видя и ничего не слыша, с опущенными глазами и крепко сжатым ртом, пробиралась к церкви. Ах, если бы сделаться ей маленькой-маленькой, такой, что прошла бы она по улицам и никто бы ее не увидел! Иногда Зина поднимала голову и быстро оглядывалась вокруг: не идет ли по улице кто из знакомых девочек? Не следят ли за ней чьи-нибудь глаза?

В глухом переулке никого не было. Шли пожилые женщины, шли старухи с такими же белыми узелками в руках. Вот еще и дяденька какой-то идет — тоже с куличом.

Из-за крыш маленьких старинных домов наконец показались круглые купола притаившейся среди них церкви. Кресты ярко блестели на солнце — один повыше, другой пониже. На том кресте, что пониже, уселась пара шустрых воробьев, прочирикала что-то и улетела снова...

Зина, успокоенная тем, что церковь уже близко и что ей, к счастью, никто по пути не встретился, проводила взглядом этих воробьев и улыбнулась им.

Но тут же, будто кто толкнул ее, Зина оглянулась и увидела Тамару Белокурову. Тамара шла откуда-то со своей матерью. Зина прибавила шаг, надеясь свернуть за угол, пока Тамара не увидела ее. Тамара в этот момент обернулась в ее сторону и приподняла руку в пестрой рукавичке... Увидела? Нет?

«Нет, наверно, нет!»

Зина быстро, не оглядываясь, свернула в заросший деревьями двор церкви и скрылась в холодном полумраке ее больших раскрытых дверей.

Тамара и ее мать возвращались с вокзала. Они провожали отца. Антонина Андроновна отпустила машину. После волнений сегодняшнего дня лучше было пройтись и подышать воздухом, тем более что на улице солнечно и на тротуарах почти сухо — можно вполне пройти, не замочив и не испортив туфель.

У Антонины Андроновны были заплаканы глаза.

Поплакать пришлось и утром, когда она увидела, что Николай Сергеевич все-таки уезжает, несмотря на ее сопротивление. И у поезда тоже заплакала — все-таки уезжает муж из дому. И, хотя не в какие-то дальние страны, а в приволжский колхоз, — все-таки уезжает же!

Ссоры и объяснения кончились. Сначала Антонина Андроновна была уверена, что Николай Сергеевич никуда не поедет, если не поедет она. Но он решил ехать. Тогда Антонина Андроновна приготовилась к отпору: Николай Сергеевич, конечно, будет требовать, чтобы она поехала с ним. Смешной слепец, он ничего не видит! Он не видит, что жена так перегнала его в своем культурном развитии, что она уже не может жить без ванны, без своей спальни, без хороших ателье, без парикмахерской, наконец! А ему, которого по-прежнему так и тянет к каким-то слесарям да прокатчикам, а теперь еще вот и к трактористам, — ему, бедному, отсталому, ничего этого не нужно!

Антонина Андроновна приготовилась к отпору, а никакого отпора давать не пришлось. Николай Сергеевич даже и не подумал настаивать. «Отказываешься? Ну что ж, оставайся дома». Ее глубоко задело это.

— Ты, кажется, даже рад, что я остаюсь?

— Даже рад.

— Что такое?

— Да, рад. Таким барыням, как ты, там делать нечего, — ответил Николай Сергеевич. Он собирал свои вещи и укладывал их в чемодан.

— Так это что же — ты, значит, разрушаешь семью?.. Перестань возиться со своими рубашками и отвечай мне, я серьезно тебя спрашиваю!

И что же? Николай Сергеевич не смутился и ничего не стал отрицать. Он вдруг сказал:

— А у меня семья уже давно разрушена!

Антонина Андроновна растерялась. Почему он так сказал? И, не найдя, что ответить, она пожала плечами:

— Глупости!..

Ну, он и поехал. Хорошо, что московская квартира осталась нетронутой. Надо вот сменить коврик в столовой — не зайти ли ей сейчас по пути в «Мосторг»?.. Только почему это он сказал, что его семья давно

разрушена? Разве они разводятся? А если ссорятся иногда, то кто же не ссорится?

И теперь, все еще возражая мужу, мысленно повторяла: «Глупости, глупости это! У нас очень хорошая семья!»

А Тамаре было по-настоящему и больно и грустно. Отец уехал. Он поехал куда-то в колхоз, в МТС, на «передний край», как он сказал ей однажды.

«Ты, значит, приедешь ко мне? — спросил он Тамару, уже стоя на площадке вагона. — Обещано?»

«Обещано!» — крикнула Тамара.

И непослушные слезинки нечаянно выкатились из ее глаз.

Поезд тронулся. Мать вынула платок и начала плакать.

Тамару раздражало это — ей казалось, что мать плачет потому, что так полагается, потому, что провожающие должны плакать, когда уезжает кто-нибудь близкий. Прищулив глаза от ветра, Тамара не отрываясь глядела вслед поезду, который все уменьшался и уменьшался, убегая вдаль.

Тамару последнее время мучили противоречивые чувства. Словно два разных человека, совсем не похожих друг на друга, боролись и спорили в ней. То ее тянуло к отцу, ей хотелось покрепче подружиться с ним, его слова заставляли ее задумываться над собой, над своими поступками. Она чувствовала, что отец идет по какому-то хорошему, настоящему пути в жизни, что он делает какое-то важное и нужное дело и счастлив этим и что счастье это у него какое-то хорошее, большое...

А бывало, что становилось трудно с отцом — и все-то она не такая, и все-то она не так делает... А что плохого, если хочется утром полежать в постели? И что такого, если Ирина ей почистит ботинки — Ирина обязана ей чистить ботинки, это и мама говорит!.. И вообще с мамой легче: для нее и Тамирины пятерки необязательны, даже можно иногда и в школу не пойти, только скажи, что голова болит. А главное, что у мамы Тамара всегда права, а неправы учителя, которые ставят ей плохую отметку, и неправы подруги, если они не дружат с ней, и неправ отец, если требует, чтобы она сама чистила себе ботинки.

Но сейчас Тамара шла, растроганная разлукой с отцом, и не помнила ничего, что было трудного в отношениях с ним.

Сейчас дома — пустой кабинет с закрытой дверью. Эта дверь так и будет закрыта и сегодня, и завтра, и неизвестно еще сколько дней...

В это время она увидела Зину Стрешневу, которая торопливо переходила через дорогу. Тамара заметила, что она несет какой-то узелок. Сначала она не поняла, что это такое...

— Люди куличи понесли святить, — сказала мать, будто немножко завидуя им.

Тамара поняла — Зина несет кулич в церковь! — и невольно подняла руки и всплеснула ими, слегка хлопнув пестрыми рукавичками. И мгновенно все ее нежное и грустное настроение исчезло. Воспоминание о том, как вчера девочки так пренебрежительно отнеслись к ней за то, что она похвасталась своим куличом и пасхой, — это воспоминание словно опалило ее.

«А, вот как! — улыбаясь торжествующей улыбкой, сказала она. — У меня к куличам пионерского отношения нет, а у них есть, у них вот есть! Ага! Куличики в церковь носите?..»

— Мама, мама, ты послушай! — нервно и горячо начала объяснять Тамара в ответ на недоумевающий взгляд матери. — Я вчера только сказала, какие у нас вкусные кулич и пасха, а уж они начали: «Не по-пионерски! Куличу и пасхе радуешься! А еще пионерка!» А теперь гляди-ка, — Тамара засмеялась, — вон она! Кулич в церковь понесла! Вот это так да! По-пионерски!..

Антонине Андроновне было тяжело. Она не допускала мысли, что Николай Сергеевич уехал навсегда, но предчувствие беды томило ее, и в сердце закипал гнев. Как он мог так поступить?..

— Ну, вот ты и скажи об этом где надо, — сказала мать, радуясь случаю хоть на ком-нибудь сорвать свою обиду. — В следующий раз узнают, как над тобой смеяться!

— Конечно, скажу, — ответила Тамара. — А что, скрывать буду? Уж я-то знаю! Я не только в нашем отряде скажу. Что наш отряд! Я прямо старшей вожатой скажу. Вот они узнают завтра, как у них настоящие пионеры поступают!

ЗИНУ СУДЯТ ТОВАРИЩИ

В понедельник Зина пришла в школу и сразу поняла, что уже весь класс знает о том, что она ходила в церковь. Девочки шушукались у нее за спиной, переглядывались, умолкали, когда она к ним подходила.

— Все говорят, что ты с куличом в церковь ходила... — шепнула ей Фатьма на первом же уроке. — Вот что выдумали!

— Они не выдумали, — ответила Зина.

Фатьма, слегка отодвинувшись, посмотрела на нее:

— Ты ходила в церковь?

— Да.

Иван Прокофьевич прервал объяснение задачи и покосился из-под очков в их сторону:

— Если некоторые думают, что я объясняю задачу для собственного удовольствия, то они ошибаются.

Зина сидела молча, с неподвижным лицом. Казалось, что она внимательно слушает задачу и что думает только о том, как бы понять лучше и запомнить объяснение учителя.

А Зина думала совсем о другом. Она вся замирала от мысли, что уронила свое пионерское достоинство и что теперь уже ничего поправить нельзя. Сегодня или завтра — все равно когда — ее вызовут на совет отряда. И будут спрашивать, и будут стыдить ее, и будут удивляться, как могла она так поступить. И вся школа будет знать об этом... уже знает, наверное. И Елена Петровна... Что теперь скажет Елена Петровна?

И только одна Фатьма понимала, что переживает подруга, и ее горячие темные глаза все время наливались слезами.

— Я знаю, — шепнула она, когда Иван Прокофьевич отошел к доске, — это все твоя бабушка.

Зина не отвечала.

Фатьма не могла дожждаться перемены. И, как только зазвонил звонок и Иван Прокофьевич вышел из класса, Фатьма набросилась на Зину:

— Почему я не знала ничего? Почему мне не сказала? Ну, почему это, а?

— А зачем тебе говорить! — возразила Зина. — Я нарочно не сказала. Пусть я одна буду виновата...

Они вышли из класса вместе. Фатьма крепко дер-

жала ее за руку. Тут же к ним подбежала Шура Зыбина:

— Зина, правда, что ты в церковь кулич носила?

— А кто это сказал? — сердито вступилась Фатьма.

— Ну, я так и знала! — У Шуры посветлело лицо. — Конечно, наболтал кто-то...

— Не наболтал кто-то, а Тамара сама видела!.. — К ним подошла Сима Агатова, хмурая, будто обиженная. — Зина, что ж ты молчишь? Если неправда, так... Я тогда Белокуровой за клевету...

— Я правда ходила в церковь, — сказала Зина.

Сима сразу умолкла, а Шура испуганно охнула.

— Девочки, ее бабушка заставила! — горячо заговорила Фатьма. — А если бы у вас была такая бабушка? Вот заставила бы — и тоже пошли бы!

— Никогда бы никто не заставил! — гордо возразила Сима. — Никогда и никто!

Незаметно подошла Маша Репкина. Она стояла и слушала. А потом сказала, как всегда, отчетливо и твердо:

— Надо обсудить на звене!

— Нет, не на звене... — Сима отрицательно покачала головой. — На совете отряда надо.

— Да что вы, девочки! — вскипела Фатьма. — Прямо уж суд какой-то хотите!.. А если бабушка велит?

— Мало ли кто что велит! — возразила Маша. — Мы должны прежде всего думать, что нам красный галстук велит!

— Девочки, жалко... — заступилась за Зину Шура. — Обсудим на звене — и хватит! А как же быть-то? Ведь мы должны же взрослых слушаться!

Сима резко повернулась к ней:

— А если взрослые скажут тебе: сними и брось свой пионерский галстук — ты снимешь и бросишь? Мы дали торжественное пионерское обещание. Мы не имеем права ходить в церковь, кто бы нас ни заставлял. Пионер не имеет права! Раз пионер идет в церковь — значит, он поддерживает религию. И, значит, нарушает свое торжественное обещание...

— Да что она, молилась там, что ли? — прервала Симу Фатьма. — Она же не молилась!

— Все равно, — вмешалась Маша. — Раз пошла в церковь, да еще кулич святила, — это все равно.

Настоящий пионер так никогда не сделает. Это вам не забава.

Перемена кончилась, разговоры прервались. Сима с упреком сказала Зине:

— Эх ты, а я тебе больше всех верила!

И отошла, будто Зина очень обидела ее лично.

С каждым уроком, с каждой переменной, с каждым часом Зина чувствовала, как вокруг нее нарастает тревожное и тягостное внимание. Она ловила любопытные взгляды, отрывки разговоров:

— А что будет?

— Наверно, на совет отряда...

— А говорят, Ирина Леонидовна хочет прямо перед всей дружиной галстук снять...

Зина, услышав это, машинально схватилась за концы своего галстука. Но тут же разжала руку. А может, они правы... Может, с нее и правда надо галстук снять...

Она ждала, что ее вызовет к себе Вера Ивановна, и готовилась все рассказать ей и все объяснить. Но Вера Ивановна была занята на уроках в других классах. И, лишь встретив Зину в коридоре на одной из перемен, сказала:

— Нехорошо, нехорошо ведешь себя, Стрешнева!

— Вера Ивановна, я... — начала было Зина.

Но Вера Ивановна не стала слушать. Она спешила в учительскую, потому что не успела подготовиться к следующему уроку и потому что считала лишним выслушивать всякие объяснения и оправдания — провинившиеся всегда оправдываются.

Девочки, то одна, то другая, подходили к Зине — кто с любопытством, кто с сочувствием, кто с осуждением... Лишь Тамара держалась в стороне. Она словно не видела Зину. А Зина смотрела на нее издали и все как будто старалась понять: что же это за человек Тамара Белокурова, с которой они обещали дружить на всю жизнь?

«Она видела меня, она должна была сообщить, — думала Зина. — Да, должна. Нет, она настоящая пионерка».

Так говорила себе Зина, но сердце ее почему-то не принимало этих слов. Все правильно — и что-то не то, что-то не так.

«Ну, если она настоящая пионерка, — Зина продол-

жала спор сама с собой, — то подойди к ней и скажи ей какое-нибудь хорошее слово — ведь она же поступила правильно!»

Но сердце ее тут яростно протестовало:

«Нет, я не могу подойти к ней! Я не могу сказать ей хорошего слова! Она сто раз права, а я не могу! И не хочу! И не буду!»

На большой перемене к Зине подошла Шура Зыбина и отвела ее в сторону:

— Ирина Леонидовна Елене Петровне звонила... Девочки слышали! Все ей сказали! Что делать?

Зина молча покачала головой: она не знала, что ей делать.

К концу дня Зина так устала от всех этих переживаний, что на последнем уроке сидела, ничего не понимая. Ботаника, любимый предмет. На какие-то несколько минут раскинулась круглая голубая полянка с бело-розовым бордюром вербены и островками зеленых кустов... Но тут на ее парту упала туго сложенная записочка: «Тамара бегала к вожатой, чтоб тебя вызвали на дружину. Я буду за тебя заступаться. Шура».

Зине стало тяжело и душно, как перед грозой. Перед всей дружиной! Что делать? Может, взять вот сейчас, да и убежать из школы?..

Ирина Леонидовна, в то время как шел урок, сидела одна в пионерской комнате. Брови ее были озабоченно сдвинуты.

«Надо будет организовать это как следует, — думала она, записывая план будущего совета дружины. — Стрешневу можно будет поставить первым вопросом. Нет, лучше последним, а то, пожалуй, из-за нее сорвется весь план».

Ирина Леонидовна ни за что не созналась бы даже самой себе, что она чуть-чуть рада тому, что произошло с Зиной. Не потому, что ей не нравилась Зина и что она хотела ей зла, нет. Но этот случай дает ей возможность показать свою высокую принципиальность, свою активность как старшей вожатой, которая строго следит за воспитанием своих пионеров. Можно будет и о Тамаре Белокуровой сказать — так вот, принципиально, должен поступать пионер. Это будет наука и другим, которые вздумают тайком сбегать в церковь. Можно также поговорить и о лицемерии, когда на словах говорится

одно, а на деле делается другое, и привести в пример Зину... Вообще этот совет дружины можно сделать очень содержательным и интересным...

Неожиданно в пионерскую комнату вошла Марья Васильевна. Ирина Леонидовна вскочила:

— Как хорошо! А я только сейчас хотела рассказать вам, что я решила сделать!

— Вот и я, голубчик, услышала, что вы тут что-то решили. Может, вы сразу мне и расскажете? — ответила Марья Васильевна, грузно усаживаясь на узкий, покрытый кумачом стол.

Ирина Леонидовна начала рассказывать о том, что будет у нее на совете дружины, который она соберет завтра или послезавтра. Глаза ее сверкали, пухлые щеки горели румянцем — с таким увлечением она рассказывала.

Марья Васильевна слушала, опустив ресницы.

— Вы советовались с Еленой Петровной? — спросила она.

Да, Ирина Леонидовна советовалась, но Елена Петровна с ней не согласилась. Она сказала, что ни в коем случае нельзя это выносить на совет дружины и даже на совет отряда нельзя. Однако Ирина Леонидовна считает, что это будет непринципиально. Это такой случай: пионерка — и вдруг в церкви!

И вот когда Ирина Леонидовна, закончив свою речь, подняла от своей записки взгляд, то увидела, что Марья Васильевна старая и больная, что лицо у нее желтое, что губы сложены устало и печально. Но все это пропало, как только Марья Васильевна подняла свои лучистые глаза.

— Дружок мой, все это очень интересно, — сказала она, словно глядя прямо в душу молодой вожатой, — но вы забыли об одном.

— О чем? — Ирина Леонидовна живо приготовилась записать то, что скажет Марья Васильевна.

— О человеке. О Зине Стрешневой, — сказала Марья Васильевна. — О ней-то вы, дитя мое, совсем не подумали!

— А ей будет наука, Марья Васильевна, — возразила вожатая. — Надо же воспитывать!

— Да, надо. Конечно. Но вот, знаете, одно деревце гнется, а другое — ломается. Боюсь, что это деревце вы

как раз ломаете. Этому же боится и Елена Петровна. А Елену Петровну следовало бы послушать — она своих девочек знает очень хорошо.

Ирина Леонидовна растерялась и огорчилась:

— Но это и другим было бы полезно...

— «Другим полезно»! — Марья Васильевна покачала головой. — Разве для пользы тех, других, необходимо быть беспощадным к этим? А что Стрешнева переживает — разве неважно? А ведь она получит глубокую травму, уверяю вас.

Ирина Леонидовна нервно постукивала карандашом. Думала и хмурилась.

— Подумайте, подумайте об этом хорошенько, дитя мое, — сказала, вставая, Марья Васильевна. — За эти два дня можно многое передумать и перерешить...

Но думать два дня Ирине Леонидовне не пришлось. Прозвенел последний звонок, и почти тут же, еще не успела Марья Васильевна и уйти, в коридоре послышался топот бегущих ног, и в дверь торопливо постучали. Ирина Леонидовна крикнула:

— Войдите!

В комнату не вошли, а ворвались девочки из шестого — маленькая Катя Цветкова и курносая, красная от возмущения Аня Веткина.

— Ой, ой! Ирина Леонидовна!..

Увидев Марью Васильевну, девочки осеклись, замолкли.

— Что случилось, дети? — спросила Марья Васильевна.

— Ой! Там у нас Фатьма Рахимова Тамару отколотила! — сообщила Аня.

— Ага! Тамару отколотила! — подтвердила и Катя.

Ирина Леонидовна вскочила:

— Я иду! Девочки, бегите вперед! Пусть весь отряд останется, погодите расходиться...

Каблучки Ирины Леонидовны мелко застучали по коридору. Она бы и сама побежала бегом, но для старшей вожатой это было несолидно.

Вслед за нею поспешила и Марья Васильевна, широко и грузно ступая по натертому паркету.

Почти все девочки были в классе. Ушли только трое: одна — потому, что ей надо было к зубному врачу, другая — потому, что не была пионеркой, третья — потому,

что тоже не была пионеркой и, кроме того, потихоньку носила на шее крестик, который повесила мать.

Зина стояла бледная, встревоженная. Она оглядывалась то на одну, то на другую свою подругу и чем-то очень напоминала птицу, только что пойманную и посаженную в клетку. Милые, почти родные лица подруг казались ей чужими. Она не знала, что они сейчас думают и что будут говорить о ней. Она знала только, что думает и что будет говорить Фатьма. Но Фатьма и сама сейчас очень провинилась: она обругала Тамару крысой и два раза ударила по спине, да так крепко ударила, что Тамара отлетела к доске и чуть не опрокинула доску. Фатьма сидела красная, злая, как петух, который только что подрался и готов подраться опять, если его затронут.

У Тамары был вид человека, очень оскорбленного. На ресницах блестели слезы, но их было так мало, что Тамара не спешила их вытирать — пусть же все видят, как ее обидели!

Девочки волновались, переговаривались. Вожатой Оле Сизовой с трудом удалось призвать их к порядку. И, несмотря на то что прибежала Ирина Леонидовна, а вскоре и сама Марья Васильевна вошла в класс, все-таки то в одном, то в другом углу вспыхивали шепот и споры.

Маша Репкина подняла руку. Зина тотчас устремила на нее глаза, будто сейчас вся ее жизнь зависела от того, что скажет Маша Репкина.

— Фатьма говорит, что Зина пошла в церковь потому, что ей бабушка велела, — сказала Маша. — Но Зина все равно не должна была ходить. Я предлагаю ее вывести из совета отряда.

Потом встала Сима Агатова. И Зина так же внимательно, не дрогнув ресницами, стала глядеть на нее, как только что глядела на Машу, будто хотела и не могла понять, как это случилось, что близкие подруги стали сегодня ее судьями.

— Нет, товарищи! — В голосе Симы слышались и горечь и обида. — Вывести из совета отряда мало. Что вывести надо, то тут даже и спорить нечего. Пионер, который ведет себя в жизни не так, как полагается настоящему пионеру, не достоин носить такое почетное звание. Но я считаю, что надо серьезно отнестись к этому. Стрешнева опорочила звание пионера. Что она делает,

когда идет в церковь? Она поддерживает церковь, поддерживает суеверия, поддерживает то, против чего мы боремся. Так почему же она должна носить звание пионера, почему она должна носить на груди красный галстук, частицу великого знамени нашей Коммунистической партии?

Общий вздох прошел по классу. Девочки снова заспорили, зашумели. Шура Зыбина вдруг утратила свое всегдашнее спокойствие.

— Девочки, это неправильно! — взволнованно заговорила она. — Зина хорошая ученица... хорошая пионерка...

— Вот так хорошая пионерка — в церковь ходит! — крикнула с места Ляля Капустина.

— А вот и да! А вот и все-таки хорошая пионерка!.. — повторила Шура Зыбина.

И девочки в первый раз увидели, что всегда спокойные и ясные глаза ее вдруг сердито засверкали.

— А вы... а вам... лишь бы назло! Не к чему придирается, а вы придираетесь!..

Шура не могла больше говорить, слезы подступили к ее горлу, и речь получилась отрывистой и неубедительной.

Наконец заговорила Тамара.

— Товарищи... — начала она слабым голосом, каким и подобает говорить человеку избитому и оскорбленному, — товарищи, что это у нас за отряд? Ты же поступаешь принципиально — видишь, что пионерка нарушает... просто позорит отряд: идет в церковь с куличом, — и ты приходишь и говоришь кому следует, а тебя за это бьют!.. Да еще крысой обзывают...

— Конечно, крыса! — вдруг крикнула Фатьма.

На Фатьму зашикали. Марья Васильевна, сидевшая за столом, укоризненно покачала головой.

— А за это, — голос Тамары сразу окреп, — я считаю — перед лицом всего класса говорю это — надо исключить из отряда Стрешневу и Рахимову. Нам таких пионеров не надо!

Отряд зашумел. Кто-то кричал: «Это тебя надо исключить!» Кто-то требовал слова, кто-то объяснял, что тогда надо и других исключать, потому что ели и куличи и пасхи, а значит, тоже справляли христианский праздник,

— Дайте мне слово, — попросила Катя Цветкова. — Зачем же сразу исключать? По-моему, неправильно!..

— Неправильно!.. Неправильно! — слышались отдельные голоса.

— Товарищи, надо организованно, — предложила Ирина Леонидовна. — Только давайте решать честно и принципиально. Иногда дружеская привязанность мешает нам отнестись к решению объективно и принципиально, но у нас в отряде юных пионеров этого не должно быть. Ставлю на голосование: оставить Стрешневу в пионерском отряде или исключить? Кто за то, чтобы исключить, прошу поднять руку. Впрочем, давайте сначала решим: ставить ли вопрос о Зине Стрешневой на совете отряда или на совете дружины?..

— Да полно вам! — остановила ее Марья Васильевна. — Что так пышно? Поговорить о ней и здесь можно — вполне этого достаточно.

Ирина Леонидовна, вся красная от волнения, от желания быть принципиальной и от некоторой растерянности, все-таки решила не соглашаться с Марьей Васильевной. Ей казалось, что, уступив директору, она тем самым поступится своими принципами.

— Все равно где: здесь или на совете дружины, а я должна сказать свое мнение! — веско сказала Ирина Леонидовна. — Я не мыслю себе такого отношения к своим пионерским обязанностям, к своей пионерской совести, такого непринципиального поведения человека, который носит красный пионерский галстук. Я считаю, что таких пионеров в отряде оставлять нельзя — красный галстук носить они не достойны!

Класс замер, ошеломленный тем, как повернулось дело. Марья Васильевна протестующе обернулась к Ирине Леонидовне.

— Исключить! — крикнула Тамара и подняла руку.

Зина, увидев, как поднялась эта рука в белом кружевном манжетике, встала и вышла к столу. Она решила, что все кончено. Если бы она оглянулась на класс, она бы увидела, что вслед за Тамарой руки подняли всего две или три девочки. Но она не оглянулась. Почти никого не видя, она подошла к столу, машинально развязала свой галстук, сняла его и положила на стол. И, глядя перед собой пустыми глазами, повернулась и пошла из класса.

— Да что же это такое? — Марья Васильевна легонько хлопнула ладонью по столу. — Да что тут происходит?.. Зина, вернись сейчас же!

Зина нерешительно остановилась и, не зная, как поступить, отошла в сторонку, к доске.

Ирина Леонидовна растерялась. Она только стучала карандашом по столу, что дальше делать, не знала. Таких случаев в ее жизни еще не было.

Марья Васильевна встала. На лице ее выступили красные пятна, но голос, когда она заговорила, звучал, как всегда, твердо и спокойно:

— Какое поспешное, какое необдуманное заключение! Я понимаю — молодость всегда принципиальна. И мы должны быть принципиальными. Но, товарищи, если одна какая-то веточка повреждена, то неужели надо сразу рубить все дерево? Неужели, если человек, если наш друг и товарищ ошибся или смалодушничал, то мы тут же должны отречься от него?.. Вы еще молоды, вы еще дети, и разве вы все застрахованы от ошибок? И разве...

Марья Васильевна должна была прервать свою речь, потому что вдруг открылась дверь и в класс вошла Елена Петровна. Возгласы радостного удивления раздалась со всех сторон.

Зина на мгновение подняла глаза, но, увидев Елену Петровну, побледнела и еще ниже опустила голову.

Елена Петровна, немного похудевшая, повязанная теплым шарфом, тревожно огляделась, машинально и как-то беззвучно поздоровалась. Увидев Зину, стоявшую среди класса, увидев, что ее пионерский галстук лежит на столе, Елена Петровна выпрямилась, и острая морщинка тотчас прорезалась между ее бровями.

— Марья Васильевна... что это такое?

Марья Васильевна улыбнулась и укоризненно покачала головой:

— А что же такое, а? Кто это вас звал сюда, а? С больничной-то постели!

— Это неважно. Это совсем неважно, — ответила Елена Петровна, — все равно мне уже пора... Но я услышала сегодня такой разговор, Марья Васильевна, и теперь вот... — Она указала на Зину и на ее снятый галстук. — Ну что это все значит, объясните мне, пожалуйста! Я просто как во сне...

— Идите сюда, друг мой. — мягко позвала ее Марья Васильевна. — За то, что пришли раньше времени, я вас потом побраню. А правду сказать, очень хорошо, что вы пришли. У нас тут молодежь шибко набедокурила! Идите-ка, идите сюда, классная руководительница! Идите, поговорите со своим классом! — И она тихонько вкратце рассказала, что здесь произошло.

Елена Петровна подошла к столу и стала рядом с Ириной Леонидовной и Олей Сизовой, которая во время этого бурного совещания совсем стушеввалась.

— Что вы делаете, товарищи? — начала Елена Петровна. — Что вы делаете? Я много лет знаю Зину Стрешневу, я знаю ее с первого класса, она пришла ко мне вот такой крошкой... И на протяжении всех школьных лет я видела, как растет этот человек, как он ведет себя в жизни, — так же, как видела всех вас. Я была с вами — и с ней тоже — в те дни, когда вы готовились вступать в пионерский отряд. И в тот день я была с вами, когда вы давали свое торжественное обещание. И я и вы — мы все знаем нашу Зину Стрешневу. И теперь я вас спрашиваю: была Зина плохим товарищем?

— Нет!.. Не была! — вразнобой ответил класс. — Она хороший товарищ. Она всегда заниматься помогала, кто отставал!

— И была ли она плохой пионеркой? Может, она несерьезно, или нечестно, или пренебрежительно относилась к своим пионерским обязанностям, к поручениям, которые давал ей отряд? Оля Сизова, ответь ты на это — ты вожатая отряда.

Оля Сизова встала:

— Зина всегда выполняла поручения... И никогда не спорила. Всегда хорошо выполняла. Она была очень хорошей пионеркой!

— Может, она обманывала учителей?

При этих словах Тамара Белокурова покраснела и опустила глаза.

— Может, она бросала друга в беде? Может, она когда-нибудь лицемерила?

— Нет!.. Нет!.. Нет!! — кричали девочки в ответ на слова Елены Петровны. — Она мне помогала, когда я была больная!.. И мне тоже!.. Она никогда не обманывала!..

— А вот теперь я и хочу спросить Симу: как же ты, Сима, председатель совета отряда, так легко, не задумываясь, предложила исключить из отряда хорошую пионерку только за то, что она ошиблась?

— Я думала... — хмуро ответила Сима, — я весь день думала. И я думала: раз не по-пионерски поступает, то зачем же ей быть в отряде? И... — губы у Симы дрогнули, — я... мне было очень обидно... Я ей больше всех верила, а она...

Сима замолчала.

— Конечно, это обидно, — согласилась Елена Петровна, — только надо помнить и крепко держать себя и смотреть, чтобы личная твоя обида не решала судьбу товарища. А ты, Сима, это проглядела. Ну, это поправимо. Ты хоть и очень ошиблась, все-таки останешься лучшим товарищем Зины, это я знаю. Но вот хотелось бы мне поговорить сейчас о другой девочке...

Все обернулись и поглядели на Фатмю.

— Хотелось бы мне поговорить о Тамаре Белокуровой.

Тогда все глаза обратились на Тамару. У Ирины Леонидовны удивленно и недоумевающе поднялись брови. А она-то как раз хотела привести Тамару как пример высокой принципиальности!

— Вот ты, Тамара... — Елена Петровна стояла прямо перед Тамарой и глядела ей в лицо. (Тамара хотела бы отвернуться, но некуда было, и она принялась внимательно разглядывать царапинку на парте.) — Вот ты, Тамара, увидела Зину с куличом. А почему же ты не побежала за ней, не остановила ее, не поговорила с ней? Почему же тебе так нужно было, чтобы об этом непременно узнала вся школа? Разве не довольно было бы поговорить со своим вожатым отряда? Но нет, тебе непременно нужно было прежде всего бежать к старшей вожатой, устраивать вот такое судилище! Поступают так настоящие друзья? Нет, не поступают. И вот я знаю, что ты обещала Зине дружбу на всю жизнь, ты обещала не покидать друга в беде. А когда у Зины случилась беда, где ты была в то время? Почему тебя не было с нею в те дни, когда твоему другу была необходима твоя помощь? Поступают так настоящие друзья? Нет, не поступают. И совсем недавно слышала я такую речь. Ты, Тамара, держала конец своего пионерского

галстука и говорила: «Если я окажусь плохим другом, снимите с меня его!» Так вот должна тебе сказать, Тамара, что ты оказалась плохим другом. И если придавать значение твоим громким словам, то надо бы сейчас этот галстук с тебя снять! Потому что, когда твой друг ошибся, ты не сумела вовремя остановить его и первая подняла против него руку!

Сдержанный гул прошел по классу.

Тамара сидела красная, не поднимая головы. Ей уже казалось, что к ней сейчас подойдут и снимут галстук. Однако ее испугало не то, как она вдруг останется вне пионерского отряда, это ей сейчас пока в голову не приходило, а то, как это на глазах у всех с нее снимут галстук и все будут глядеть, шептаться... может быть, насмешничать...

Но никто не подходил к Тамаре и не снимал с нее галстука. И, как только внимание было отвлечено от нее, она, искоса поглядывая по сторонам, снова подняла голову и, спокойная, только слегка более румяная, чем всегда, сидела так, будто ничего особенного не произошло и ничего плохого о ней не было сказано. Зина, которая понемножку пришла в себя, поглядела на нее в эту минуту и была поражена: Тамара сейчас как две капли воды была похожа на свою мать — та же осанка, тот же уверенный, чуть снисходительный взгляд, то же спокойствие.

Зина отвернулась. Видно, Зина все-таки была плохой пионеркой. Хотя сто раз повтори ей, что пионеры должны дружить и крепко стоять друг за друга, с пионеркой Белокуровой она больше дружить не могла.

— Я не хочу сказать, что Зина совсем не виновата, — говорила между тем Елена Петровна. — Конечно, мы знаем, что Зина это сделала не потому, что она верует в бога, не потому, что действительно считала нужным нести в церковь кулич. Она сделала это потому, что так велела бабушка. Старших надо слушаться. Это так. Но нельзя забывать и о том, что вы пионерки, что вы носите красный галстук на груди. Вступая в отряд, что вы торжественно обещали перед лицом своих товарищей? Верно служить делу Ленина, делу партии. Подумайте, какое высокое, какое большое обещание вы дали! Можете ли вы нарушать это обещание? Нет, не можете. Ни на один шаг вы не можете отступать от

своих пионерских принципов. И, если уж пришлось так — если старшие говорят противное этим принципам, выбирать не приходится. Трудно противостоять иногда, но что ж делать — надо противостоять. Павлику Морозову было нелегко идти против своего отца, но он не уступил, не сдался. Умер, но пионерской совести своей не уронил.

Елена Петровна умолкла. Наступила тишина. Но никто этой тишины не прервал.

— Иногда кое-кто из пионеров считает: «Ну, а что из того, что я сбегаю в церковь? — снова начала Елена Петровна. — Я же не молиться. Я же в бога не верую». И не понимает такой пионер, что он уже против своих пионерских принципов чем-то поступился. Сегодня этим поступился — сбежал в церковь, завтра чем-нибудь другим поступился — обманул родителей или учителя, не пошел в школу, потому что не хотелось приготовить урок... А послезавтра еще какой-нибудь как будто «пустяк»... А принципиальности-то пионерской уже и нет у человека. Сегодня он поступился в мелочах, завтра поступился в серьезном. Как же верить такому пионеру? Все, что я говорю, относится и к тебе, Зина. И дело вовсе не в том, увидели тебя или не увидели. Каждый из нас сам себя должен видеть всегда и во всем и никогда не поступать так, чтобы приходилось от других прятаться.

Зина поникла головой. В классе стояла тишина. Ирина Леонидовна что-то торопливо записывала в своей тетради. Все это было уроком и ей, старшей вожатой: он заставил ее над многим призадуматься.

— А мы тоже хороши, — продолжала Елена Петровна. — Походили-походили к Зине, да и забыли. А как там сложилась жизнь, нам и узнать некогда было! И мне в том числе. Собиралась пойти к Зине — и не сходила. Ну что ж — бабушка дома, значит, все хорошо. А вот, оказалось, не все хорошо. И, вместо того чтобы помочь, чтобы поддержать друга, когда он оступился, мы не нашли ничего лучшего, как устроить целый разбор... Зина! — Елена Петровна обернулась к Зине и протянула к ней руку, подзывая ее. — Подойди сюда и возьми свой галстук. Он твой. И мы, друзья, не должны, не имеем права снимать его — мы не меньше виноваты, чем Зина!

— Да-да! Надень галстук! — подтвердила Ирина Леонидовна.

Зина, поглядев Елене Петровне в глаза, подошла к столу, взяла свой галстук и снова надела его.

И вдруг весь отряд взбушевался. Девочки захлопали в ладоши, закричали.

— Зина, иди к нам! — кричали они со всех сторон. — Иди к нам, садись!.. Иди к нам!

Зина, словно придя в себя, слабо улыбнулась. И, неизвестно откуда взявшись, отчетливо, будто сделанные из золота, зазвенели в ее памяти строчки писателя Гайдара:

«...И в сорок рядов встали солдаты, защищая штыками тело барабанщика, который пошатнулся и упал на землю...»

Это она, пионерка Зина Стрешнева, пошатнулась и упала на землю. Но встали за нее товарищи в сорок рядов!..

И потеплевшими, просветленными глазами окинув девочек, которые всё еще хлопали в ладоши и не могли уняться, она вернулась на свое место и села по-прежнему рядом с Фатьмой, со своим верным другом.

Марья Васильевна улыбнулась уголками рта, глаза ее лучились на помолодевшем лице. Она молча незаметно кивала головой: все произошло так, как должно было произойти. А Ирина Леонидовна, когда девочки захлопали в ладоши, вдруг забыла, что она старшая вожатая, и захлопала вместе с ними. Она была искренне рада, что все так обернулось и что ей не надо делать то трудное сердцу дело, которое она считала себя обязанной сделать, — вывести Зину на суд совета дружины.

А придя домой, записала в свою книжечку слова Марьи Васильевны: «Руководя людьми, надо поглубже заглядывать в их душу и прежде всего помнить, что каждый из них — живой человек...»



В. В. Маяковский

Антирелигиозные стихи Маяковского были написаны в первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции. Но они и сейчас сохранили свое боевое значение. Обращаясь к крестьянам, В. В. Маяковский призывал их бросить отжившие свой век суеверия и религиозные предрассудки. Не несуществующий Христос, а советская власть дала крестьянам землю. Не бог, а наука отведет молнию от избы. Не молебны, а агрономы помогут в засушливый год. Не знахарство, а врачи вылечат от болезни. Не суеверия, не надежды на бога помогут крестьянству, а наука, книга, знания.

В наши дни, когда советский народ успешно переделывает природу, побеждает засуху, когда передовая наука прочно входит в деревню, еще более нелепыми кажутся те пережитки темной старины, суеверия и упования на загробную жизнь, которые имели место в первые годы революции и не вполне изжиты и сейчас,

НИ ЗНАХАРЬ, НИ БОГ, НИ АНГЕЛЫ БОГА — КРЕСТЬЯНСТВУ НЕ ПОДМОГА

Мы
сбросили с себя
помещичье ярмо,
мы
белых выбили,
наш враг
полег, исколот;
мы
побеждаем
волжский мор и голод,
мы
не даем
разрухе
нас топтать ногами,
мы победили,
но не для того ж,
чтоб очутиться
под богами,
чтоб взвилась
вновь,
старья вздымая пыль,
воронья стая
и сорочья,
чтоб снова
загнусавили попы,
религиями люд мороча.
Чтоб поп какой-нибудь
или раввин,
вчера
благословлявший за буржуев драться,
сегодня
ручкой, перемазанной в крови,
за требы требовал:
«Попам подайте, братцы!»
Чтоб, проповедуя
смиренья и посты,
ногами
в тишине монашских келий,

за пояс
закрутивши
рясовы хвосты,
откалывали
спьяну
трепака
да поросенка с хреном ели.
Чтоб, в небо закатив свинные глазки,
стараясь вышибить Россию из ума,
про Еву,
про Адама сказывали сказки,
на место знаний
разводя туман.
Товарищ,
подымись!
Чего пред богом сник?
В свободном
нынешнем
ученом веке
не от попов и знахарей —
из школ,
из книг
узнай о мире
и о человеке!

1922

**ТОВАРИЩИ КРЕСТЬЯНЕ,
ВДУМАЙТЕСЬ РАЗ ХОТЬ —
ЗАЧЕМ КРЕСТЬЯНИНУ СПРАВЛЯТЬ ПАСХУ?**

Если вправду
был
Христос чадолюбивый,
если в небе
был всевидящий бог, —
почему
вам
помещики чесали гривы?
Почему давил помещичий сапог?
Или только помещикам
и пашни
и лес?

Или блюдет Христос
лишь помещичий интерес?
Сколько лет
крестьянин
крестился истов,
а землю получил
не от бога,
а от коммунистов!
Если у Христа
не только волос долгий,
но и ум
у Христа
всемогуший, —
почему
допущен голод на Волге?
Чтобы вас
переселять в райские куши?
Или только затем ему ладан курится,
чтобы у богатого
в супе
плавала курица?
Не Христос помог —
советская власть.
Чего ж Христу поклоны класть?
Почему
этот самый бог тройной
на войну
не послал
вселяющего Христа?
Почему истреблял крестьян войной,
кровью крестьянскою поля исхлестал?
Или Христу —
не до крестьянского рева?
Христу дороже спокойствие царев?
Крестьяне
Христу молились веками,
а война
не им остановлена,
а большевиками.
Понятно —
пасха блюдетя попами.
Не зря обивают попы пороги,

Но вы
из сердца вырвите память,
память об ихнем —
злом боге.
Русь,
разгонись
наконец,
богомолица!
Чем праздновать
чепуху разную,
рождество
и воскресенье,
Коммуны-вольницы
всем крестьянским сердцем отпразднуем!
1923

ПРОШЕНИЯ НА ИМЯ БОГА — В ЗАСУХУ НЕ ПОДМОГА

Эй, крестьянин!
Эта песня для вас,
наостри на песню ухо.
В одном селе,
на Волге как раз,
была
засуха.
Сушь одолела —
не справиться с ней,
а солнце
сушит
сильней и сильней.
Посохли немного
и решили:
«Попросим бога!»
Деревня
крестным ходом заходила,
попы
отмахали все кадила.
А солнце шпарит.
Под ногами
уже не земля,
а прямо камень.

Сидели-сидели, дождика ждя,
и решили
 помолиться
 о ниспослании дождя.
А солнце
 так распалилось в высях,
что каждый росток
 на корню высох.
А другое село
по-другому
 с засухами
 борьбу вело,
другими мерами:
агрономами обзавелось
 да землемерами.
Землемер
 объяснил народу,
откуда
 и как
 отвести воду.
Вел
 землемер
 с крестьянами речь,
как
 загородкой
 снега беречь.
Агроном учил:
 «Засевайтесь злаком,
который
 на дождь
 не особенно лаком.
Засушливым годом
засевайтесь корнеплодом —
и вырастут
 такие брюквы,
что не подымете и парой рук вы»,
Эй, солнце —
 ну-ка! —
попробуй,
 совладай с наукой!
Такое солнце,
 что дышишь еле,
а поля — зазеленели.

гроза закуралесила чересчур люто.

А Тит говорит:

«В господней воле...»

Помолюсь,

попрошу своего Илью-то».

Послушал молитву Тита Илья

да как вдарит

по всем

по Титовым жильям!

И осталось у Тита —

крещеная башка

да от избы

углей

полтора мешка.

Обнищал Тит:

проселки месит пятой.

Не помогли

ни бог-отец,

ни сын,

ни дух святой.

А Иванов Ваня —

другого сорта:

не верит

ни в бога,

ни в черта.

Товарищи у Ваньки —

сплошь одни агрономы

да механики.

Чем Илье молиться круглый год,

Ванька взял

и провел громоотвод.

Гремит Илья,

молнии лья,

а не может перейти Иванов порог.

При громоотводе —

бессилен сам Илья

пророк.

Ударит молния

Ваньке в шпиль —

и

хвост в землю

прячет куцо.

Остановился Ферапонт,
 отвернул глаза
да сплюнул
 через плечо
 три раза.
Постоял минуту
 и снова с ног.
А для удавившегося
 и минута — большой срок.
Подбежал к фельдшеру,
 только улицу перемахнуть —
и вдруг
похороны преграждают путь.
Думает Ферапонт:
 «К несчастью!
 Нужно
процессию
 обежать дорогой окружной».
На окружную дорогу,
 по задним дворам,
у Ферапонта
 ушло
 часа полтора.
Выбрать бы Ферапонту
 путь покороче —
сына
 уже от кости
 корчит.
Наконец,
 пропотевши в десятый пот,
к фельдшерской калитке
 прибежал Ферапонт.
Вдруг
из-под калитки
выбежал котик —
 черный,
 прыткий,
как будто
 прыть
 лишь для этого берег.
Всю дорогу
Ферапонту
перебежал поперек.

Думает Ферапонт:
«Черный кот
хуже похорон
и целого
поповского
собора.
Задам-ка я
боковой ход —
и перелезу забором».
Забор
за штаны схватил Ферапонта.
С полчасца повисел он там,
пока отцепился.
Чуть не сутки
ушли у Ферапонта
на эти предрассудки.
Ферапонт прихватил фельдшера,
фельдшер — щипчик,
бегут
к подавившемуся
ветра шибче.
Прибежали,
а в избе
вой и слеза —
сын
скончался
полчасца назад.
А фельдшер
говорит,
Ферапонта виня:
«Что ж
теперь подвывать вой?!
Каб раньше
да на час
позвали меня,
сын бы
был
обязательно живой».
Задумался Ферапонт.
Мысль эта

суеверного Ферапонта
сжила со света.
У мцей
у басенки
мыслишка та,
что в несчастиях
не суеверия помогут,
а быстрота.

1923

НАДО БОРОТЬСЯ

У хитрого бога
лазеек —
много.
Нахально
и прямо
гнусавит из храма.
С иконы
глядится
Христос сладколиций.
В присказках,
в пословицах
господь славословится,
имя
богово
на губе
у убогова.
Галдят
и доньше
родители наши
о божьем
сыне,
о божьей
мамаше.
Про этого самого
хитрого бога
поются
поэтами
разные песни.
Окутает песня
дурманом, растрогав,

зоя
от жизни
лететь под небесне.
Хоть вешай замок
на церковные туши,
хоть все иконы
из хаты выставь,
вранье
про бога
в уши
и в души
пролезет
от сладкогласых баптистов.
Баптисту
замок
повесь на уста,
а бог
обернется
похабством хлыста.
А к тем,
кого
не поймать на бабца,
господь
проберется
в пищаньи скопца.
Чего мы ждем?
Или
выждать хочется,
пока
и церковь
не орабочится?!
Религиозная
гудит ерундистика,
десятки
тысяч
детей
перепортив.



СКАЗКИ

В фольклоре, в народных сказках можно найти много острых разоблачений религии, церкви, суеверий. Трезвый, насмешливый ум народа, его юмор видны в многочисленных сказках различных народов Советского Союза.

Народ смеется в них над «чудесами», дававшими столько выгод духовенству, издевается над чрезвычайной жадностью попов, мулл и раввинов, которые были готовы на все ради наживы, смеется над церковью, которая сама так мало выполняла евангельские заповеди всепрощения и кротости, исполнения которых она требует от народа.

Особенно интересна сказка «Как мужик в рай ходил». В ней видно трезвое, ироническое отношение народа к вере в загробную жизнь, к надеждам на то, что в рай, дескать, бедняк дождетс справедливости. Рай в этой сказке как две капли воды похож на землю, на которой мужика притесняли и грабили. Там те же вечно пьянствующие, тупые и ленивые начальники, и главный начальник — бестолковый и безграмотный бог, который не только помочь мужику не может, а даже и расписаться не умеет. Значит, говорила эта сказка, мужикам надо надеяться на себя, а не на угодников и бога.

ПОХОРОНЫ КОЗЛА

Русская сказка

Жили старик со старухой; не было у них ни одного детища, только и было что козел. Старик никакого мастерства не знал, плел одни лапти — только тем и питался. Привык козел к старику: бывало, куда старик ни пойдет из дому, козел бежит за ним. Вот однажды случилось идти старику в лес за лыками, и козел за ним побежал. Пришли в лес; старик начал лыки драть, а козел бродит там и сям и травку щиплет; щипал, щипал — да вдруг передними ногами и провалился в рыхлую землю, зачал рыться и вырыл оттуда котелок с золотом. Видит старик, что козел гребет землю, подошел к нему и увидал золотого; возрадовался он, побросал свои лыки, подобрал деньги — и домой. Рассказал обо всем старухе.

— Ну, старик, — говорит старуха, — это нам бог дал такой клад на старости за то, что столько лет с тобой потрудились в бедности. А теперь проживем в свое удовольствие!

— Нет, старуха, — отвечал ей старик, — эти деньги нашлись не нашим счастьем, а козловым. Теперича нам жалеть и беречь козла пуще себя!

С тех пор зачали они жалеть и беречь козла пуще себя, зачали за ним ухаживать, да и сами-то поправились лучше быть нельзя. Старик позабыл, как и лапти-то плетут; живут себе, поживают, никакого горя не знают.

Вот через некоторое время козел захворал и издох. Стал старик советоваться со старухой, что делать:

— Коли выбросишь козла собакам, так нам за это будет перед богом и перед людьми грешно, потому что все счастье через козла получили. А лучше пойду я к попу и попрошу похоронить козла по-христиански, как и других покойников хоронят.

Собрался старик, пришел к попу и кланяется:

— Здравствуй, батюшка!

— Здорово, свет! Что скажешь?

— А вот, батюшка, пришел к твоей милости с просьбой. У меня на дому случилось большое несчастье: козел помер. Пришел звать тебя на похороны.

Как услышал поп такие речи, крепко рассердился, схватил старика за бороду и ну таскать по избе:

— Ах ты, окаянный! Что выдумал — вонючего козла хоронить!

— Так ведь этот козел, батюшка, был совсем-таки православный: он отказал тебе двести рублей.

— Послушай, старый хрен, — сказал поп, — я тебя не за то бую, что зовешь козла хоронить, а зачем ты по сию пору не дал мне знать о его кончине: может, он у тебя давно уже помер!

Взял поп с мужика двести рублей и говорит:

— Ну, ступай же скорее к отцу дьякону, скажи, чтобы приготавлился: сейчас пойдем козла хоронить.

Приходит старик к дьякону и просит:

— Потрудись, отец дьякон, приходи ко мне в дом на вынос.

— А кто у тебя помер?

— Да вы знавали моего козла — он-то и помер!

Как зачал дьякон хлестать его с уха на ухо!

— Не бей меня, отец дьякон! — говорит старик. — Ведь козел-то был, почитай, совсем православный: как умирал, тебе сто рублей отказал за погребение.

— Эка ты стар и глуп! — сказал дьякон. — Что ж ты давно не известил меня о его православной кончине? Ступай скорей к дьячку: пускай позвонит по козловой душе!

Прибегает старик к дьячку и просит:

— Ступай, позвони по козловой душе.

И дьячок рассердился, начал старика за бороду трепать.

Старик кричит:

— Отпусти, пожалуй, ведь козел-то православный: он тебе за похороны пятьдесят рублей отказал!

— Что ж ты до этих пор копаешься? Надобно было пораньше сказать мне: следовало бы давно уже прозвонить!

Тотчас бросился дьячок на колокольню и начал вальть во все колокола. Пришли к старику поп и дьякон и начали похороны отправлять. Положили козла в гроб, отнесли на кладбище и закопали в могилу.

Вот стали про то дело говорить промеж себя прихожане, и дошло до архиерея, что-де поп козла похоронил по-христиански. Потребовал архиерей к себе на расправу старика с попом,

— Как вы смели похоронить козла? Ах вы, безбожники!

— Да ведь этот козел, — говорит старик, — совсем был не такой, как другие козлы: он перед смертью отказал вашему преосвященству тысячу рублей.

— Экой ты глупый старик! Я не за то сужу тебя, что козла похоронил, а зачем ты его заживо маслом не соборовал!

Взял тысячу и отпустил старика и попа по домам,



ПОП И ПОНОМАРЬ

Русская сказка

Повадился пономарь к попу на погреб за сметаной лазить. Пост не пост, а на погреб сметану не ставь: пономарь, что кот, все сожрет. Поп однажды и говорит пономарю:

— Поймаю — изничтожу!

Пономарь решил оправдаться перед попом. Наступила пасха. Залез пономарь в страстную пятницу в погреб, наелся до отвала сметаны и с собою ложку захватил. Пошел в церковь до обедни и спасителю с Николаем-угодником по губам сметаной провел.

Собрался народ к ранней обедне. Начал поп службу. Посмотрел на богов, а у спасителя с Николаем-угодником по усам сметана течет. Разъярился поп, как шваркнет кадилом по зубам Николе да как заревет:

— Я вас, дармоедов, отучу сметану жрать!

Вечером похристосовался с пономарем и говорит:

— Прости, брат, а я на тебя думал.



КАК МУЖИК В РАЙ ХОДИЛ

Русская сказка

В некотором царстве, в некотором государстве, в Олонецкой губернии, Петрозаводского уезда, Толвуйской волости, раз случилось такое дело. Пришел весенний Микола, а травы нет: не выросла.

— Как же быть? — закричали мужики-крестьяне. — Мы всегда надеялись на Миколу, он должен был с травой прийти, а тут нако-вось.

Вот собрались мужики на сход, судили, рядили и решили идти к богу — жаловаться на Миколу. Стали заставлять попа прошение писать к богу, а поп и говорит:

— Что вы, православные! Да разве подобает нам, грешным, жаловаться на святого Николая-чудотворца?

Но крестьяне заставили попа написать прошение и направили церковного старосту с прошением к самому богу Саваофу.

Шел, шел староста, думает: как подняться на небо? Видит — журавли летят. Сел он на журавля и полетел на небо. Приходит староста к канцелярии бога, видит — апостол Петр швейцаром у ворот стоит. Расспросил апостол Петр старосту, открыл двери и пропустил в канцелярию. Зашел староста в небесную канцелярию, смотрит — сам Саваоф сидит за большим столом, такой угрюмый, вроде как сердит или с похмелья: голову держит, задумался. Кирилл да Мефодий писарями служат, сидят неподалеку. Мария Магдалина машинисткой работает. Архангел Михаил у дверей стоит, курьером служит. Перекрестился староста, поклонился низко и не успел сказать «здравствуйте», как Мефодий к нему подбежал и спрашивает:

— В чем дело, мужичок, что хорошего на земле есть?

— Да вот, — говорит староста, — послали меня толвуйские мужики к богу с жалобой: Микола травы не дал, скот кормить нечем.

Взял Мефодий жалобу, повертел, повертел в руках, да и подал богу.

— Вот, — говорит Мефодий, — тут толвуйские мужики на Миколу жалуются.

— А чего мне суешь? — говорит бог. — Ведь ты знаешь, что я неграмотный. Ты азбуку издал — ты и читай.

Прочитал Мефодий прошение до точки. Как стукнет бог кулаком по столу, ажно Мария Магдалина привскочила. Архангел Михаил с испугу к столу подбежал, апостол Петр ворота открыл, староста на пол сел.

— Позвать, — кричит бог, — Миколу-чудотворца! Архангел Михаил побежал искать.

Вот приходит Микола-чудотворец и спрашивает:

— В чем дело?

— Как «в чем дело»? — горячится бог. — Вот толвуйские мужики жалуются, что ты травы не дал, скот кормить нечем. Ведь ты должен с травой быть, православные христиане на тебя надеются, а ты их подвел, а этим веру в себя и в нас обостряешь. Мужики и совсем нам верить не будут. И так попы жалуются: доходу мало.

— А мне что, — говорит Микола, — разве я виноват? Почему Георгий-победоносец ручейков не пропустил? Откуда я траву возьму, когда ручьев не было!

Повернулся и пошел к Варваре-великомученице пивко допивать.

— Позвать мне Георгия-победоносца! — снова закричал бог.

Вот прискакал Георгий-победоносец на белом коне да прямо в канцелярию и заехал.

— Что случилось, святой боже? — спрашивает Георгий.

А бог ему и говорит:

— Как же это случилось? Почему ты ручьев не пропустил в свое время? Из-за тебя Микола не мог травы дать.

— А мне что, — говорит Георгий, — разве я виноват? Ведь ключами-то заведует Алексей, человек божий. Он не отомкнул их, воды не дал — откуда же я ручейки возьму?

Еще пуще вскипел бог. Обои кулаками по престолу стучит, ажно другие столы затряслись. Мария Магдалина взамен «приказ по раю» напечатала «проказ по раю».

— Где Алексей, человек божий? Сейчас подать его сюда!

Архангел Михаил чуть с крыльца не упал, побежал за Алексеем да еле его нашел: Алексей вечером пьян был и ключи потерял, ходит ищет.

— Ступай скорее к богу! — крикнул ему архангел Михаил.

Вот приходит Алексей, человек божий, к богу да взамен «в чем дело» говорит: «Есть ли пивко?» Так все и рассмеялись, даже бог улыбнулся, но своему человеку строго не сказал, а просто спросил:

— Почему это ты воды не отомкнул?

— Я, — отвечает Алексей, — открывал воду, да неоткуда ей течь было: Василий-капельник ни одной капли не капнул. А вода-то от капельника должна начинаться...

Опять разгневался бог и потребовал Василия-капельника, даже ногой топнул.

Приходит Василий-капельник, «мама» выговорить не может: всю ночь пьянствовал с Николаем-чудотворцем,

с Алексеем, человеком божим, у Варвары-великомученицы.

Заметил бог, что пьян он, да и говорит:

— Так ты что же это? Сам нализался, а людям даже воды не капнул!

— А мне-то что, — отвечает Василий-капельник, — разве я виноват? Ты сам оплошал: к самому главному делу бабу допустил. Авдотья-плющиха всему виновата: надо было ей плющить сильнее, а она совсем не плющила. Откуда же я капать стал бы? Только зря канители.

Тут еще пуще бог рассердился и потребовал Авдотью-плющиху. Является Авдотья-плющиха. Бог обенми ногами на нее затопал, кулаками застучал:

— Это что же ты, такая-сякая, делаешь! А-а-а! Вам только компанию устраивать с Варварой-великомученицей. Все апостолы и пророки свое дело забыли, к вам похаживают да пиво пьют. Это ты все дело испортила!

— Да ты что, — говорит, — на меня окрысился? Разве я виновата?

Да как пошла писать — богу жарко стало.

— Сам, — говорит она, — порядков не знаешь, хоть и устанавливал их. Дождем да снегом заведует Илья-пророк. Его и спрашивай... И нечего упрекать нас с Варварой апостолами. Нередко и сам заходишь. Так что все одинаковы! А без дела меня никогда не тревожь: у меня дети маленькие дома.

Посидел бог, подумал и послал за Ильей-пророком. Слышит староста — гром загремел. Вот приходит Илья-пророк в канцелярию.

— Сами вы виноваты, отче наш, — сказал Илья-пророк. — Ведь лето по вашему распоряжению дождливое было. Где же мне на осеннего Егорья снегу взять?

— А почему ты в сенокос дождь лил? — спросил бог.

— Да как же, ведь ты сам сказал мне, что дождь лить надо, когда косят.

— Дурак! — сказал бог. — Ведь я тебе говорил: когда просят, а ты льешь, когда косят.

— Э-э-э, брат! — отвечает Илья. — А это и может быть. Я, видишь ли, стар и глуховат стал, вот и перепутал.

Видит бог, что больше винить некого, а с Ильи что возьмешь? Взял прошение в руки, повертел, повертел, да и говорит Мефодию:

— Напиши резолюцию от моего имени: «Оставить без последствия».

Написал Мефодий резолюцию, бог взамен расписки крест поставил и подал обратно старосте.

Пошел староста обратно в Толвую. Приходит к толвуйским мужикам и подает прошение обратно с резолюцией. Прочитали мужики, покачали головой да с тех пор и не стали на Миколу надеяться больше.



СОБАЧЬЯ ДОЛЯ

Литовская сказка

Шел однажды бог по деревне, а собака на него лает. Бог и говорит:

— Ты что на меня лаешь? Ведь я же тебя сотворил.

Собака ответила:

— Видно, без дела был, когда меня творил. Было бы гораздо лучше, если бы меня не было: не терпела бы я холода, дождя и непогоды.



НЕ ГОВОРИ „ДАЙ“

Кабардинская сказка

Крестьянин увидел — тонет в реке мулла. Подбежал крестьянин к берегу, протянул руку и закричал:

— Мулла, дай поскорее свою руку! Давай же!

Мулла был близко к берегу, легко мог бы достать протянутую ему руку. Но только мулла услышал слова крестьянина, он стал изо всех сил отталкиваться от берега.

Другой крестьянин видел все это. Он хорошо знал мулл и потому закричал спасавшему:

— Эй-эй, чудак! Не говори «дай»: мулла никому ничего не дает, он только берет со всех. Скажи ему «на», а не то он из-за своей жадности утонет.

Тут крестьянин, спасавший муллу, протянул опять руку, но со словами:

— На, на, мулла! На, возьми!

Мулла что было сил бросился к крестьянину и жадно схватил обеими руками протянутую руку.

Так был спасен утонувший мулла.



СВЯТОЙ ОСЕЛ

Казахская сказка

Пришел однажды в город старый-престарый казах с мешком костей за спиной. Он расспрашивал встречных, где находится склад утильконторы. Добрался наконец он до склада и вывалил на весы груду костей. Посмотрел на них весовщик и говорит:

— Забирай, старик, свой товар. Этим костям, должно быть, уже не одна сотня лет, перегнили они и для нас не подходят.

Пригорюнился старик, но делать нечего — стал собирать кости обратно в мешок, да и говорит:

— Дай рубль, дорогой начальник, а я расскажу тебе, чьи это кости. Дай рубль — не пожалеешь, рассказом моим останешься доволен.

Жаль стало весовщику старика, что зря тот тащил негодные кости, и дал ему рубль серебряной монетой, хотя и не надеялся услышать что-нибудь интересное.

А старик рассказал:

— Давным-давно у переправы через реку Чу была могила святого, к гробнице которого стекалось много богомольцев. Именем святого лечил, гадал и предсказывал судьбу старый дервиш. Подаяния были щедры, и дервишу и мне, его ученику, жилось хорошо. Так прожил я у него несколько лет и решил совершить путешествие в святую Мекку. И сказал я своему учителю:

«Учитель, благослови меня, хочу идти я в святые места».

Благословил меня дервиш, а чтобы не утомился я от пешего хождения, подарил он мне своего единственного осла. Так я отправился в свое путешествие.

На седьмой день пути, ровно в полдень, споткнулся мой осел, упал, да и сдох. Стар уж он был и не вынес изнурительного пути. Сел я около него и стал плакать, так как страшили меня лишения и тяготы длительного путешествия. Вдруг я заметил, что по дороге в мою сторону едут всадники. Испугавшись, что меня могут обвинить в том, что я безжалостным обращением довел своего осла до смерти, я быстро оттащил его в сторону и набросал на него груды камней.

Когда поравнялись всадники с ослиной могилой и увидели мой костюм дервиша, они спросили меня о причине слез.

«Вдвоем с моим лучшим другом, — отвечал я им, — я направлялся в город пророка. Друг мой умер вот здесь, и я теперь горько плачу над его могилой».

«Видно, праведной жизни был твой друг, если ты так сильно горюешь». И, бросив несколько золотых монет, всадники уехали.

Не успел я как следует отдохнуть и собраться с мыслями, как увидел, что ко мне приближается большая толпа. Это были жители соседнего города. Оказывается, проехавшие мимо меня всадники рассказали в городе о том, что поблизости умер и похоронен святой. Вот жители и пришли просить меня остаться жить на могиле своего друга, за что они меня щедро вознаградят. Оказывается, в этом городе до сего времени не было ни одной святой могилы.

Я подумал немного и решил, что прах старого осла мне может пригодиться и что глупо было бы отказаться от счастья, которое само лезло мне в руки. И я согласился.

Слава о моем святом быстро росла. Число паломников увеличивалось с каждым днем. Приношения были обильны и богаты.

Прошло несколько лет, как вдруг однажды утром ко мне вошел мой старый учитель:

«Слава о твоём святом докатилась до меня, и я решил поклониться его праху с просьбой, чтобы он замолил мои грехи перед богом. Но скажи мне, кто твой святой и как ты очутился здесь?»

И я рассказал своему учителю всю правду. Я думал, что он очень рассердится, но дервиш стал громко смеяться, похлопывая меня по плечу.

Тут я решил задать ему вопрос, чего никогда не осмеливался раньше. Я спросил его:

«Скажи, учитель, а кто был тот святой, на могиле которого живешь ты?»

«Это была мать твоего святого», — отвечал мой учитель со смехом.



КАК РАВВИН ОБМАНУЛ БОГА

Еврейская сказка

Ехал один раввин, который слыл чудотворцем. Ехал он с кучером, на собственной лошади.

К вечеру поднялась буря. Дорогу занесло, и все покрылось мраком. Лошадь сбилась с пути.

Напрасно кучер искал дорогу. Раввина объял ужас при мысли, что он замерзнет в поле и будет похоронен под снегом. Он взмолился с горячими слезами:

— Бог Авраама, Исаака и Иакова, пожалей и спаси твоего раба, послушного и покорного! Если вернусь домой благополучно, я продам свою лошадь и деньги раздам беднякам.

Проезжавшие недалекие крестьяне услышали крики и поспешили на помощь. Они вытащили лошадь из сугроба и указали путь.

Вернувшись благополучно домой, раввин велел кучеру продать лошадь на базаре. При этом он дал ему петуха с наказом не продавать лошадь без петуха.

Когда спросили кучера, сколько стоит лошадь, он ответил, что ему приказано не продавать лошадь без петуха; лошадь стоит рубль, а петух сто рублей. Удивились люди, но откормленная, породистая лошадь стоила больше ста рублей, так что один купил и петуха и лошадь.

Рубль, вырученный за лошадь, раввин отдал беднякам, как обещал богу.



О МУЛЛЕ НАСР-ЭД-ДИНЕ

Восточная сказка

Однажды мулла Наср-эд-дин отправился в мечеть. Он оказался в первых рядах молящихся и делал положенные поклоны и коленопреклонения. Настоятель мечети во время проповеди увидел, что по лицу Наср-эдина обильно текут крупные слезы.

— О мусульмане, посмотрите на этого правоверного! — воскликнул восторженно настоятель. — Он так расчувствовался от моей проповеди, что даже заплакал. Вот истинный пример благоговения!

— Ты ошибся, святой отец, — отвечал мулла Наср-эд-дин. — У меня был козел, который потряхивал бородой точно так же, как ты. Вчера мой козел издох, я вспомнил его, и мне стало грустно.

*

В том городе, где жил Наср-эд-дин, у богатого бека умер любимый слуга. Бек был в большом горе. Мулла тоже заплакал, вскочил на коня и бросился к беку. По пути знакомый сообщил ему, что умер не слуга, а сам бек. Тогда Наср-эд-дин повернул коня и сказал:

— Это — дело другое. Тогда мне ехать туда незачем. Я хотел выразить почтение горести бека и заслужить его благоволение. А если он умер сам, зачем же я поеду?

*

У Наср-эд-дина околел осел. Мулла сел у порога и горько заплакал. Прихожане стали утешать.

— Аллах даст тебе осла лучше, — сказал один.

— Как же, дожидайся! Я отлично знаю аллаха: меньше чем за десять монет он не уступит и самого плохого осла,



ЗОЛОТАЯ ГРАМОТА

Украинская сказка

Целый год мужики копали у пана колодец, а воды все не было, и на очень большой глубине в день святого Маркиана — 25 октября — выкопали они Золотую грамоту.

Не много было написано в той Золотой грамоте, солнцем сияли буквы в той грамоте, а прочитать, что написано, мужики не могут — все они были неграмотные. Взяли мужики Золотую грамоту и пошли с нею до своего пана, чтобы тот прочитал им, мужикам, что там написано.

Приходят мужики в панское имение и видят — в панском дворе панские управители кнутами избивают крестьян за то, что крестьяне мало сделали дела своему пану. А тут, рядом, за огромными столами сидит множество других панов, таких сытых, роскошных, с довольными лицами.

Приходят мужики к своему пану, сняли шапки, низко поклонились.

Взял пан из мужиковых рук Золотую грамоту, прочитал ее сперва сам про себя, потихоньку, потом эту Золотую грамоту отдал читать остальным панам — своим гостям. Те читают Золотую грамоту, хохочут, за бока берутся, непонятным языком что-то говорят между собой.

Долго паны смеялись над Золотой грамотой, и долго мужики ждали ответа. Наконец пан говорит мужикам:

— Слушайте, мужики. Эта Золотая грамота действительно с неба. Слушайте же, что вам, мужикам, сам бог говорит... В этой грамоте написано: как не одинаковы в небе звезды — есть меньшие и большие, так на земле и люди неравны. Бог всякому человеку дал свой талант. А талант божий мужичка — это покорно работать на своего пана. Мужичковая работа на своего пана самому богу приятна.

Долго еще говорил пан, но мужики видят, что он врет, обманывает их — совсем не то написано в Золотой грамоте. Засуетились мужики, зашумели и стали у пана требовать обратно Золотую грамоту. Рассердился пан на мужиков, начал на них что есть силы кричать и стучать ногами. Со всех сторон сбежались панские слуги с нагайками и палками. Набросились они на перепуганных мужиков.

Разбежались мужики куда попало, а когда сошлись они вместе, видят — снова у них Золотая грамота, а на ней солищем сияют непонятные им буквы. Идут мужики дальше и вспомнили, что у них грамотный урядник, и недолго думая решили мужики идти прямо к уряднику, чтобы тот прочитал Золотую грамоту.

Приходят мужики во двор урядника и видят — урядниковы слуги кнутахми избивают людей, которые чем-либо не угодили своему начальству.

Выходит сам урядник, а с ним множество других урядников, таких сытых, с довольными лицами, на груди у них кресты, медали, а на боку висят сабли и револьверы.

Мужики бросили свои шапки, поклонились уряднику в ноги.

Взял урядник из мужиковых рук Золотую грамоту, прочитал сперва ее сам про себя потихоньку, потом

эту грамоту Золотую отдал читать остальным урядникам — своим гостям. Те читают Золотую грамоту, хохочут, за бока берутся, непонятное что-то говорят между собою. Долго урядники смеялись над Золотой грамотой, и долго мужики ждали ответа. Наконец урядник говорит мужикам:

— Слушайте, мужики. Эта Золотая грамота действительно с неба. Слушайте, что вам, мужичкам, сам бог говорит: «Честно и покорно повинуйтесь, мужички, своему начальству. Всякая власть от бога дается. Кто власти не повинуется, тот самого бога не слушается!»

Долго еще говорил урядник, но мужики видят, что урядник врет, обманывает — говорит совсем не то, что написано в Золотой грамоте.

Засуетились мужики, зашумели.

Рассердился урядник на мужиков, начал на них что есть силы кричать и стучать погами. Со всех сторон сбежались урядниковы слуги с нагайками, саблями и револьверами. Набросились они на перепуганных мужиков и начали их беспощадно избивать. Разбежались мужики куда попало, а когда сошлись вместе — снова у них в руках Золотая грамота, и на ней солнцем сияют непонятные буквы. Идут мужики дальше и вспомнили, что у них еще поп грамотный. К кому, как не к попу, за правдою. И решили идти к попу.

Приходят мужики на попов двор и видят — в нем суетится великое множество разного народа. Женщины ткут, прядут, бабы возятся с куделью, дерут и перебирают перья на подушки для поповых дочек. Мужчины воздвигают множество построек; парни — возле скотины. Все работают, а над ними, с кнутах в руках, присматривают поповы слуги. И видят мужики, как эти поповы слуги работающим людям дают вместо хлеба камень, вместо воды — огуречный рассол.

Люди стонали от зноя, голода и жажды, а работе ихней конца-края не было видно. Вот на крыльце показался сам поп, а вместе с ним великое множество других попов. Все попы полные, здоровые, лица у них веселые, рясы на попах бархатные, шелковые, а на груди у каждого попа висит золотой крест.

Подходят мужики к крыльцу, сняли шапки, поклонились попам в пояс.

Взял поп из мужиковых рук Золотую грамоту, прочитал ее сперва сам про себя потихоньку, потом эту грамоту отдал читать остальным попам — своим гостям. Те читают Золотую грамоту, хохочут, за бока берутся, непонятным языком что-то говорят между собою. Долго попы смеялись над Золотой грамотой, и долго мужики ждали ответа. Наконец поп говорит мужикам:

— Слушайте, рабы божьи. Эта Золотая грамота действительно с неба. Слушайте, что вам, рабы божьи, сам бог говорит: «Те, которые на земле плачут, на небе возрадуются. Человеку надо покорно нести свой крест, любите врагов ваших, благословляйте тех, кто обижает вас. Если кто ударит тебя в одну щеку, подставь ему другую, а тому, кто хочет взять у тебя кафтан, отдай и свою рубаху».

Долго еще говорил поп, но мужики видят, что поп врет, обманывает — говорит совсем не то, что написано в Золотой грамоте.

Засуетились мужики, зашумели — стали у попа требовать обратно Золотую грамоту.

Рассердился поп на мужиков, начал на них что есть силы кричать и стучать ногами. Со всех сторон сбегались поповы слуги с нагайками, палками, набросились они на перепуганных мужиков и начали их беспощадно избивать. Разбежались мужики куда попало, а когда сошлись они вместе, видят — снова у них Золотая грамота, а на ней солнцем сияют непонятные им буквы.

Стоят мужики и не знают, куда им теперь идти с этой Золотой грамотой и кто же им прочитает слова, сияющие солнцем на этой Золотой грамоте.

Этой дорогой проходил Ленин. Мужики окружили Ленина и просят прочитать.

Взял Ленин из рук мужиков Золотую грамоту, прочел ее, усмехнулся и говорит:

— Друзья мои, я вам прочту эту Золотую грамоту, но это будет очень мало. Вам нужно уметь самим читать такие грамоты.

Кланяются мужики Ленину, благодарят его и просят его зайти к ним в село и научить их грамоте.

Немного времени прожил в селе Ленин — мужики научились читать, а когда прочли Золотую грамоту, начали волноваться, шептаться между собой. Вскоре

объединились они в свои крестьянские комитеты, вооружились кто чем мог и вместе с вооруженными людьми, работниками, уничтожили всех врагов своих: царя, попа и пана-помещика, и начали жить так, как написано было в Золотой грамоте.

А написано в Золотой грамоте было всего только одно слово: КОММУНИЗМ.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Густав Флобер. Жертвоприношение Молоху. Из романа «Саламбо». Рис. Е. Бургункера	11
«Чудеса» святых отцов	24
Джованни Боккаччо Брат Чиполла... Рис. Н. Симо- новской	25
Мазуччо. Брат Джироламо... Рис. Н. Симоновской	32
Поджо Браччолини. О священнике, который похоронил собачку. Рис. Н. Симоновской	40
Поджо Браччолини. О священнике, который во время проповеди ошибся в числах. Рис. Н. Симоновской	42
Поджо Браччолини. Что угоднее богу — слово или дело? Рис. Н. Симоновской	43
Анатолий Франс. Вознесение Тафи. Из рассказа «Весе- лый Буффальмакко». Рис. Е. Устинова	44
Ромен Роллан. Брэвский кюре. Из романа «Кола Брюньон». Рис. Д. Краснопевцева	52
Г. В. Добржинский. Ученый диспут. Из романа «Слуга дьявола». Рис. А. Сафохина	60
Шарль де Костер. Продажа индульгенций. Из книги «Легенда об Уленшпигеле». Рис. Л. Зусмана	73
Шарль де Костер. Смерть Клааса. Из книги «Легенда об Уленшпигеле». Рис. Л. Зусмана	77
Проспер Мериме. Варфоломеевская ночь. Из книги «Хроника времен Карла IX». Рис. Ю. Рейнера	83
Феликс Гра. Марсельцы. Из романа «Марсельцы». Рис. М. Горшмана	96

Э. Войнич. Исповедь. Из романа «Овод». Рис. С. Каба- таева	102
Марк Твен. Святой источник. Из романа «Янки при дворе короля Артура». Рис. Н. Побединской	120
Марк Твен. Любопытная Бесси. Рис. Е. Коротковой	134
Эмиль Золя. Рим. Из романа «Рим». Рис. Н. Побединской	137
Эгон Эрвин Киш. Я купаюсь в чудотворной воде. Рис. В. Винокура	150
Андрей Упит. Обращенный. Рис. Л. Дьяковой	158
Анри Барбюс. Учитель. Рис. Е. Кругловой	173
Ярослав Гашек. Как мы помогали обращению в христиан- ство африканских негров. Рис. Л. Зусмана	178
Юлиус Фучик. Саранча и религия. Рис. Е. Устинова	183
Жан Грива. Слуга господень. Рис. Н. Кравченко	192
В. Г. Короленко. На затмении. Рис. И. Пахолкова	197
А. М. Горький. Праздник шнитов. Рис. С. Куприянова	208
А. П. Чехов. Канитель. Рис. Е. Шипова	214
А. П. Чехов. Тайна. Рис. С. Куприянова	218
А. С. Серафимович. Чудо. Рис. С. Куприянова	223
А. С. Серафимович. Две божьи матери. Рис. Н. Пахолкова	227
А. С. Серафимович. В семье адвоката. Рис. С. Куприянова	230
И. И. Скворцов-Степанов. Торбеевский идол. Рис. И. Пахолкова	234
А. М. Горький. Один из королей республики. Из памфлета «Мои интервью». Рис. Р. И. Вардзигулянца	243
Н. Васильев. Лурд под сенью небоскребов. Из книги «Америка с черного хода». Рис. Е. Бургункера	254
В. Тендряков. Медный крестик. Из повести «Чудотворная» Рис. С. Монахова	267
Л. Воронкова. Бабушка постится. Из повести «Старшая сестра». Рис. А. Каменского	281
В. В. Маяковский	
Ни знахарь, ни бог...	311
Товарищи крестьяне...	312
Прошения на имя бога — в засуху не подмога	314
Про Тита и Ваньку...	316
От примет, кроме вреда, ничего нет	318
Надо бороться. Рис. Ю. Рейнера	321

С к а з к и :

Похороны козла. Русская сказка. Рис. А. Коровиной	325
Поп и пономарь. Русская сказка. Рис. А. Коровиной	328

Как мужик в рай ходил. Русская сказка. Рис. А. Коровиной	329
Собачья доля. Литовская сказка. Рис. М. Рабиновича .	334
Не говори «дай». Кабардинская сказка. Рис. Ю. Рейнера	335
Святой осел. Казахская сказка. Рис. Р. Сайфулина .	336
Как раввин обманул бога. Еврейская сказка. Рис. В. Винокура	339
О мулле Наср-эд-дине. Восточная сказка. Рис. Е. Бургункера	341
Золотая грамота. Украинская сказка. Рис. Е. Бургункера	343

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об
этой книге направлять по адресу:
Москва, Д-47, ул. Горького, 43,
Дом детской книги

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ОТ МРАКА К СВЕТУ

Ответственный редактор
С. Н. Боварная
Художественный редактор
В. А. Деллерга
Технический редактор
Р. Г. Грачева
Корректоры В. Л. Данилова
и Т. П. Лейзерович

Сдано в набор 17/VI 1959 г.
Подписано к печати 28/X 1959 г.
Формат $84 \times 108\frac{1}{2}$ — 11 печ. л. —
18,07 усл. печ. л. (17,89 уч.-изд. л.)
А-08496. Тираж 95 000 экз. Заказ 13854
Цена 6 р. 30 к.

Детизн. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1
«Печатный Двор» имени А. М. Горького, Ленинград, Гатчинская, 26.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

В серии „Школьная библиотека“ для средней школы в 1959 году вышли и выходят в свет следующие книги:

- Фраерман Р. — Васька Гиляк. Никичен.
Дальневосточные повести
- Коновалов А. — Повести и рассказы.
Избранные произведения разных лет
- Мусатов А. — Большая весна.
Повесть о жизни сельских комсомольцев в годы создания первых колхозов
- Яковлев А. — Рассказы авиаконструктора.
Автобиографическая книга выдающегося конструктора самолетов, дважды Героя Социалистического Труда
- Шашова З. — Год вступления 1918.
Повесть о жизни и приключениях подростков в годы гражданской войны на юге России
- Кузнецов А. — Продолжение легенды.
Повесть о молодых рабочих, о воспитании характера в суровой и героической обстановке строительства Иркутской ГЭС
- Яковлев П. — Девушка с хутора.
Роман о первой комсомольской ячейке в одной из станиц Кубани в годы гражданской войны.
-

6.6.30.04

СТАВКА
К
СВЕТУ
★